КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

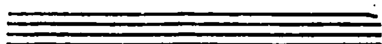
1929

КНИГА
ДЕВЯТАЯ

СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОДЕРЖАНИЕ



КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 9

СЕНТЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

14-я типография
„МОСПОЛИГРАФ“
Варгунихина гора, 8.
Главлит № А-47315.
П. 13. Гиз 33595.
Заказ № 2674.
Тираж 12000.



В. М. Фриче

Пионер марксистского литературоведения

В лице В. М. Фриче марксистская наука понесла огромную потерю. Покойный Владимир Максимович был одним из пионеров марксизма в России: он стал учеником Маркса в 90-х годах. Легко быть марксистом сейчас, когда теория Маркса завоевала себе научный и политический авторитет, когда она пользуется всеобщим признанием, когда она блестяще проверена в огне революции, когда, наконец, она стала официальной доктриной победившего рабочего класса. Гораздо тяжелее было стать марксистом 35 лет назад, когда марксизм жестоко преследовался, когда он громился на страницах печати столпами народничества и либерализма, когда он беспощадно высмеивался с профессорской кафедры. Либерально-буржуазная публицистика и наука классовым чутьем угадали в марксизме кровного врага и подвергли жесточайшему обстрелу русских учеников Маркса. Нужна была железная стойкость и непреклонная твердость убеждений, чтобы под этим ураганным огнем сохранить свою верность ортодоксальному марксизму. Но особенно трудным было положение марксиста-профессора, подвергавшегося со стороны своих буржуазных «коллег» недоброжелательству, насмешкам, подсиживаниям, интригам.

Г. В. Плеханов писал, что ни один доцент не получит звания профессора, если он признает правильной хотя бы экономическую теорию Маркса, в то время как всякий, даже самый бесталанный приват-доцент может рассчитывать на быстрое повышение, если только ему удастся придумать хотя бы пару завтра всеми же забываемых возражений против «Капитала».

Тов. Фриче благодаря способностям и огромной эрудиции удалось стать профессором. После Зибера он был одним из ранних представителей марксизма в лагере университетской науки.

Принадлежа к поколению В. И. Ленина, являясь его ровесником. т. Фриче вступил в ряды воинствующих марксистов под влиянием бурного порыва рабочего движения в середине 90-х годов.

Ученик Н. И. Стороженко, В. М. избрал своей специальностью историю западно-европейской литературы.

Во всеоружии владея марксистским методом, т. Фриче мастерски, без всякой вульгаризации и упрощенства, умел применять его к анализу литературных явлений.

«Западно-европейская литература XIX века в ее главнейших проявлениях», «Итальянская литература XIX века», «Поэзия кошмаров и ужаса», его не собранные статьи в журналах и энциклопедических словарях составляют ценный вклад в марксистскую историю литературы.

Но не только историком литературы был Фриче. Можно смело сказать, что в области теоретического литературоведения после смерти Плеханова у нас не было большего авторитета, чем покойный Владимир Максимович. Его книга «Социология искусства» является весьма интересной и поучительной работой. Наряду с историко-литературной и теоретически-литературоведческой работой т. Фриче был активным общественником-коммунистом.

Еще в 1905 г. он был участником лекторской группы при Московском комитете нашей партии. С 1917 г. он выполнял целый ряд ответственнейших поручений партии, начиная с комиссара по иностранным делам при Моссовете в конце 1917 г. и кончая директором РАНИОН и членом президиума Комакадемии. Особенно велика была нагрузка т. Фриче в последние годы. Я всегда поражался его сверхчеловеческой работоспособности. Происходило ли в Комакадемии обсуждение вопроса о литературной энциклопедии, было ли в Госиздате заседание комиссии по редактированию сочинений Гете, т. Фриче был непременным и активным участником. Наряду с этим он успевал зорко и внимательно следить за развитием современной советской литературы и своевременно откликаться в «Правде» или «Красной нови» и активно участвовал на редакционных заседаниях, которые обычно происходили в его квартире на Моховой, против I МГУ, с которым неразрывными узами связана его биография.

В последнее время т. Фриче принимал близкое участие в редактировании журналов «Литература и марксизм», а также «Печать и революция». Недавно он был избран академиком.

Живой общественный темперамент т. Фриче всегда вносил здоровую будирующую струю. Но эта самоотверженность, лихорадочная работа подорвали здоровье т. Фриче. Он сгорел, как свеча. Его организм не выдержал операции, и Владимира Максимовича не стало.

Еще так недавно, всего лишь каких-нибудь два года назад, в актовом зале I МГУ мы праздновали 35-летие литературно-научной и общественной деятельности т. Фриче, а сегодня его уже нет.

Но светлая память об этом крупном ученом-общественнике не заглохнет в сердцах рабочего класса, и на его научных трудах будут учиться многие и многие поколения.

Ф. Раскольников

10 л. с.

Илья Эренбург

ОТ АВТОРА

10 л. с.— не роман, но хроника нашего времени. В ней нет ни вымышленных героев, ни сочинений автором фабулы. Однако автор счел себя в праве об'яснить по-своему поступки людей, не считаясь с официальной версией того или иного героя.

В некоторых, довольно редких, случаях автор счел необходимым заменить подлинные имена придуманными. Это относится исключительно к людям, чья жизнь никак не может быть названа гласной.

В главе «Биржа» автор позволил себе известную перегруппировку деталей и концентрацию как лиц, так и происшествий. В остальных главах автор старался не отступать от сырого материала, как-то: от газетных сообщений, протоколов заседаний, судебных отчетов и пр. К этому следует прибавить воспоминания, дневники, частные письма, а также личные наблюдения автора [1].

I. Рождение автомобиля

1

Взволнованная свеча позволяет различить причудливую тень на стенке, кипу чертежей, циркуляр, крохотного котенка, который дремлет среди бутылок и бумаг, наконец, худое лицо, все обесцвеченное бессонными ночами.

---

[1] От редакции. Роман «10 л. с.» печатается в отрывках. Редакция отмечает, что при всей остроте критического подхода к капиталистической системе автор не развернул с необходимой полнотой изображений классовой борьбы. Учитывая недостатки романа, редакция тем не менее дает его как произведение, ярко и талантливо разоблачающее капиталистическую рационализацию.

Вот где живет этот молодой мечтатель! Соседи уж давно поговаривают, что у него ум заходит за разум. Впрочем, это славный малый и, конечно же, патриот. Быть непатриотом в эти годы трудно да и опасно: на дворе стоит год VIII единой и неделимой республики.

Филипп Лебон, узнав от соседей о новой победе республиканских армий, разумеется, всех их по очереди поздравляет, особенно жарко гражданина Маро, роялиста и шпиона Директории. Лебон строго блюдет революционный календарь. Он ест курицу не в воскресенье, но в декади. Голова его, однако, занята другим.

Когда революция началась, ему было двадцать лет. Быстро привык он и к братским клятвам, и к машине доктора Гильотина. Революция стала для него воздухом. Тогда он перестал замечать революцию. Удивленно усмехнулся он, узнав о 9 Термидоре — снова?.. Этот день показался ему очередной склокой двух фракций. Прошло еще пять лет. Не все ли равно теперь, какие козни замышляет гражданин Сиес против гражданина Барраса? Революция победила — это ясно всем, даже Питту. И революция не удалась — это тоже все понимают: и якобинцы, и директоры, и генерал Бонапарт. О чем же тут спорить?.. Надо исправно выполнять свои гражданские обязанности и поменьше беседовать в кофейнях, где возле каждого столика юлят полицейские агенты. Вот и все. На бессоницу у гражданина Лебона — другие резоны.

Может быть, влюблён он? Ведь республиканцы умеют любить ничуть не хуже доброй памяти верноподданных Капета. Вот, говорят, Тальен, тот сохнет в Египте без своей Терезы. А креолка этого корсиканца!.. Филиппу Лебону тридцать лет. Как раз впору!..

Стучат. Уж не она ли?.. Но в комнату входит плотный гражданин с мясистым носом и с большой национальной кокардой. Это приятель Лебона, некто Франсуа Барре, прежде якобинец, оратор десяти клубов и гроза города Шомон, теперь же премирный чиновник, который проверяет на парижских базарах новые республиканские гири.

— Все работаешь?..

— Как видишь.

— Завидую я тебе. Ты занят своим делом и ничего не замечаешь. А здесь, можно сказать, гибнет революция!..

Лебон усмехается:

— Ну, это, брат, не ново! Она уже гибла раз пятьдесят, если не все сто. Очевидно она или бессмертна, или давным давно погибла.

— Ты все смеешься! Но посмотри только что делается! Фуше снова арестовал 120 патриотов из клуба «Манеж». Роялисты открыто интригуют. А знаешь чем заняты патриоты? — Пивом! Честное слово! На вывесках пишут: «мартовское пиво», и вот они эти ослы требуют, чтобы пиво переименовали в «жерминальское». Сиес, тот что-то замышляет. Это старый крот. Баррас, как всегда, трусит. Теперь все зависит от генерала... Как, ты не знаешь? Но генерал Бонапарт уже высадился в Тулоне.

Лебон, который рассеянно слушал причитания Барре, приподымает голову.

— Ага! Что ж он думает делать, этот Бонапарт?..

— Чорт его поймет! Одни говорят будто бы он решил разогнать Директорию и восстановить подлинную республику, нашу, 93-го. А другие, наоборот, уверяют, что он уже столковался с шуанами. Ты-то что думаешь, Филипп?

— Я? Я ничего не думаю. Я вообще не думаю об этом. Я очень занят.

— Но гражданские чувства?..

— Видишь ли, революция все равно кончена — с Бонапартом или без Бонапарта. То, что я теперь выполняю, это — наши прежние мечты. Это то, о чем мы говорили десять лет тому назад. Ты мне не веришь?

— Нет. Ты занят праздными выкладками. Это — для развлечения аристократов. А мы мечтали совсем о другом,— мы мечтали о всеобщем благоденствии.

— Правильно! И революция этого не осуществила. Она разорила одних, обогатила других. Карты перетасованы. Но в колоде остались и тузы, и короли и простые двойки. Почему? — Да потому, что над людьми тяготеет одно проклятие — труд. Здесь аббаты не врут. Не от Капетов надо освободить людей, но от труда. Ты видал на набережной Синь паровую мельницу? Верь мне, это куда важнее всех деклараций. Я долго трудился над одним: я решил создать самодвигающуюся коляску. Пусть машины возят людей. В этом — подлинное благоденствие. В этом и братство народов. Как будет счастлив человек когда, едва шевельнув пальцем, сможет он перенестись из Парижа в Рим или в Вену!

— Но ведь это только мечты...

— Да, это были только мечты. Прекрасные мечты! Вот я тебе прочту, послушай: «С помощью наук и искусств можно построить колесницу, передвигающуюся чудодейственно быстро без лошадей и без других упряжных животных...» Это написано Рожером Бэконом в 1618 г. 180 лет тому назад!.. А теперь?.. Теперь это не мечты. Может быть твой корсиканец завтра будет раз'езжать на такой колеснице. Знаешь что Франсуа?..

Лебон встал. Глаза его теперь желты и взволнованны, как свеча. Он говорит тихо, то и дело теряя дыхание:

— Франсуа, я кончил работу! Завтра я сделаю заявление. Я получу патент. Я не могу тебе сейчас изложить все это в деталях. Скажу одно: людей будет перевозить воздух. Но обожди, не пар! Нет, газ. Этим газом можно также освещать улицы. Он будет приводить в действие машину. Смесь газа и воздуха сначала сжимают, потом ее воспламеняют с помощью особых искр. Ее воспламеняют внутри самого двигателя. Это куда разумней пара. Такой мотор не занимает много места, и в нем огромная сила, превосходящая четверку лошадей. Он сможет вести обыкновенную почтовую карету, ничуть не беспокоя пассажиров. Теперь ответь мне — это ли не подлинное благоденствие? Пройдет 50 или 100 лет, и у каждого гражданина будет такая самодвигающаяся коляска. Другие машины уничтожат нищету. Моя победит

вражду, косность, невежество, томление. Для тела человеку нужны пища и одежда. Слов нет, люди вскорости изобретут машины, чтобы выделывать новый хлеб, не прибегая для этого к грубому труду землепашца. Но вот человек сыт. Его дух нуждается в совершенствовании. Он носится по всему свету. У него больше нет родины. Его родина повсюду. Он счастлив, как боги Олимпа. Эта кипа бумаги, Франсуа,— залог подлинного благоденствия!..

Но у Барре трудный нрав. Поздравив приятеля и для приличия с минуту помолчав, он снова начинает спорить:

— Нет, не это заставляло биться наши сердца в 93-м. Мы мечтали о прекрасной простоте нравов. Зачем людям куда-то мчаться? Погляди на твоего котенка — как безмятежно он дремлет! Древние греки не знали этих колесниц с двигателями и разве они были несчастны? Машины несут людям новое угнетение. Они только разжигают зависть и соревнование. Куда милее мне, осуждаемый тобой, труд землепашца! Куда ближе он к истине и к братству!

Барре забыл, кажется, что он только мелкий чиновник Директории. Он возомнил себя снова в клубе города Шомон. Он витийствует:

— Мы, честные якобинцы, мы против этих машин! Филипп, я люблю тебя, но истина выше дружбы. Мы против твоего изобретения. Ты напрасно спешишь брать патент. Революция в опасности, но она еще не уничтожена. Если мы победим, мы разрушим эти двигатели. Вместо них мы насадим рощи Жан-Жака...

Тогда Лебон, весело улыбаясь, отвечает:

— Что ж, вы не понимаете,— этот Бонапарт поймет. Или другой. Словом — будущее.

— Но революция?..

— Да, это революция вселила в меня жажду всеобщего благоденствия и новое беспокойство. Ее душа здесь — в чертежах.

Барре не стал больше спорить. Он любил Лебона и опасался ссоры. Вздохнув, пошел он в кофейную, чтобы там выпить кувшин вина и всласть поговорить с завсегдатаями о злодейских происках гражданина Сиеса. На следующее утро он спокойно проверял свои гири. Он даже не вспомнил о каком-то хитроумном двигателе, начиненном газом.

А Филипп Лебон торжественно сдунув пылинки с шляпы, направился в душную канцелярию, где уныло скрипели гусиные перья, и где писцы вполголоса обсуждали приезд генерала Бонапарта, чтобы выправить там патент на свое изобретение. Он не слышал ни скрипа перьев, ни шушуканья. Грозный мотор гудел и свистел: это его машина рвалась в новый век.



Филипп Лебон заявил о своем изобретении 6 вандемьера года VIII, или по старому летосчислению 28 сентября 1799 года. Он изобрел газ, предназначавшийся для мотора внутреннего сгорания. Так, за 90 лет до появления на парижских улицах новых, невиданных колясок в утробе человечества раздались первые подозрительные толчки.

2

— Милочка, какие чудные духи!

— Правда ли? Это новинка: «Конец века».

— Простите, госпожа Жильбер, фасон мне нравится, но вот эти буффы как будто чересчур экстравагантны...

— Что вы говорите, госпожа Друо! Разве вы не видали последнего выпуска «Модного журнала»?.. Теперь все делают такие буффы, даже графиня Монтельяр. Это — «Конец века»...

— Странные пошли теперь танцы. Не то вальс, не то галоп, не то, простите меня, вульгарный канкан.

— Нет, это новый танец: «Конец века».

— Подумать только до чего пало искусство! В салоне вместо живописи, какая-то мазня этого сумасшедшего Сезанна. Ни приятного освещения, ни одухотворенности, ни хотя бы красивых красок. Мне противно писать об этом. А поэзия!.. Вы разве не слыхали о новом гении? — Как же, извольте — господин Стефан Малларме. Один прощалыга заявил мне, что этот Малларме выше Сюлли-Прюдома! Почитайте — весьма интересно для психиатра. Так и называется: «Отступления от смысла». По-моему это конец искусства.

— Я не думаю. Просто мода — «конец века»...

— Клемансо-то куда хватил! Анатоль Франс примкнул к дрейфусарам. Лабори готов сам выкрасть документы. Это уж не судебный процесс, а скандал на всю Европу. Миллионы людей помешались из-за шпаги какого-то офицерика.

— Психоз... Поветрие... «конец века»...

— Мильеран готовит нам новую Коммуну! Я видел вчера их демонстрацию. Эта песня бандита Потье! Эти толпы «керосинщиц»! Среди них один молоденький агитатор особенно опасен. Это некто Бриан. А правительство занимается какой-то дурацкой выставкой. Надо всем об'единиться для борьбы с новыми гуннами.

— Друг мой, вы немного преувеличиваете. Это не разбойники, это, скорее, денди. Они перебесятся. Прежде была «болезнь века», ну а теперь — «конец века» — легонькое головокружение, и только...

— А вы видали на Итальянском бульваре настоящий автомобиль?

— Четыре автомобиля!..

— Одиннадцать автомобилей!..

— Выставка автомобилей!..

— Это, положительно, конец света!..

— Нет, это — «конец века»!..

★

Париж насмешливо посматривает на цифры календаря. Еще одно столетье!.. Париж не может больше ни увлекаться, ни осуждать. Он видал царских казаков и рубаху Гарибальди, песочный цилиндр Мюссе, трупы коммунаров, он видел Бальзака и Мишеля Бакунина, г. Тьера и Равашоля, Александра Дюма, персидского шаха, слоновье мясо во время осады и слезы

маленькой Мими. Он все видел. Что же может быть впереди, кроме скучных повторений?..

Республике скоро тридцать лет. Она давно забыла о детских проказах. Она теперь обзаводится солидным хозяйством. Нам поможет батюшка-царь... Да здравствует царь и хорошие проценты!..

Пусть волосатые отроки кричат о социальной революции. К сорока годам они все станут, если не министрами, то подагрическими адвокатами по гражданским делам, т. е. кляузниками и ревнителями страсбургских паштетов. Сегодня возмущенные зрители бросали в картину молодого художника тухлые яйца, завтра эту картину приобретет Люксембургский музей. Жизнь налажена и крепка.

В парке Монсо играют ребята. Они играют в войну. У них деревянные сабли, флаги, барабаны. Через пятнадцать лет им придется прятаться в подвалы и напяливать на лица диковинные противогазы. Но они не знают об этом. Они задорно бьют в барабаны. XIX век мирно доживает свое. Его никто не торопит. Пусть перелистывает альбомы с семейными фотографиями и невпопад бормочет о бурной своей молодости!..

Только вот самодвигающаяся коляска не хочет ждать. С малопочтительным грохотом выскакивает она на сонные бульвары. Старые клячи становятся на дабы и перепуганные дамы вытаскивают из ридикюлей пузырьки с нюхательной солью. Автомобиль движется нервически. Он прыгает, как кенгуру. Он то останавливается, то неожиданно срывается с места. Все улицы заполняет он отвратительным смрадом. Он громче весенней грозы. Это обыкновенный фаэтон, но лошадей отпрягли и, повинуясь каким-то таинственным взрывам, фаэтон зловеще мечется по оскорбленным проспектам Парижа.

Над автомобилями принято смеяться: до чего глупая выдумка!.. Все равно мотор испортится, и шоферу придется рано ль, поздно ль итти за лошадьми. Кроме того фаэтон уродлив. Куда приятней и вернее хороший выезд!..

Над автомобилями смеются, но эти уродливые фаэтоны не дают людям покоя. О чем поют «этуали» всех кафе-шантанов?.. Да, разумеется, об автомобиле: «Гастон умчался с ней в коляске и без коней...» Танцмейстеры обучают малокровных барышень новым танцам: «автомобильному галопу» г. Симона и «автомобильной польке» г. Салабера. Молодой автор не знает, какой оригинальный конец достоин его героя. Франсуа Коппе подает совет: «он может, наконец, погибнуть под колесами автомобиля!...» Магазин «Лувр» об'явил конкурс: кто придумает новую форму автомобиля?.. Зачем фаэтон, если нет лошадей?.. Призы получили г. Куртуа, предложивший высочайшую карету с буколическими украшениями в стиле Людовика XVI и г. Сельмергайм, который додумался до двухэтажной крепости, снабженной крохотными иллюминаторами и капитанским мостиком для управления. Г. Милль, неудовлетворенный всем этим, построил «автомобиль-лебедь». Мотор помещается в желудке птицы. Лебедь тащит соломенную корзиночку, а в ней сидит человек, и он управляет машиной с помощью железных вожжей.

Гг. Панар и Левассор открыли первый автомобильный завод. Они изготовляют моторы внутреннего сгорания по образцу, представленному немец-

ким инженером Готлибом Демлером. На последних состязаниях автомобилю Панара удалось покрыть расстояние Париж—Марсель в 67 часов. Он может развивать скорость до 40 километров в час, разумеется, при особо благоприятных обстоятельствах. Газеты называют эти состязания «инфернальными скачками». Муниципалитеты чрезвычайно обеспокоены. Они выносят грозные постановления: в городах так называемым «автомобилям» запрещается передвигаться быстрее, нежели 8 километров в час. Хорошо еще, что их немного!.. Завод гг. Панара и Левассора — это маленькая мастерская. Никто не купит автомобиля, чтобы раз'езжать по делам. А кататься куда спокойней, когда впереди пара рысаков, а не какая--то вонючая машина. Автомобиль хранит суровый героизм юности. Он требует самопожертвования. К нему идут те, что случайно не уехали ни открывать Северный полюс, ни искать золото на Аляске.

Мечты о всеобщем благоденствии давно забыты, но в сердцах еще дремлет романтическая тоска. Для фантастов и сумасбродов гг. Панар и Левассор изготовляют громоздкие машины полные таинственного грохота и непонятных содроганий.

***

Лошади становятся на дыбы, и гогочут фельетонисты: до чего же глупая выдумка!.. Впрочем, сегодня автомобиль дождался признания: пренебрегая опасностью, г. Эмиль Золя сел в фаэтон без лошадей. Фаэтон сводили судороги. Но г. Золя доехал до Версаля. Председатель «Автомобильного клуба» справедливо назвал г. Золя «просвещеннейшим современником».

У Золя седые волосы, но он куда моложе своего века. Астматически задыхаясь, тщится заглянуть он в новое столетие. Его собратья по перу описывают гаремы Константинополя, любовь среди флорентийских древностей или слезы покинутой провинциалки. Золя занят другим: с жадностью слушает он рев биржи, угрюмый скреб рудокопов, лязг машин. Поездка из Парижа в Версаль для него не только героический пикник, это — разведка в XX столетье, и, усмехаясь, отвечает он председателю клуба:

— Будущее принадлежит автомобилю. Я убежден в этом. Трудно сейчас измерить все значение подобного изобретения. Расстояния уменьшатся, следовательно, автомобиль — новый проводник цивилизации и мира. Наконец, он, безусловно, повысит благополучие...

Филипп Лебон в 1798 году мечтал о всеобщем благоденствии. Его мотор никогда не был построен. Теперь 1898 г. Эмиль Золя проехал из Парижа в Версаль. Эмиль Золя говорит о благополучии. Автомобиль же скрежещет и смердит.

*

Г. Ге — не Эмиль Золя. Это не знаменитый писатель и не герой дрейфусаров. Это — посредственный адвокат. Он живет в Пуатье, в скучном, чопорном Пуатье, где мощи святой Редегонды и 16 богаделен, где все ложатся спать как куры — только, только стемнеет, где оперетка — это скандал, а г. Мильеран — антихрист. Но г. Ге — передовой человек. Он побывал в Па-

риже, там он увидел фаэтон без лошадей. С тех пор преследует его одна мечта — купить вот такую коляску. Автомобиль мчится, как дикий ветер. Правда, г. Ге спешить некуда, да он и знает, что на автомобиле далеко не уедешь... Друзья, те смеются: «игрушка и притом опасная!..» Но г. Ге мечтает об автомобиле, как мечтают школьники о героической смерти «Ястребиного когтя».

Самодвигающаяся коляска стоит дорого. Г. Ге скопил кое-что про черный день. Он расстается со своими сбережениями. Зачем ждать?.. Черный день приходит сразу. Все богаделки из 16 богаделен крестятся и прячутся в чуланы. Мэр издает срочное распоряжение. Друзья г. Ге пробуют еще урезонить безумца:

— Возле Меген коровы напали на машину, и владелец чуть было не погиб. А вот в окрестностях Трейля бык кинулся на такой фаэтон; шофер прыгнул в канал... Хорошо еще, что его вытащили...

Г. Ге рассеянно слушает все эти причитания. Ничто не может его удержать. В пригожий апрельский день он едет со своей женой за город. Автомобиль мчится во весь дух: может быть, 30 километров в час! Мотор свистит и надрывается. Он нов, этот мотор, новы мелькающие колеса. Стара лишь, как мир, жестокая радость в сердце г. Ге: он мчится навстречу смерти.

На первом же крутом спуске тормоз лопается, и храбрецы летят под колеса. Крестьяне смотрят издали на трупы: они боятся подойти поближе к столь ужасной машине.

Г. Ге никто не поставит памятника. Он ничего не изобрел. Он только купил фаэтон без лошадей и поехал с женой кататься за город. Золя прочел в газете о страшной катастрофе. Золя не стал, подобно журналистам, проклинать автомобиль. Нет, вывод ясен: надо изготовлять более крепкие тормоза. Через тридцать лет счастливые внуки будут с удивлением слушать об автомобильных катастрофах... Что касается благополучия, то оно обязательно возрастет.

Г Эмиль Золя человек нового XX века, следовательно, он — оптимист.

3

Берней Ольфильд пришел первым на автомобильных состязаниях. Он был прежде обыкновенным велосипедистом и управлять машиной научился за неделю до гонок. Выручило авось. А, может быть, и не авось, но неоспоримые достинства нового автомобиля «900», построенного молодым инженером Генри Фордом. Об этой машине теперь пишут во всех газетах. Форд, впрочем, ищет не славы, но долларов. Он отнюдь не богат, а чтобы исполнились его мечты, ему нужно заполучить хоть небольшой капиталец. Завтра предстоит решительное об'яснение с финансистами. Генри Форд гуляет по буковой аллее, репетируя диалоги. Он начинает с самого ехидного мистера, с того, который ни во что не верит: ни в мораль человечества, ни в гений мистера Форда, ни в обыкновенный мотор.

— Не идете ли вы по ложному пути?.. Разве не принадлежит будущее электричеству? Может быть и в автомобильном деле победит удобный электрический двигатель? Отчего же нельзя себе представить, хотя бы на главных артериях страны, резервуар электрической энергии? Наконец, остаются маленькие расстояния, т. е. в первую очередь таксомоторы...

Мистер Форд пренебрежительно поводит кончиком носа.

— Мотор должен быть самостоятелен. Маленькие расстояния — это маленькие дела. Америка не «луна-парк»,— Америка большой континент. Резервуары электрической энергии, простите меня, это только литература, а вот резервуары «Стандарт-ойля» с хорошим бензином, это — верное дело. Сейчас не девяностые годы, и речь идет не о новом изобретении. Мотор внутреннего сгорания признан всеми специалистами. Я назову вам самого выдающегося человека нашей эпохи — Томаса Эдиссона. Кто же, если не он, призван защищать электричество? И вот Томас Эдиссон не раз говорил мне: «Потребности человечества сложны и разнообразны. Мотор внутреннего сгорания, легкий, независимый и в то же время мощный, бесспорно найдет себе место...»

Мистеры внимательно слушают. В их глазах и удовлетворение и легкое беспокойство: 100 000 на дороге не валяются. Прежде чем выложить такие деньги, надобно все хорошенько взвесить...

Мистер Форд продолжает:

— Как вам известно, моя машина «900» пришла первой. Нам остается перейти к делу. Автомобиль может не только увлекать любознательные умы,— он может также приносить дивиденды.

Мистер Форд встал. Он говорит отчетливо и торжественно, как воскресный проповедник. У него высокий лоб и высокое призвание. О чем это вещает он?.. Может быть, об ароматных рощах Ханаана?..

— В течение первого года мы выпустим 2 000 автомобилей. Это так называемая «модель А». Два цилиндра. 8 лошадиных сил. Устройство машины елико возможно упрощено, чтобы ею могли управлять даже самые неопытные люди, даже женщины и подростки. Цена также доступна: мы будем продавать наши машины по 850 долларов за штуку. Через четыре года мы доведем производство до 10 000 автомобилей. Подобная самоуверенность способна удивить вас, но я предвижу возможность в один день выпускать столько же машин, сколько теперь выпускают все американские заводы в течение целого года. Это — вопрос разумной организации. Автомобильная промышленность неминуемо должна выдвинуться на первое место.

Я лично люблю гулять пешком; больше всего на свете люблю птичий гомон и запах сена. Но жизнь сложнее моих частных вкусов, и я считаюсь не с собой, а с жизнью.

Разрешите прочесть вам проект нашего обращения к публике: «5 минут потерянного времени равняются 1 доллару, брошенному в воду...» Дальше: «Это отдых мозгов и очистка легких с помощью самого верного медикамента, т. е. чистого воздуха...» Наконец: «Мы приспособили автомобиль

для текущих потребностей коммерсанта, а также для семейной жизни. Разумная скорость. Разумное устроение. Разумная цена».

— Что же позволяет вам поставить столь низкую цену?..

— Во-первых, — наша дальнозоркость. Мы ведь не фабриканты мороженого, и нам нечего опасаться дождливого лета. Мы теперь ограничиваем себя. Завтра мы получим за нашу скромность сторицей. Калькулировать надо на много лет вперед. Разумней продавать машины в убыток или еле сводя концы с концами, чтобы завоевать рынок, нежели производить дорогие автомобили, приносящие каждый изрядный барыш, но неспособные проникнуть в толпу покупателей. Во-вторых, правильная постановка всего дела. Человека рожает женщина, т.-е. человек. Машину должны изготовлять машины. Что касается рабочих, то их надо видоизменить, приблизив к типу машины. Тогда они перестанут, работая, думать. Это не утопический роман, но единственное разумное разрешение рабочего вопроса. Человек, лишенный умственных отправлений, куда практичней для производства машин, нежели высококвалифицированный механик.

— Но как вы этого достигнете? Наши рабочие — не негры. С ними не так-то легко справиться...

— Я исхожу от твердых законов бытия. Как я уже сказал вам, я люблю пение птиц, но сам я петь не могу; у меня, к сожалению, нет голоса... А вот у тенора Карузо необычайный голос, оцениваемый, насколько мне известно, в сотни тысяч долларов. Равенство не только опасно оно, прежде всего, противоестественно. Рабочие не могут, работая рассуждать, как я не могу петь. Если они все же хотят проявлять свою оригинальность, — им не место на заводе. Одни из них станут изобретателями, другие — нищими или преступниками. Мы сами пойдем навстречу рабочим: упрощением всех процессов постепенно мы освободим их от всякого напряжения как физического, так и умственного. Большинство будет нам признательно, а чудаки существуют повсюду. Поставьте меня к машине, я через неделю сойду с ума: мне претит однообразие. Я убежден, что и в вас живо творческое начало. Но нас не так уже много, мы — мозги Америки, а я говорю об ее мускулах. Я отнюдь не приравниваю рабочих к неграм южных штатов. Напротив, я хочу разгрузить их от ломового оброка. Если они сумеют пригнать себя к образцовым машинам, заработная плата повысится, и недалеко то время, когда наши рабочие будут покупать у нас же автомобили...

Здесь мистеры переглядываются. Один из них даже фыркнул:

— Этот Форд дельный парень, но он все же увлекается!

— Я не понимаю вашего удивления. Я ведь не говорю вам, что рабочие будут петь, как Карузо, или же управлять государством. Нет, подобные бредни мы можем предоставить европейским социалистам. Но покупать автомобили они смогут: это — вопрос цены. Наверное некоторые из вас еще помнят то время, когда бутыль керосина стоила доллер. На ферме моего отца керосиновую лампу встретили, как недопустимую роскошь.

Если вы позволите мне небольшое отступление, я скажу вам, что Америка сейчас вступает на путь подлинного совершенствования. Она действи-

тельно избрана богом. Она сохранила светлый ум и христианские добродетели. Я отнюдь не сторонник кастового общества: я сам вышел хотя из зажиточной, но простой семьи. Однако демократия так, как ее понимают различные фантазеры, это — бессмыслица. Вместо гения — избирательная арифметика. Посмотрите на старый мир. Врач определил бы жизнь некоторых государств, как паралич: ни руки, ни ноги больше не повинуются мозговым центрам. Рантьеры держат золото в чулке, превращая, само по себе ценное чувство бережливости, в скупость. Кровообращение этим нарушается. Рабочие, что ни день, устраивают стачки. Биржа ищет легкой поживы. Подобная демократия не способна ни улучшить состояние дорог, ни отстроить новые университеты, ни создать музеи. Культура падает. Иначе и быть не может: в устах праздного мечтателя демократия, это — только сумма нулей.

Подлинная демократия, это — автомобильные состязания: достойные побеждают. Если я достигну своего, я окажусь причастным к управлению государством, не занимаясь вовсе мелкой политикой. Я построю хорошие технические школы. Я постараюсь выжечь алкоголизм и проституцию. Я займусь перевоспитанием рабочего класса, который благодаря притоку иммигрантов страдает распущенностью и духовным сомнамбулизмом. Наконец, я поведу борьбу за простоту нравов, за гигиенический образ жизни, за общение человека с матерью-природой. Как видите, я не изменил моим пичугам!..

Мы сейчас собрались вокруг этого стола, чтобы положить начало «Автомобильной компании Форда». Каждый в праве рассчитывать на дивиденды. Я здесь только — техник, чертежник, механик. Я вкладываю четверть основного капитала, проект «модели А» и мой труд. Я надеюсь, что вы не станете пенять на меня за то, что я отнял у каждого из вас несколько драгоценных минут. Ведь все мы — американцы и добрые христиане. Господа, самые большие дивиденды получит человечество: автомобиль — это залог всеобщего преуспевания!..

Компанионы мистера Форда молитвенно жмурятся, как жмурятся они в церкви, когда пастор докладывает им об ароматных рощах Ханаана. Ведь все они — американцы и добрые христиане. Они хорошо понимают торжественность минуты.

Впрочем, сейчас никаких компаньонов нет. Сейчас Генри Форд только шагает по безлюдным аллеям парка, чуть шевеля губами. Вокруг него птицы. Особенно он любит стрижей. Кстати, стриж летает со скоростью до 180 миль в час... Что же, мы обгоним стрижей!.. Форд улыбается нежно и призрачно. Завтра соглашение будет подписано. Завтра в человеческие дни вкатится новое существо, громкое, скорое и непобедимое. Дорогу, господа, дорогу!..

Мистер Генри Форд настаивает. Тогда стрижи, лирически чирикнув, улетают.

II. Что такое лента?

I

Длинные шеренги рабочих. Одни прикладывают гайку, другие закрепляют винт, третьи считают крылья, четвертые закрашивают ободок, пятые штампуют оси. Человек подымает руку, потом опускает ее. На этот вот штифтик ему дано ровно сорок секунд. Машина спешит. С ней не о чем разговаривать.

Рабочий не знает, что такое автомобиль. Он не знает, что такое мотор. Он берет болт и приставляет гайку. В поднятой руке его соседа уже ждет закрепка. Если он потеряет десять секунд, машина уйдет дальше. Он останется с болтом и с вычетом. Десять секунд это очень много и это очень мало. За десять секунд можно вспомнить всю жизнь и можно не успеть даже перевести дыхания. Он должен взять болт и приставить гайку. Вверх, вправо, полукруг, вниз. Он делает это сотни, тысячи раз. Он делает это восемь часов сряду. Он делает это всю свою жизнь. Он делает только это.

По длинной мастерской ползут шасси. Им пересекают дорогу колеса. Колеса вертятся в воздухе. Колеса спешат к шасси. Человек берет колесо, надевает его. Одно колесо. Другой — другое. Его назначение в жизни просто и торжественно: он надевает левое заднее колесо, всегда левое, всегда заднее. Он привык сгибать свою правую ногу. Левая неподвижна. Он привык повертывать голову только вправо. Налево он никогда не смотрит. Он уж не человек. Он только колесо — левое заднее. А лента движется дальше.

На нижней ленте шасси, на верхней кузова. Кузов опускается в люк с мучительной точностью. Это называется «свадьбой»; но никогда человек не может так точно пригнать себя к другому человеку. «Свадьба» длится ровно полторы минуты. Человек нагибается: гайка, штифтик. Лента движется.

Она не из шелка, она из железа. Это даже не лента. Это цепь. Это чудо техники, это победа разума, это рост дивидендов и это обыкновенная железная цепь, ею здесь скованы 25 000 колодников.

***

Пьер Шарден работает в сборочной. Он прикрепляет задние рессоры. В его руке железная серьга. Шасси движутся. У Пьера Шардена 1 минута 12 секунд. Он нацепляет серьгу. Он работает исправно: у него ведь трое детей. Он получает 4 франка 75 сантимов в час. Он хочет получать больше. Он хочет купить новую кровать. Он мечтает даже о светлой квартире: его окна выходят на глухой двор и его младшая дочка, которой уже четыре года, еще не начала ходить. Он о многом мечтает. Он старается нацеплять серьги скорее, он хочет выиграть десять или двадцать секунд.

Чтобы нацепить серьгу, достаточно 55 секунд. Это учтено. Теперь в час мимо Пьера проходит 70 шасси. Он получает все те же 4 франка 75 сантимов.

Он не купил кровати. Его дочка так и не начала ходить. Он приходит домой унылый и непонятный. Он всегда молчит. Он, кажется, разучился говорить. Он знает одно: нацепить серьгу. В 55 секунд. Он умрет на пять лет раньше. Зато каждый автомобиль теперь обходится на 6 сантимов дешевле.

Жан Лебак, тот работает в Сюренн. Он изготовляет шарниры. У него старуха-мать и двое ребят. Как и Пьер, он о многом мечтает. За 100 шарниров ему платят 4 франка. Он забывает о жизни. Он входит в раж. Он больше не Жан Лебак, который играл в кости или подтрунивал над товарищами, нет, он — американская машина. Вместо 120 шарниров в час он изготовляет 220. Вот-то порадует он своих!.. Но нет — автомобиль должен стоить дешево. Если Жан Лебак делает шарниры быстрее, надо переменить расценку. Вместо 4 франков он теперь получает за 100 штук всего 2 франка 80. Он пробует работать еще скорее. 230! Но нет, он все-таки не американская машина. Он валится без сил. Врач говорит, что это грипп. Он знает, что это отчаянье. Как бы он ни работал, больше положенного ему не выработать. Надеяться не на что. Он должен просто спешить, спешить ради спешки.

Торопятся рабочие. Торопятся инженеры. Торопится и г. Ситроен.

В просторной конторе стучат машинистки. Люси Невилль. Номер 318. Скорее! Вложить листы — 44 секунды. Письмо — 3 минуты 19 секунд. Перечесть — 50 секунд. Положить копию в ящик — 4 секунды.

Хронометрщик носится от станка к станку. У него часы и доска. Он ведет счет секундам. Он смотрит на руку и на стрелку. Он записывает. Это не смертные приговоры, это только удешевленные автомобили.

Торопятся инженеры. Они выдумывают новый тип машины. Повысить скорость. Увеличить удобства. Уменьшить стоимость. Мотор должен поглощать как можно меньше горючего. «Форду» на 100 километров нужно 11 литров. Что же, у американцев и нефть, и доллары. «Ситроен» должен довольствоваться малым. 7 литров. Покупатель сноб, он требует шесть цилиндров. Покупатель нервен, он требует бесшумный мотор. Покупатель бережлив, он не хочет платить дорого. Нужно все продумать: фильтр для масла и форму приставных стульев. Вот он, этот неведомый покупатель, он стоит у витрины магазина. Он смотрит на машины различных марок. Инженер едет домой в вагоне метро. У него нет автомобиля. Но неведомый покупатель уже остановился у витрины. Инженер торопится: новая модель должна быть выпущена к очередному «Салону». Через несколько месяцев эта модель станет устаревшей. Инженеры будут тогда выдумывать новую. Живыми они отсюда не уйдут. Это ведь лента, та, что движется.

Г. Андре Ситроен хмурится. У него немало забот. Пежо расширяет производство. Пежо выпускает машину на кордонной передаче. Старик Форд снова открыл заводы. У Форда тоже инженеры. Они тоже сидят и думают. Надо найти новые рынки! Надо усилить рекламу!

Перед Ситроеном автомобили Форда, Фиата, Пежо, Рено. Миллионы. Орды. А земля так мала! Так легко ее об'ехать!..

Японцы не ездят в автомобилях. Они ездят на людях. Какие варвары! Человек — это 8 километров в час. «Ситроен» — это 80. Разве можно медлить? Тебя обгонит другой японец! Но японцы упрямы. Форду хорошо: там у всех рабочих свои машины. Рабочие Ситроена мечтают о велосипеде. Что же, если г. Ситроен повысит производство до 3 000 в день, его рабочие, пожалуй, начнут мечтать об автомобиле. Вот оно счастье, их и его! Следовательно, надо повысить производство. Но для этого надо повысить спрос. Хорошо бы рекламировать воздух: кто не ездит в воскресенье за город, тот укорачивает свою жизнь на одну треть. Хорошо бы рекламировать жизнь: она одна, другой нет.

Зловеще хрипят «Форды» и «Пежо», «Рено» и «Фиаты». Они хрипят сдавленно: ведь они тоже бесшумны. У них тоже фильтры для масла. А земля так мала! В России революция. Китайцы режут друг друга. Негры, те просто лазят по деревьям...

Все знают, что г. Андре Ситроен — игрок. Он обожает баккара. У него четверка или пятерка. Остается одно — прикупать: ведь кто знает, может быть, у Форда девять?.. Долго длится эта игра. Г. Ситроен то срывает банк, то проигрывает. Он удешевляет тарифы. Он выпускает новые модели. Он всем рискует. Только бы поскорей!..

***

На заводах Ситроена 25 000 рабочих. Когда-то говорили они на разных языках. Теперь они молчат. Приглядываясь к лицам, можно увидеть, что эти люди пришли сюда из разных стран. Здесь парижане и арабы, русские и бретонцы, провансальцы и китайцы, испанцы и поляки, негры и аннамиты. Поляк когда-то пахал землю, итальянец пас баранов, а донской казак верой-правдой служил царю. Теперь все они у одной ленты. Они не разговаривают друг с другом. Постепенно забывают они человеческие слова, слова теплые и шершавые, как овечий мех или как комья свежевспаханного поля.

Они слушают голоса машин. Каждая кричит по-своему. Огромные песты нагло ворчат. Взвизгивают фрезерные станки. Пищать пробоины. Грохочут прессы. Кряхтят жернова. Вопят блоки. И ехидно присвистывает железная цепь.

От рева машин глохнут провансальцы и китайцы. Глаза их становятся светлыми и пустыми. Они забывают все на свете: цвет неба и имя родной деревушки. Они продолжают приставлять гайки. Автомобиль должен быть бесшумным. Инженеры сидят и думают, как бы сделать немой мотор. Вот эти клапаны еще пробуют разговаривать: надо заняться клапанами. Покупатель так нервен! У тех, что стоят возле ленты, нервов нет. У них только руки: приставить гайку, нацепить колесо.

Агенты Ситроена рекламируют море и горы, берега Луары, перевал через Альпы, сосны, озон. Мастерские Ситроена наполнены недобрым дыханием машин. Это ядовитые газы, это вонь горячего масла, резкость кислот, спирт, жидкий уголь, краски и лак. Металл травят кислотами — у рабочих экзема. Металл чистят песком — рабочих караулит чахотка. Металл окрашивают из

автоматических пистолетов — испарения отравляют рабочих. В литейных мастерских от масла и серы у рабочих слезятся глаза. Мало-по-малу перестают они выносить солнечный свет. Но в мастерских нет солнца. Они продолжают оттаскивать рамы. Зачем им глаза, уши или жизнь? У них руки, они стоят возле ленты.

Когда Пьер Шарден был молод, он работал тихо и спокойно. Он работал десять часов, но никто его не подгонял. Он любил тогда инструменты и железо. Он работал со вкусом. Он учился своему ремеслу. Потом оказалось, что уменье его ни к чему: фрезерный станок работает с точностью в одну сотую миллиметра. Пьер перестал управлять машиной, машина стала управлять им. Теперь он нацепляет серьги. Лента движется. Против этого бессильны все доводы. Если он будет кричать, его прогонят. На его место возьмут другого — негра или мальчика. Кто же не сумеет нацеплять эти серьги?..

Жена, та еще мечтает:

— Вот повезет, и переедем в Ванв... Там воздух чистый...

Пьер молчит. Ему повезет? Серьги всегда останутся серьгами. Набавят 5 су — вздорожает масло. В Ванв чистый воздух? Может быть. Но из Ванв на завод — час, час — обратно. А он так устает! Странная это усталость. Он мог бы сейчас, кажется, наколоть дров целый воз или пробежать километр без передышки. Тело его не устало. Устала голова. Скорей нацепить серьгу, пока не ушла машина!.. Он забывает имена и лица товарищей. Он не понимает, о чем его спрашивает жена. Он только жалобно отмахивается: оставь ты!..

Иногда жена уводит его в кино. Он сидит там тяжелый и сонный. От темноты слипаются глаза. Трудно понять, почему этот банкир так приветлив с нахальным посетителем... Рядом, в рыжей духоте, среди дыма и снопов дрожащего света, угрюмо копошатся мысли соседей: тех, что вытаскивают оси, или тех, что вставляют штифтики. Эти мысли без ног, без плавников, без крыльев; они копошатся как дождевые черви, рассеченные заступом. Это даже не мысли, это механическая сцепка полузабытых образов, это сны пещерного человека, мычание глухонемого, и это горячечный бред калькулятора: вместо обоев, вместо губ, вместо микстур все те же шеренги цифр. В кино сидит, казалось бы, обыкновенная публика. Каждый заплатил за вход один франк или два. Они смотрят светскую мелодраму, разрешенную цензурой. Это — искусство, культура низов, это — Париж, тот, что «светоч мира». Копошатся мысли, отекают ноги, в глазах рябь экрана и перламутр. Трещит аппарат. Лента все движется.

И вдруг грохот. Это смех ста глоток, смех грубый и громкий, как рев клапана, смех на «о»—«го-го-го!» Зал гогочет. На экране нахальный посетитель, танцуя, упал. Он упал и разбил монокль. Как он здорово шлепнулся! Как правильно растянулся! Как дрыгнул ножкой! Как утер нос! Го-го! Го-го! Пещерный человек на минуту расправляет лапы и рычит. В его глазах отчаянное веселье. Потом вспыхивает электричество, и глаза гаснут.

Машина сделала свое дело: человека разобрали и собрали заново. Руки его стали двигаться быстрее, веки реже моргать. С виду он похож на обык-

новенного человека. У него брови и жилетка. Он ходит в кино. Но разговаривать с ним не о чем. Он уже не человек. Он только частица ленты: болт, колесо или штифт. Он живет не просто, как другие люди, чтобы есть, спать с женщинами и смеяться, нет, жизнь его полна глубокого смысла — он живет, чтобы изготовлять автомобили: 10 лошадиных сил, бесшумный ход, стальной кузов.

Пьер молча идет домой. Жена пробует разговаривать:

— Интересная картина, я сразу догадалась, что этот брюнет — подлец. А ты?..

Пьер не отвечает. Жена его весь день работала: она стирала белье, носила уголь, мыла полы. У нее болит поясница. У нее болят плечи. У нее все болит. Но она не стояла возле ленты. Она еще может разговаривать о каком-то брюнете. А Пьер молчит. Молча он раздевается. Молча ложится. Он о чем-то думает сосредоточенно, ревниво. О брюнете? Об автомобиле? О смерти? Нет, он думает о пятне на обоях возле самой подушки. До чего это пятно похоже на голову с трубкой! Какая гадость! Ну да, вот и дым!.. Он долго думает об этом. Потом он говорит:

— Послушай, здесь надо что-нибудь повесить...

Жена еще штопает носки. Пьер смотрит, широко раскрыв глаза, на электрическую ампульку. Он смотрит, не моргая. Холодный свет льется внутрь. На минуту он освещает: голова с трубкой, брюнет, как упал — смешно, скорей нацепить серьгу!.. Рука Пьера по привычке подымается; правая рука, левая, та лежит спокойно. Пьер засыпает. Рука поверх одеяла судорожно шевелится. Дыхание переходит на ночной счет.

Жена смотрит на Пьера. Какой он стал худой и бледный! Проклятый завод!.. Жена тихо вздыхает, очень тихо — ведь Пьер теперь спит. Он спит, но его пальцы еле заметно вздрагивают. Он наверное еще нацепляет серьги: до утра, до ночи, до смерти.

2

Г. Андре Ситроен, если верить светским хроникерам,— любимец всех казино. Без него не бывает настоящей партии. Он обладает высоким даром: он умеет проигрывать. Он проигрывает небрежно и красиво. Зеленое сукно это не грубая нажива, это прежде всего поэзия бессонных ночей, проглоченные вздохи, тщательно скрываемый пот, отмирание пальцев, поединок с судьбой и едва приметная улыбка, ее надо быстро стереть шелковым платочком, как капли пота на висках.

Г. Андре Ситроен — игрок по природе. Его заводы, это — жетоны в жилетном кармане. Не упорством достиг он своего, не хитростью, не гением — азартом. Правда, официозные биографы говорят о зубчатках, придуманных в свое время молодым инженером Андре Ситроеном, который окончил парижский политехникум. Но мало ли на свете толковых инженеров и даже новых зубчаток?..

В 1915 г. Ситроен открыл в Париже завод. Он, конечно, изготовлял товар по сезону: он делал снаряды. Недостатка в заказах не было. Патриотизм сочетался с хорошими барышами. Но кончилась война. Перед г. Ситрое-

ном были американские машины, а также неизвестное будущее. Одни ставили на новую войну, другие — на длительный кризис, третьи — на революцию. Г. Ситроен поставил на Америку. Он понял, что отжили свой век стихи и ландо, лошади и любовь. Вчерашний домосед, мечтатель, растяпа завтра будет судорожно хвататься за часы.

В первый же год заводы Ситроена выпустили 3 300 машин. Кругом забастовки, волнения, цены растут, рабочие выбирают делегатов, дадаисты кричат о светопреставлении, предусмотрительные патриоты переводят капиталы в лондонские банки: кругом страх и надежды. Г. Ситроен поставил на хорошие шоссе и на жестокую борьбу за существование.

Он обдумывает, как бы совместить американский размах с европейской нищетой? Надо строить дешевые машины. Надо, чтобы эти машины поглощали мало горючего. Надо, чтобы эти дешевые машины выглядели понаряднее. Европеец беден, но тщеславен, он ведь так горд своей тысячелетней культурой! Он согласится на слабосильный мотор, но не на дурные пропорции.

Два года спустя заводы Ситроена выпустили тридцатитысячную машину. Это немало, но г. Ситроен любит только крупную игру. Автомобиль не жемчужное колье и не скрипка Страдивариуса. Автомобиль — это новое божество. Ему должны все поклоняться. Следовательно, надо понизить его стоимость. Г. Ситроен ставит на новую карту. Он меняет оборудование мастерских. Он рекламирует свою последнюю модель: 5 лошадиных сил. Это доступно всем. Счастье за полцены! Счастье на выплату! Заводы выпускают 200 машин в день. Обороты увеличиваются. Улицы Парижа становятся опасными. Об автомобилях теперь мечтают мелкие лавочники и фермеры.

Железо стоит дорого. Уголь стоит дорого. Краска стоит дорого. Но в графе расходов имеется одна рубрика. На нее направлено все внимание Ситроена. Если нельзя понизить цены на материал, можно понизить цены на труд. 19-й год позади. Рабочие комитеты давно распущены. Стачки проиграны. Г. Ситроен показывает своим рабочим новую заморскую игрушку: это лента, та, что движется. Пусть рабочие и ворчат — их ропот покрывается громыханием новых прессов. Автомобили Ситроена теперь стоят еще дешевле. Г. Ситроен снова взял банк.

Но тогда игра перестает его занимать: она слишком мелка. 5 сил приносят недостаточно доходов. Игрок пренебрегает осторожностью. Он бросает ходкую марку. Все растеряны. Подержанные автомобили 5 сил продаются за бесценок: завод больше их не выпускает. Г. Ситроен ставит на обогащение одних, на безрассудство других. Без автомобиля жить нельзя: это доказано. Следовательно, покупатели кинутся на новую машину — 10 сил, 15, 12. Он сам шел на жертвы. Его рабочие шли на жертвы. Пусть теперь вся Франция пойдет на жертвы. Пусть пьют меньше апперетивов, пусть реже ходят в кино, пусть носят пальто не два, а три года.

Покупатели сдаются не сразу. Пауза для дельца это крах; для хорошего игрока это только жемчужины на висках и шелковый платочек. Он быстро вытирает лоб. Он сорвал и этот банк. Новая модель куда выгодней прежней. Дивиденды растут. Игра стоила сердцебиения.

— Прикупаете?

— Прикупаю.

Восьмерка. Игрок прикупил и перекупил. Деликатно улыбаются соседи Деликатно шелестят карты. Деликатно посвечивают жетоны. И снова:

— Прикупаете?

И снова — деликатные улыбки. За спущенными шторами шумит море Игра никогда не может кончиться. Игрок то проигрывает, то отыгрывается но он не уходит. Он хочет выиграть. Наконец-то, он выигрывает. Но он все таки не уходит. Он хочет выиграть больше. Тогда он снова начинает проигрывать. Это — как прилив и отлив. Игра постоянна. Игрок и не хочет выиграть. Он хочет только играть. Разве не похожи на детские игрушки эти костяные жетоны? Нет, он даже не хочет играть. Он очень устал. Рябят масти. Девятка сморщивается в мизерную четверку. Он вытирает лоб. Он бледен и уныл. Он не хочет больше играть. Впрочем, это неважно — хочет он или не хочет. Его ведь спрашивают об одном:

— Прикупаете?

Он должен играть. Это уж не игра, это лента, железная лента. Немного жестче улыбка. Немного быстрее летит в пепельницу чересчур длинный окурок. Но голос его ровен:

— Прикупаю.

Потом просачивается рассвет. В этот час на заводах Ситроена меняются смены. Лица рабочих неподвижны и серы, как будто они не из мяса. Лицо игрока еще неподвижней, еще серее. Это не лицо, но игральный жетон.

— Следовательно вы проиграли 4 000 000...

Игрок ничего не понимает. Его рука еще тянется к колоде, но колоды больше нет. Казино уже закрыли. Рука нечаянно натыкается на ветку, всю мокрую от обычной предутренней жалости. Перед игроком море. Движения его законны и неизменны. Оно сначала бьется о камни, потом шарахается прочь. Игрок и море остаются вдвоем. Они глядят друг на друга с легким недоверием, которое постепенно переходит в безразличье. Оба устали и оба должны продолжать свое дело. Для жалоб у них нет времени, а философия устарела. Начинается прилив. Игрок задумался, хоть он и не думает ни о чем. Его приводит в себя гудок автомобиля. Четыре миллиона... Еще две недели... Еще двадцать или тридцать лет... Послушливо игрок уступает дорогу машине. Это последняя модель Ситроена, 6 цилиндров, 10 сил, Б. 14. Игрок улыбается. Улыбка его ничего не означает, как и роса на щеке.

3

У Ситроена 5 000 агентов. Они рыщут по городам и по селам. У них энергия мистера Хувера и собачий нюх. Они мудры, как библейский змий. Они находчивы, догадливы и терпеливы. Одни из них замечательные ораторы: Гамбетты, Анри Роберы, Брианы. Другие могут быть названы тончайшими психологами. Человечество они делят на несколько категорий: те, что купят автомобиль немедленно, те, что купят его через шесть месяцев, наконец, те, что купят его через год. Людей, которые никогда не купят автомобиля, для

:нтов не существует: агенты верят в человеческое счастье и в прогресс. Этот фермер выгодно продал зеленый горошек; он может купить машину отчас же. Что касается молодого доктора, то у него уже завелись первые ольные, следовательно, через полгода он созреет для очаровательного автомобиля. А с булочником придется подождать до весны.

5 000 агентов разносят по счастливой Франции новое десятисильное частье и облака серебряной пыли. Они шлют в Париж донесения. Они восхваляют выносливость и легкость машин. Они просят об одном—дешевле! ще дешевле! Вот булочник, тот никак никак не может. Да и доктору рудно. Здесь ведь платят по 10 франков за визит. Франция не Америка!..

Г. Ситроен сам знает, что Франция не Америка. А вот в этой золотой мерике автомобиль стоит вдвое дешевле. Но что же тут поделаешь?.. Кривая цен попрежнему рвется ввысь. Вздорожали даже леденцы и фиалки. На Ситроена возложена непосильная миссия: он должен дать автомобили сем. Это не заказы. Это обет.

Г. Ситроен продает для рекламы игрушечные автомобили. Их дарят детям на елку. Деревянные лошадки давно уж не в моде. Дети теперь играют перемену скоростей. Но дети кроме того растут. Вот уж надоели им любимые игрушки. Скоро они обратятся к одному из пяти тысяч. Если они не могут приобрести автомобиля, они станут мизантропами или, хуже того, оммунистами. Г. Андре Ситроен должен спасти молодую Францию от губительного разочарования.

***

Служащие вывешивают в мастерских беленькие листочки: «Необходимы жертвы. Дирекция это поняла. Теперь это должны понять и рабочие...» Ситроен весь преисполнен самопожертвования. Пусть мыло или нитки орожают — это заслуженные ветераны. Они входят в жизнь человека с первых же слов, вместе с продранными штанишками и с теплой губкой. Они общепризнаны, как солнце и как полиция. Изготовлять мыло и нитки почтенное, но до чего же скучное дело! Г. Андре Ситроен — апостол новейшего завета. Он твердит, что автомобиль нужнее спокойствия. 5 000 агентов вынют уверовавшим столько-то тонн железа и столько-то крупиц непоседливости. Ради этого он согласен на любые жертвы. Он согласен немного подождать с доходами. Да, он согласен. Очередь за рабочими.

***

Чтобы продавать автомобили нужны агенты; чтобы править миром, нужны поэзия, химия и тщательный отбор; нужно иному солдату подарить огоны, нужно разукрасить социалиста почетной ленточкой, нужно во-время аписать несколько деликатных чеков. Г. Ситроен не вмешивается в политику. Он не мечтает о кресле депутата, не субсидирует правую печать и не рганизовывает «лиги гражданского единения». Он вне этого. Он выше этого. н изготовляет автомобили сериями. Как для всевышнего, нет для него ни эллина, ни иудея. На его заводах работают бок о бок благоразумные па-

триоты и завзятые коммунисты. Г. Ситроена занимает только одно: скорость. Для продажи он создал агентов, для производства — «показчиков». Показчика самого можно показывать на ярмарках или в университетских клиниках: «интереснейший экземпляр. Живая машина!..» Он не наблюдает за порядком. Он и не стоит у ленты. Он только показывает. Он показывает как легко любому человеку забыть о том, что он человек.

Жозеф Лепон прекрасный показчик. Он обучает рабочих сборочной мастерской. Сколько времени тратит вот этот парнишка на установку ручного рычага? 4 минуты? Лепон берется за дело. Быстро прилаживает он болт и быстро ввинчивает винты. 1 минута 40 секунд. Заведующий определяет: для среднего рабочего достаточно 2 минут. Тогда показчик идет к ленте. Показчик показывает. В течение одного часа устанавливает он 30 рычагов. Потом он уходит прочь — показывать другим и другое. Рабочий остается с рычагами. То, что показчик делал один час, он должен делать восемь часов под ряд, восемь лет, может быть, и всю свою жизнь. Рабочий смотрит на спину Лепона и злобно шепчет:

— Сволочь!..

Лепона все ненавидят. Ситроен — далеко, это почти миф, это вроде господа-бога или кабинета министров. Трудно ненавидеть инженеров. У них свои резоны. Разве они знают, что такое ввинчивать весь день винты?. Лепон же свой, рабочий, он получает всего на один франк в час больше других. От него вся беда. От него лента. От него секунды. От него вечером проклятая одурь, когда нельзя ни посмеяться, ни поспорить, ни даже уснуть.

Офицерам отдают честь, имена знаменитых актеров печатают на афише крупным шрифтом, хорошего инженера то и дело вызывают в кабинет директора. Жозеф Лепон живет среди рабочих, и рабочие его ненавидят. Он работает, как они, даже больше; он создает новые рекорды; он изумляет инженеров. Он может простоять на одном месте, не двигаясь хоть десять часов под ряд. Он может проработать весь день, не выходя до ветру. Он может не есть и не спать. На руках его, кажется, не пальцы, но зубила, щипцы, кусачки, сверлы, коловороты; внутри же вместо сердца мотор. Он не помнит своего детства. Об его человеческом происхождении свидетельствуют только метрика и родимое пятно. Он столь же нов и божественен, как автомобиль. Но здесь-то и начинается несправедливость. Об автомобиле мечтают все; даже рабочие, выходя из мастерских, с завистью посматривают на машинах старших инженеров; даже рабочие боготворят автомобиль. А вот, встречаясь с Лепоном, они сердито отплевываются. Оказывается, Лепон еще несовершенен: внутри у него помимо мотора архаические чувства, он способен кривиться от обиды.

Вот он вышел из ворот. Он подзывает Дюрана, приемщика:

— Зайдем-ка, опрокинем по рюмочке!

Угощает, конечно, он. Но Дюран бормочет:

— В другой раз. Я сегодня спешу...

Дюран любит ром, но он боится, как бы товарищи не увидали его с Лепоном. И Лепон понимает это. Он тихо ругается. Уныло идет он по улице

.пешить больше незачем. Теперь вечер, сон некому показывать, все сами .меют спать. Он заглядывает в зеркало возле булочной. Обыкновенное лицо. ыжие усы. Веснушки. Каскетка. Ну, да, он самый обыкновенный человек. о когда он подходит к рабочему, зрачки рабочего ширятся от ужаса, как удто подходит к нему смерть. Лепон не раз это видел. Нечего сказать, еселая должность: разыгрывать самое смерть!..

Он заходит в кабачок. У стойки незнакомые рабочие. Он заговаривает. н ставит по рюмке. Трогательно жмет он руку каждому. Он глотает ом медленно и мечтательно. Он старается всем сказать что-нибудь притное:

— Вот и весна... Совсем потеплело...

Он показывает на проходящую мимо девушку:

— Шляпка-то какая...

Он жалуется:

— Устал я... Ну и работа!..

Но тогда он слышит, как один из собутыльников говорит:

— Это показчик из сборочной... Известная гадина!..

Лепон швыряет монеты на стойку и молча уходит. Он идет вдоль пуынной набережной. Неприязненно поблескивает вода. В нее вот кидаются юди. А в окнах свет. Там уют — граммофон и карты. Чорт бы их всех подрал! Пусть лучше бросаются в Сену! Может ли ром развеселить Лепона? сли он снова зайдет в кабак, снова все выпьют и выругаются. Возьмет евушку — чего доброго, та тоже скажет: «эх, ты, показчик»... И потом он ак устал! Надо спать. Завтра он будет показывать, как в 30 секунд подвеивать кольца.

Но он не завертывает в улицу направо. Он не идет домой. Он никуда е идет. Он стоит на мосту и смотрит вниз. Вода все так же злобно посвеивает. Жозеф Лепон обыкновенный человек. Он не может жить. Он очень есчастен.

Полицейский заметил человека на мосту. Полицейский знает, что внизу е ловят рыбу и не разгружают баржу. Внизу только холодная вода. Полиейский стоит на этом углу уже четыре года. Он хорошо знает, почему люди мотрят так пристально вниз. Привычными шагами направляется он к Лепону.

***

Г. Андре Ситроен читает: «Наше дело, как мы и предвидели, развивается полне удовлетворительно. Действительно, в отчетном году оборот равнялся 1 210 000 000 франков при 73 002 выпущенных автомобилях, против 1 005 000 000 за предшествующий год...»

Г. Андре Ситроен тяжело дышит: от духоты и от цифр. Июньский гоючий день. За окнами ревут, пищат, хрипят, задыхаются тысячи машин. их хрипе все: ночь лотарингских рудокопов, зной каучуковых плантаций, яжелое зловонье нефтяных промыслов, где-то далеко, в Венецуеле, и визг келезной ленты, той, что здесь рядом. В хрипе машин агония миллионов юдей, которые жили и умерли ради одного, чтобы сделать эти самые авто-

мобили. В их хрипе и задержанное дыхание г. Андре Ситроена и чахоточный присвист шлифовщика. Автомобили за окнами надрываются. Отдышавшись, г. Ситроен бесстрастно продолжает: «и против 872 000 000...»

4

У фермера давно своя машина. Доктор перед Пасхой купил кабриолет. Вчера, наконец-то, сдался и булочник: он подписал бланк, поднесенный ему красноречивым агентом. При этом он загадочно улыбался, точь в точь как Фауст. Впрочем, он самый обыкновенный булочник из местечка Монтрей.

Г. Ситроен мужественно выполняет свою миссию: скоро автомобиль будет даже у чахоточного шлифовщика. Бедняга поймет, умирая, зачем он жил на этой земле.

Но чем дольше играет игрок, тем дальше неведомый розыгрыш. Во Франции один автомобиль на 42 жителя, в Америке — на 5. Игрок берет новую карту. Апостол снова идет к упрямым язычникам. У него нет ни чудодейственных исцелений, ни раскатов грома, ни стигматов. Зато он находчив и упорен. Как никто умеет он прославлять своего нового бога.

Говорят, что в Париже палата депутов и Венера Милосская, египетский обелиск и Поль Валери, замечательные портные и премудрая Сорбонна. Чужестранец, приехав впервые в этот город, к вечеру, когда уже спят и Венера и профессора Сорбонны, видит перед собой только одно слово; оно пылает на Эйфелевой башне саженными буквами: это визитная карточка г. Андре Ситроена. Великое имя сияет. Вокруг него извиваются молнии и от земли к небу рвутся языки мистического пламени. Это 200 000 электрических лампочек и 90 километров проводов. Это также новое откровение, скрижали Синая: опомнитесь! приобщитесь! Вы должны немедленно приобрести — 10 сил, новая модель!..

Г. Ситроен поясняет: это не реклама, это только посильное участие заводов Ситроена в Международной выставке декоративных искусств. Рекламировать можно мыло или папиросы. Владелец автомобильного завода — поборник культуры. Г. Ситроен строит, например, автомобили с гусеничной передачей. Нечестивцы заверяют, будто эти гусеницы выращиваются для очередной войны. Они шепчут о польских заказах. Они забывают, что г. Ситроен прежде всего апостол. Его гусеницы переползли через пески Сахары.

Это была чрезвычайно романтическая экспедиция. Завидев автомобили Ситроена, львы и негры падали ниц. Писатели написали замечательные книги. Художники привезли из Африки экзотические полотна. Во всех кино мира шла картина «Черный переход». Г. Ситроен привез эту фильму даже в палату депутатов. На экране львы и негры падали ниц. На экране трепетало заветное имя: Ситроен, Ситроен, Ситроен.

Г. Ситроен пригласил восхищенных депутатов к себе в гости: осмотреть его заводы. Почтенные законодатели, радикал-социалисты и социал-радикалы, увидели американские прессы, а также знаменитую ленту. Это было куда сложнее всех законопроектов и перебаллотировок. Депутаты поняли, что

г. Ситроен действительно великий гражданин: он не произносит речей, молча строит он автомобили. Впрочем, в честь столь красноречивых гостей г. Ситроен произнес небольшой тост; он произнес его, разумеется, во время десерта, с традиционным бокалом в руке:

— Я полагаю, что тем, кто призван управлять страной, кто призван поддерживать гармоническое равновесие всех жизненных сил, небезынтересно было ознакомиться с рациональным устройством автомобильного завода...

Один из депутатов, радикал-социалист или социал-радикал, вспомнил шеренги рабочих и от страха зажмурился. Уж не предлагает ли этот Ситроен перевести всю жизнь на ленточную систему? Например, он, депутат, говорит с трибуны, другой — в это время уже вносит поправки, третий — голосует, четвертый — апеллирует к стране, пятый — в буфете пьет липовый чай, шестой... Впрочем, может быть, впечатлительный депутат зажмурился от чересчур плотного завтрака...

Отвечал г. Ситроену г. Ле Трокер, бывший министр общественных работ и товарищ г. Ситроена по политехнической школе:

— О, это не цепь, которая порабощает человека! Нет, это дорога к социальному совершенствованию!.. Позволь же, дорогой друг, поздравить тебя...

Речь г. Ле Трокера, как и его портрет, были тотчас же воспроизведены в «Газете Ситроена». Внизу значилось: «Новые цены! Рассрочка на 18 месяцев!»

Кто только не приходит на заводы Ситроена? Студенты из Бухареста и «содружество автомобилистов-пулеметчиков 5-го кавалерийского дивизиона», польские конькобежцы и «лига журналистов», певицы, боксеры, делегации хоровых обществ, члены дипломатического корпуса, даже карнавальные королевы. Как хозяйка светского салона, г. Ситроен не пропускает ни одной знаменитости. В Париж прилетел Линдберг. Линдберг — герой Парижа. Следовательно, Линдберг должен посетить заводы Ситроена. И г. Андре Ситроен привозит в автомобиле застенчиво улыбающегося летчика. Он показывает Линдбергу: вот лента. Рабочим он показывает: вот Линдберг. Завтра об этом посещении напишут во всех газетах. В проспектах Ситроена будет указано: «Заводы Ситроена (крупным шрифтом) стали символом французской индустрии. Герой Атлантики Линдберг (тоже крупным шрифтом) передал им привет от индустрии Америки». Если до сих пор люди еще не знали, зачем именно отважный летчик перелетал через океан, теперь они наверное догадаются: как же, чтобы передать привет заводам Ситроена!..

Эйфелева башня высока. Над ней только небо. Следовательно, надо заняться небом. Продавцы мыла расписываются на жалких заборах. Г. Ситроен должен расписаться на голубой лазури. Он заказывает аэропланы. Скромные сотоварищи Линдберга должны теперь выписать дымом по небу имя г. Ситроена. Внизу парижане стоят, задрав головы, и дивятся. Они еще никогда ничего не читали на небе, кроме звездных иероглифов. Но иероглифы это для египтологов или для детей. А г. Ситроен расписывается обыкновенными латинскими буквами. Больше некуда скрыться от назойливых букв.

Они внизу и наверху. Они повсюду. Они гудят. Они светятся. Они покрывают поля. Они заслоняют солнце.

С неба г. Ситроен быстро возвращается назад, на землю. Тираж «Газеты Ситроена» — 15 000 000 экземпляров. Там печатаются акафисты автомобилю, беседы с автомобилем, анекдоты об автомобиле. Там пишут депутаты, поэты, даже опереточные актеры. Все они пишут, разумеется, об одном: о божественной сущности 10 сил. Их мистические размышления окружены цифрами: «Торпедо — 22 600».

Г. Ситроен жертвует юноше, который лучше всех сдаст экзамен на аттестат зрелости, превосходный автомобиль. Г. Ситроен расставляет на дорогах Франции 150 000 указательных столбов со своим именем. Г. Ситроен продает 400 000 игрушечных автомобилей. Г. Ситроен принимает участие во всех выставках: в Марокко и в Перу, в Испании и в Австралии. Кост и Ле Бри перелетели через океан. Они в Монтевидео. Куда идут они прежде всего? Конечно же, к представителю Ситроена. В Париж приезжают британские легионеры. Г. Ситроен тотчас же посылает им целый эскадрон машин. Агенты Ситроена интервьюируют г. Тардье и г. Декобра, г. Саша Гитри и г. Пьера Милля. Каждый день газеты переполнены сенсационными новостями: Ситроен предполагает иллюминовать Площадь Согласия, Ситроен организует новую экспедицию в Тибет, Ситроен удваивает производство. Ситроен... Ситроен... Ситроен... Внизу — Париж, внизу депутаты и писатели, внизу Лувр, внизу гробница Наполеона, внизу голубая музейная пыль. Над всем этим — Эйфелева башня. В нее влюблены поэты-сюрреалисты и ей собираются теперь выдать военную медаль. Это — самая гордая из всех парижанок. Она выше Нотр-Дам и знаменитей расиновской Федры. На ней пылают семь роковых букв: «С-и-т-р-о-е-н». Спешите же, пока не поздно!..

**
*

Г. Ситроен любит ошеломлять цифрами. Цифры всегда таинственны и патетичны. Он настаивает: наши заводы занимают 70 гектаров. В наших машинах 46 000 лошадиных сил. По 31 декабря 1927 г. нами выпущено 319 074 автомобиля. Мы способны теперь выпускать 1 000 машин в день.

Г. Ситроен о многом рассказывает, о многом, но не обо всем. В своих проспектах он, например, не говорит о том, что чистый доход заводов Ситроена за первые шесть месяцев 1928 г. равняется 106 000 000 франков. Покупателю автомобиля это неинтересно. Это интересно только держателям акций. Об этом пишут в финансовых отделах солидных газет. Но есть цифры, которые не интересуют ни автомобилистов, ни биржевиков, хоть они столь же таинственны и патетичны, как справка о гектарах площади. На одном из заводов Ситроена, а именно в Сан-Уэн за 9 месяцев было зарегистрироваено 1 200 несчастных случаев.

В Сан-Уэн штамповальные мастерские. Там гордость г. Ситроена — гигантские прессы. Кроме прессов там — рабочие и секундная стрелка. Вот отчет за один месяц:

7 сентября у рабочего оторван палец. 10 — у женщины — три пальца, у рабочего — рука, у другой женщины — три пальца. 11-го — два пальца

под прессом, рука отхвачена ленточной пилой. 26-го — один палец под прессом. 5 октября — два пальца. 6-го крупный день: у одного рабочего — три пальца, у другого — четыре пальца, у третьего — рука.

К цифрам проспектов можно прибавить новую: на одном из заводов Ситроена в течение одного месяца — 33 оторванных пальца, 12 000 автомобилей, 18 000 000 чистого дохода, 33 пальца.

Автомобиль должен стоить дешево. Г. Ситроен дорого платит за американские машины. А людей он сегодня берет, завтра отсылает: бретонцев, провансальцев, арабов, русских, женщин, подростков. Грохочут гигантские прессы, и летят, летят хлопья человеческого мяса.

Секундная стрелка это скорая стрелка. Рабочий к вечеру мало что понимает. В его голове гуд и зиянье. 800 раз он опускал и подымал руку с точностью пресса. На этот раз рука замешкалась — кровь марает замечательный пресс. Уж не слушаются руки, они путаются и дрожат — пила проходит по кисти. Это очень просто, и против этого ничего нельзя возразить. Автомобили ведь нужны всем. 33 пальца — не варварство и не легкомыслие, это только дешевые тарифы и это высокая миссия, возложенная своенравной судьбой на обыкновенного человека, которого зовут «Андре Ситроен».

5

Прежде иностранцы и провинциалы, приезжая в Париж, спешили к химерам Нотр-Дам или Джиоконде. Теперь первым делом они осматривают заводы Ситроена. Вчера любознательная миссис Доран была в Лувре, завтра она едет в Версаль. А сегодня? Сегодня — к Ситроену. Парижане тоже приходят посмотреть, как ловко этот молодчина Ситроен изготовляет свои 10 сил. Одни из них только мечтают о собственной машине; почтительно смотрят они на любой болт. Другие, напротив, фамильярно оглядывают огромные печи; им кажется, что они у себя дома; ведь, помилуйте, у каждого из них свой «Ситроен», и каждый в воскресенье спешит за город подышать пылью и бензином.

Вот идут они гуськом: снобы в спортивных каскетках, солидные рантьеры с ленточками «почетного легиона», гипсовые красавицы, англичанки, тетушки из Оверни и десять или двадцать анонимных котелков. В литейной, где брызжет рыжий как солнце металл, где покрытые маслом и угольной пудрой рабочие сгибаются, разгибаются и снова сгибаются, один из котелков предупредительно говорит своей половине:

— Мамочка, сними горжетку, не то ты простудишься!..

В руках посетителей специальный бедекер: «Дощечка номер 7. Обратить особое внимание на 4 котла «Стерлинг». 16 000 кило пара». Впереди человек с эмблемой Ситроена в петлице. Это гид. Он поясняет:

— Обработка металла песком и сгущенным воздухом с помощью автоматического пескоструя. Этим достигается чистота тона.

Один из обладателей «Ситроена» улыбается: да, да, чистота тона! В общем этот Ситроен умница, и он притом настоящий француз. Он понимает, что автомобиль должен быть не только прочен, но и красив.

— Обратите внимание... Интересное нововведение... Наша химическая лаборатория... Только, пожалуйста, не приближайтесь!..

Предупреждение излишне: тетушки давно убежали прочь. Только миссис с любопытством расправляет лорнетку. Она все видала: факиров, апашей, кенгуру. Она не боится никакой опасности.

Перед ней человек в маске водолаза. Резиновая трубочка с воздухом. Он окружен ядовитыми испарениями. Он работает. Он работает, как и все здесь, залпом, боясь упустить секунду. Но вот его сменили. Десять минут отдыха. Он снимает маску. Он сосредоточенно дышит. Обыкновенный воздух для него лакомство. Он очень бледен. Лицо мокрое. Мокрые ладони. В его дыхание входит легкий присвист. Потом он кашляет, выпивает глоток молока и снова надевает маску. Миссис удовлетворена:

— Очень интересно! Это вроде «Собачьей Пещеры» возле Капри.

Счастливый обладатель продолжает восторгаться:

— Подумайте — чистота тона!..

Вокруг сухопутного водолаза смертельное облачко. Он не думает ни о Капри, ни о чистоте тона, ни о своей скорой смерти. Он просто работает.

— Нам предстоит еще многое осмотреть. Не стоит здесь больше задерживаться...

Стрелки. Надписи. Перечень достопримечательностей. С трудом удается гиду перекричать рев машин:

— Самый мощный пресс в Европе, типа «Толедо». 1 400 тонн. Приводится в движение двумя электрическими моторами: один в 100 лошадиных сил, другой...

Сноб вздыхает:

— Вот вам новая эстетика! Идеи Корбюзье-Сонье... Разве можно после этого всерьез говорить о человеке? Посмотрите только на его зубы! Как они впиваются в сталь! Это прекрасней всякой картины!..

Огромный пест опускается на матрицу. Посетители почтительно ахают.

— Вы слыхали — он весит 150 тонн! А какая абсолютная точность!

— Это вам не рука рабочего. Он не ошибется ни на миллиметр.

Вдруг происходит некоторое замешательство. Мастер кричит. Подбегают рабочие. Они оставили свои машины. Через две-три минуты все приходит в порядок. Только одного из рабочих куда-то быстро уводят. Он идет, зажмурив глаза и спотыкаясь. Он потерял шапку.

Котелок спрашивает:

— Что же случилось?

С рабочими разговаривать не полагается. Но котелок так взволнован непорядком, что забыл даже о разумной дисциплине. А рабочий уж бежит к своей машине. На ходу он отвечает:

— Два пальца... Такой уж пресс...

Молоденькая провинциалка растеряна. Чего доброго, она сейчас заплачет. Муж ее утешает:

— Это еще неизвестно... Его могут и вылечить. У Ситроена, наверное, замечательная клиника.

Женщина шепчет:

— Хорошо еще, что я не видела крови...

А миссис не смущена. Миссис все видела: бой быков и глотателя шпаг. Она только спрашивает гида:

— На какой руке?

Гид не отвечает. Гид думает, как бы загладить все. Он лопочет:

— Это не наша вина!.. Мы тратим в год 7 000 000 на страховку. Но они никак не хотят считаться с машиной!

Экскурсанты, однако, его не слушают. Они уже увлечены другим.

— В двадцать пять минут собирают мотор. А сколько здесь частей!..

Сноб усмехается:

— Да, это несколько посложней человека!

Вот и последние ворота. Гид раздает литературу. Не забывайте — мы продаем в рассрочку! Кабриолет-люкс. Часы. Километрический счетчик. Показатель скоростей. Показатель уровня бензина. Показатель давления масла. Амперометр. Нитро-целулоидовая окраска. Тройной ковер. Стекла подымаются с помощью рукоятки. И всего — 27 600 франков. При заказе 2 500. Ввиду близких каникул следует торопиться с заказами.

Один из котелков мечтательно улыбнулся. Этот наверное купит. Если не кабриолет, то торпедо. Он теперь побывал на кухне. Он все видел. Какая точность и тщательность! За такую машину действительно нечего опасаться. А чистота тона!..

Ползет с визгом железная цепь. Пылают печи. Течет железо. Вокруг водолазов нежные облака. Пресс типа «Толедо» работает. Пест опускается на металл. 25 000 человеческих сил и 46 000 лошадиных выполняют свое божественное назначение.

6

На зеленом сукне жетоны то скапливаются в одну горсточку, то растекаются. Часы прилива сменяет отлив. Сколько рабочих на заводе Ситроена? Недавно их было 25 000, теперь 18 000, завтра, говорят, будет 30 000. Это зависит от неведомого покупателя.

Ситроен платит на несколько су больше, нежели другие заводы. Стоит только ему повесить дощечку: «здесь нанимают», как от рабочих отбоя нет. Миновала горячая пора, Ситроен рассчитывает. Впрок он не работает. Автомобили ведь не акции, они должны дешеветь.

К Ситроену берут всех. Ситроен требует одного: молодости. 47? Не подходит. В 47 лет человек это старая шина. Он слишком близок к концу, чтобы жить по секундной стрелке. Ему хочется сесть и спокойно подумать: как же все это так вышло?.. Г. Андре Ситроен хорошо знает, что такое года и усталость. Он предпочитает молодых. Заводы Ситроена — это вечная молодость, это Америка, это весна.

Восемь лет Андре Видаль прикреплял шатуны к поршням. Он знал, что шатуны делают в Клиши — там работал племянник Видаля. А зачем эти шатуны существуют, он не знал, и он никогда не слыхал о прямолинейно-воз-

вратном движении. Это знали инженеры. А Видаль прикреплял шатуны. Он получал в час 5 франков 50 сантимов. По дорогам всего мира неслись тысячи автомобилей. В них, во всех были, разумеется, шатуны, и эти шатуны были прикреплены руками Андре Видаля. Но на девятый год Видаль не угодил новому мастеру. Глазами? Голосом? Или тем, как кашлял? Кто знает — человеческие чувства темны, даже на заводах Ситроена, где все точно и ясно.

Видалю было 44 года При ближайшем сокращении его уволили. Шатуны стал прикреплять молоденький итальянец. Видаль сначала выругался. Он покрыл всех: мастера, Италию и даже г. Ситроена. Потом он пошел домой. Он шел и он думал, что ему теперь делать? Он попробовал было наняться на угольный склад. Через день его прогнали. Он работал у Ситроена восемь лет. Он ничему не научился. Он только разучился таскать на спине кули. Он отдал свою силу каким-то таинственным шатунам, и десятки тысяч автомобилей неслись во весь дух.

А Видаль шатался возле Центральных Рынков. Он помогал разгружать возы и подбирал мерзлую репу. Потом он шел на Елисейские Поля. Там он останавливался возле прекрасных автомобилей. Когда их владельцы выходили из магазина или из кафэ, Видаль открывал дверцу и снимал шапку. Автомобиль с поршнем и шатуном уносился прочь. Иногда Видалю давали несколько су. Тогда он мокал хлеб в красное вино и блаженно подсапывал. Осенью он простудился и умер в госпитале Отель-Дье. Его похоронили на городской счет. Пять лет он будет спокойно лежать на кладбище Иври. На шестой год его кости, еще не совсем опрятные, выроют и на его место положат другого: литейщика или штамповщика.

Теперь весна, и даже на кладбище нищих нежен, дивен зеленый покров земли. Теперь весна — свежий воздух подымается в цене, как акции. Покупатели останавливаются возле витрины. Они смотрят на автомобили. Ситроен вывесил заветную дощечку. Возле ворот — толпа: это люди мечтают о царстве вечной молодости. Место Видаля возле ленты освободилось. Через пять лет освободится и его место на кладбище Иври.

7

Вот уже налажен кузов. Вот уже разостлан коврик и повешена пепельница. Лента все движется. Человек подымает насос с бензином. В ответ раздается громкое дыхание. Автомобиль родился. За сегодняшний день это 317-й. Открываются ворота; он выбегает в просторный гараж. Там уже ждет его заказчик. Через 6 минут выбежит новый автомобиль. Это точно и непреложно.

Имена заказчиков проставлены на огромной доске рядом с пятизначными числами: г. Ситроен хорошо понимает пафос арифметики. Вы 68 917? Это — ваша машина.

Встреча человека со своим новым повелителем до-нельзя суха и лаконична. Это — проверка номеров. Вот агент бюро похоронных процессий. Он забьет всех конкурентов и тогда-то он женится. Раньше всех при-

мчится он в дом покойника. Он женится и он будет счастлив. Вот молодожены. Они устраивают свою жизнь: она забеременела, он заказал автомобиль. Вот ловелас, мечтающий о пригородных приключениях: беседка, модистка и бесплатная любовь среди пропыленной сирени. Вот солидный владелец аптекарского магазина. Вот начинающий адвокат. Все они почтительно смотрят на автомобили, сверкающие, как хирургическая палата. Перед ними километры, доходы, похождения, перед ними новая жизнь.

Каждые шесть минут раскрываются ворота, и очередной номер с черной доски мечтательно вздрагивает. Там, откуда выбегают эти блестящие автомобили,— грохот прессов и лента. Покупатели расписываются. На вид они вполне спокойны, как будто покупают они открытки или апельсины. Только росчерк порой выдает волнение. Вот все о чем они так долго мечтали: десятисильное счастье в рассрочку! В их прищуренных глазах томление. Сейчас они дотронутся до руля. Они потеряются среди десятков тысяч других машин, уже запыленных и обветренных.

Они никогда не поймут, что именно они получили. Спесиво будут они показывать своим друзьям замечательную обновку. Они забудут об этих минутах, а случайно вспомнив, усмехнутся: дрожь новичка!.. Завтра они перестанут вовсе думать. Но сейчас, в этом огромном сарае, заполненном железным рокотом, они уныло оглядываются по сторонам. Они как бы ищут защиты у живого человека. Но людей здесь нет. На доске — номера. За воротами — лента. Они должны покориться. Дрожат моторы, и нет здесь места простой человеческой дрожи.

8

Приходят из деревни рабочие и умирают, льется умиротворяющее масло на замечательные прессы, по дорогам Европы, по этим древним тропам крестоносцев и шарлатанов, несутся машины. Г. Андре Ситроен — только маленький шатун или поршень. Его имя горит на Эйфелевой башне и оно в миллионах голов. Но он не богат, как Форд, не славен, как Линдберг, он и не всесилен, как директора банка «Братья Лазар и К°». Свою жизнь он положит за высокую идею: он даст Европе скорость, как Будда дал Азии покой. Но на площадях Парижа никогда не поставят памятника г. Ситроену. Никто о нем не напишет прочувствованных стихов. Он должен довольствоваться статистикой заказов.

Г. Ситроен — живой человек. У него усы и страсти. Американские прессы кромсают рабочих. Автомобили — 10 сил давят бессильных пешеходов. Машина не мирится ни с усами, ни с чувствами.

В жаркий августовский день, когда зной плавил тела литейщиков, когда автомобили туристов, сбившись в кучу, как овцы, мяли друг друга, отчаянно блеяли и сходили с ума, в этот томительнейший день капитал «анонимного общества Андре Ситроен» сразу возрос со 100 000 000 до 300 000 000. Акции Ситроена начали котироваться на бирже. Они стали бредом, пляской цифр на черных досках, молитвой игроков, полдневным воем маклерской своры, который выливается на улицы Парижа, сливаясь с сиренами ситроеновских

автомобилей. В этот день г. Андре Ситроен, самодержец Клиши, Сан-Уэна, Жавель, Гуттенберга, Сюрени, Гренель и Левалуа, исчез. Это не было ни оплошностью пресса типа «Толедо», ни автомобильной катастрофой. Это было сложной финансовой операцией. Г. Андре Ситроена разобрали и собрали заново. Он стал «председателем административного совета».Биржевые газеты соблазняли клиентов «расширением финансовой базы» и «благодетельным контролем одного из самых могущественных банков».

Товарищем председателя административного совета выбран был г. Филипп, представитель банка «Братья Лазар и К°». Конечно, г. Филипп только товарищ председателя. Но за спиной этого Филиппа крохотная дощечка «Братья Лазар и К°». Велик и всемогущ банк «братьев Лазар»! Кто в Сити не знает «Лазар Братерс»? «Банк Лазар» связан с «Индо-Китайским Банком», во главе которого стоит г. Октав Гомберг, король каучука. Он связан и с «Рояль-Детчем» — ему хорошо известны различные запахи: запах нефти и запах канастера от трубки сэра Генри Детердинга. Для банка «Братья Лазар и К°», г. Андре Ситроен только управляющий одним из многочисленных предприятий.

***

Автомобиль 10 сил выдерживает 100 000 километров. Рабочий хорош до 40 лет. Г. Андре Ситроен неутомим. Французский рынок почти насыщен. Что же, г. Ситроен отодвигает карту Франции, милой Франции, где 500 агентов и 150 000 указательных столбов. Он берет карту Европы. Он весь обвит таможенными тарифами и дипломатической паутиной. Разумеется, он сторонник пан-Европы. Ах, как он ненавидит эти пошлые границы! Пестрота карты оскорбляет его глаз. Он восклицает:

— У американцев рынок в 100 000 000 душ. Здесь, в Европе, через каждые двести или триста километров — китайская стена. Национальной индустрии грозит опасность. Она может задохнуться...

Национальная индустрия это, прежде всего, он сам. И г. Ситроен тяжело дышит. Он любит свежий воздух и крупные рынки. Но покорить Европу не в его власти. Он должен прибегать к военным уловкам, к разведке, к камуфляжу, к сапе. Он строит сборочные мастерские в Лондоне и в Кельне, в Милане и в Брюсселе. Осторожно пробирается он в Голландию и в Португалию, в Испанию и в Данию. Он укрепляется во французских колониях. Он ведет переговоры с польским правительством о постройке большого завода. Он устраивает новую экспедицию своих «гусениц». На этот раз он мечтает о Средней Азии. Он читает лекции. Он выступает на конгрессах. Повсюду он говорит об одном: «нам необходимы новые рынки!...» Он мечется среди департаментов дорогого отечества, где, что ни шаг, то столб и агент, как мечутся хищники в зоологических садах Лейпцига или Рима, без клеток, с иллюзией свободы: прыгай, если хочешь, но между тобой и миром ров, достаточно широкий и достаточно глубокий, между тобой и миром — смерть.

***

Министры всех европейских государств, будь то фашисты или социалисты, говорят с американскими банкирами так, как говорили с Золотой Ордой суздальские князья. При этих беседах они отнюдь не вспоминают о тысячелетней культуре: о Рафаэле, о дворцах Версаля или о «Фаусте». Они ведь хорошо знают, что «Фауст» приносит куда меньше, нежели фильмы Гарольд-Ллойда, что версальские дворцы лишены современного комфорта, и что мистеру Моргану ничего не стоит закупить всех Рафаэлей.

Г. Андре Ситроен умеет чтить святыни. Наверное в особо торжественные минуты он смотрит на запад, хоть там и нет никаких рынков, хоть там только вода, а за водою Форд. Он смотрит на запад, как смотрят на восток набожные евреи, совершая молитву. Сион г. Ситроена это Детройт, где один автомобиль на два с третью человека.

В Детройте сидит старик Форд. Его не могут пронять богомольные взоры г. Ситроена. Перед Фордом карта. Эта карта куда больше той, что волнует г. Ситроена. На карте Форда два полушария. Форд ведь тоже ищет новых рынков, и Европа для него то, что для г. Ситроена Португалия. Он должен ее завовать. Он измеряет емкость новых колоний: в Англию 200 000 автомобилей, в Германию 100 000, в Советский Союз 100 000.

Г. Андре Ситроен понижает расценки. Лента движется все быстрее. Жан Лебак, тот, что изготовляет шарниры, скоро или умрет, или сойдет с ума. Г Ситроен еще пробует отшучиваться: он, видите ли, рационализирует, следовательно, он ситроенизирует. Сложный глагол! Действие еще сложнее. Он делает все, что может. Но Форд все-таки впереди, его машины стоят вдвое дешевле. Во Франции г. Ситроена защищает та самая китайская стена, которую он ежечасно проклинает. Но как ему тягаться с Фордом в Голландии или в Швейцарии?

На каравеллы Колумба Амер а теперь отвечает тысячетонными пароходами. В их трюмах автомобили. Форд тщится проникнуть даже в заветные департаменты г. Ситроена, где 5 000 агентов и 150 000 столбов. Он уже спустил во Франции цену до 25 700. Это в точности цена Ситроена. Но Форд не успокаивается. Он хочет пробить китайскую стену. Он строит во Франции завод. Он выпустил новые акции. Эти акции распространяет банк «Устрик», тот самый, что поддерживает заводы Пежо так же, как банк «Лазар» поддерживает заводы Ситроена.

Г Андре Ситроен окружен врагами. Пежо наверное сговорился с Фордом! Пежо изготовляет либо маленькие машины в 5 сил, либо дорогие многосильные лимузины. Средних автомобилей он вовсе не изготовляет. Поход Форда ему не страшен. Форд не на него идет. Форд идет на Ситроена.

Но Форд не вся Америка. У всемогущего Форда тоже враги. Они тут, под боком, в Детройте. Это автомобильный трест «Дженераль Моторс». Как и Форд, трест хочет перейти океан. Только «Дженераль Моторс» выбрал другую дорогу. Он не собирается строить в Европе свои заводы. Он шлет в Старый Свет ни инженеров, но дипломатов и дельцов. Он расчищает путь долларами: во главе «Дженераль Моторс» стоит мистер Пьерпонт Морган. Трест уже наладил соглашение с немецкими заводами Оппеля. Трест хочет

сразить Форда. Франция — превосходный рынок, и «Дженераль Моторс» понижает во Франции цены на «Шевроле».

Г. Ситроен наблюдает. Г. Ситроен взвешивает. Он уж узнал однажды, что такое банк «Братья Лазар и К°». Ему предстоят новые испытания. Он может себя утешать одним: он не одинок. Мистер Морган знает цену всему: конституциям, независимости, гордости, химии, «Лиге Наций» и тысячелетней культуре. Мистер Морган может не только сменить министров, он может перечертить карту Европы. Соглашение «Дженераль Моторс» с «Анонимным обществом Андре Ситроен» для него деталь рабочего дня, одна строчка настольного блок-нота. Для г. Андре Ситроена это жестокий искус. Оказывается, что американские прессы умеют кромсать не только пальцы рабочих: они хорошо штампуют железо, они хорошо штампуют и человеческую жизнь. Из Нью-Иорка не видно огненных букв на Эйфелевой башне: там много своих башен и своих огней.

Когда Жану Лебаку из литейной сбавили 1 франк 20 сантимов на 100 шарниров, он вздохнул, выругался, но он продолжал работать. Он знал, что лента не останавливается. Г. Ситроен продолжает изготовлять автомобили. Он уже не в силах ни передумать, ни передохнуть. Он отдал все, чтобы дать людям дешевое счастье. У него не осталось даже собственного имени. Его имя превратилось в ходкую марку. Оно принадлежит теперь не только ему, но и всем акционерам «анонимного общества». Он сам пустил эту ленту. Теперь он к ней прикован. Завтра будет отстроен завод Форда. Завтра придется снова понижать тарифы. Еще скорее закрутится лента. Это значит, столько-то смертей. Это значит — увечья, отчаянье, безумие тридцати тысяч. Ситроен больше не игрок. Он только карта. А у зеленого сукна — заатлантические понтеры: Мистер Морган и мистер Форд.

Г. Андре Ситроен работает. В Персию! В Болгарию! В Сахару! На полюс! Новых агентов! Новые столбы! Это уж не азарт. Это рок. Скорее!.. Ведь автомобили должны стоить дешево.

III. Шины

1

В лесах Бразилии много деревьев. Их имена известны только ботаникам. Одно дерево называется, например, «гевея». Это рослое ветвистое дерево с корой светлосерой и пятнистой, обыкновенное дерево. Оно могло бы остаться в лесах Бразилии среди других деревьев. Ведь в Бразилии люди живут как лес — медленно, мудро и тупо. Но на севере, в Нью-Иорке, люди торопятся жить. Они наверное боятся умереть слишком поздно. В Париже, Лондоне, в Берлине, повсюду люди спешат. Там нет ветвистых деревьев. Зато там много автомобилей. С каждым днем их все больше и больше.

Скромное дерево с пятнистой корой оставило дикие леса. В него сразу влюбились англичане, голландцы, французы. О нем теперь мечтает каждый

толковый янки. Оно стало огромными плантациями. За его судьбу тревожатся все банки мира. О нем говорят в дипломатических нотах. Подсчитывая аэропланы или оценивая боеспособность нового дредноута, министры думают все о том же пятнистом дереве. Впрочем они не знают, что это дерево пятнистое. Они никогда его не видали. Они спешат жить и им нужны автомобили.

На Яве и на Цейлоне, в Малайке и в Индокитае в тихие вечера, среди лихорадки и горя, среди центов и пиастров, среди желтых слез и желтых долларов, тихо шумят стройные рощи. Они шумят нежно и многозначительно, как акции «Ребер Ассосиешен». Белым людям они приносят дивиденды, желтым людям — смерть. Они шумят потому, что под ними жадность и нищета; они шумят вечером потому, что каждое утро голые кули кривыми ножами надрезают нежносерую кору и бередят старые раны. Кули и деревья понимают друг друга: они равно истекают кровью. Но кровь кули ничего не стоит, и о ней никто не говорит, а белая, как молоко, кровь ветвистого дерева воистину драгоценна. Она котируется на всех биржах. Она сводит людей с ума. Ради нее они готовы тотчас же пролить тонны человеческой крови. Деревья знают это и они сострадательно шумят. Раны на их коре никогда не заживают.

***

У мистера Девиса 1 000 гектаров плантаций. У мистера Девиса 350 000 деревьев. У мистера Девиса 1 000 кули. Один кули на 350 деревьев. Молочная кровь течет в чашки. Каждое дерево дает в год два кило. Мистер Девис собирает в год 700 000 кило каучука. У него прелестный коттедж. У него три лимузина. У него площадка для тенниса. У него ручной питон и пухлое руководство для приготовления коктайлей. Питон ловит крыс, как самая обыкновенная кошка, а мистер Девис в свободные часы изготовляет новые, таинственные коктайли: «Южный полюс» или «королева Александра». Мистеру Девису скучно. У него тропическая лихорадка. Ему не с кем играть в тенисс.

Вот уж четырнадцать лет, как он в Пенгаме. Когда он уехал из Лондона, там еще никто не пил коктайлей. Он был тогда молод и мечтателен. Он глядел на море, и ему казалось, что глаза Анни удивительно похожи на воду Индийского океана. Анни тогда была тоже молода. Однажды он поцеловал ее русый локон. Теперь Анни срезала волосы, седые волосы. Впрочем он забыл, как выглядит Анни. Два раза в год она пишет ему длинные письма. Она пишет о пьесах Бернарда Шоу и о концертах Стравинского. Она пишет о бурном Лондоне и о своей неудачливой жизни. Она спрашивает мистера Девиса, не собирается ли он вернуться в Англию. Получив письмо, мистер Девис долго шагает длинными шагами по длинным коридорам пустого дома. Он отвечает: «Мой добрый друг! Вы меня бы не узнали. Я опустился и огрубел. Здесь нет порядочного общества. Я даже перестал читать газеты. Возьму «Таймс», чтобы справиться о движении цен на каучук и брошу. Что мне теперь театры или концерты?.. Я — животное вроде моих кули. Иногда мы собираемся, несколько плантаторов, но даже покер не выходит: слишком

сложно. Джемсон снова показывает фокусы, Ричард повторяет старые, надоевшие анекдоты, а я, чтобы хоть немного развлечься, приготовляю коктайли. Потом разговор переходит обязательно на одну и ту же тему:

— Вы как надрезаете? Я спиралью и через день.

— Ну и неправильно! Я углом вниз и ежедневно.

— Посмотрим, сколько они выдержат ваши деревья!..

— Это вы начали на шестой год, как туземец!..

И так далее. Следовательно — ссора. Потом примирение. Милая добрая Анни, узнали бы вы в косолапом плантаторе вашего Петера? Нет, слово даю, что нет! А годы идут... Четырнадцать лет — страшно подумать. Я должен был бы с'ездить хоть на один год в Англию. Но что же станет с плантациями? Все мои помошники ротозеи и невежды. Деревья — вещь деликатная. Их надо беречь. Я вот как-то пролежал в жару две недели — загубили целый гектар. А о том, чтобы надолго отлучиться, и мечтать не смею. Недавно только насадил 300 новых гектаров. Корчевать и распахивать было, ох, как трудно! Человек пятьдесят погибло на этом. Теперь надо следить в оба. Через семь — восемь лет мои детки вырастут. Значит в 1933 году я совсем поглупею: 10 000 новых деревьев! Нет, Анни, видно меня здесь похоронят! Друзья выпьют и начнут спорить, хорошо ли я надрезал.

Закончив письмо, мистер Девис не изготовляет новых коктайлей. Залпом выпивает он большой стакан виски и хриплый от уныния кричит смуглой, пугливой, как листья гевеи, двенадцатилетней малайке: «сюда»! Он зовет ее «Анни» и он бьет ее, нежно бьет и злобно. Потом он ложится с ней. Потом засыпает. Во сне он видит деревья, которые истекают белой кровью.

Мистер Девис отнюдь не алчен. Он купил рояль; на нем никто не играет. Он купил жемчуг и он послал его Анни. Анни спрятала жемчуг в комод, под белье, рядом со срезанными косами: у Анни теперь муж. Мистеру Девису не нужны деньги. Но ревниво следит он за ценами на каучук. Он кричит:

— Ни цента меньше!

Он платит кули 40 центов в день. Один коктайль обходится ему куда дороже. Он кричит:

— Ни цента больше!

Он ест без аппетита — жарко, ох, жарко! И все малайки, все индуски, все китаянки ему не по вкусу. Они пахнут гнилыми бананами, сыростью, папоротником. А порядочная женщина должна пахнуть бельем и глицериновым мылом: так пахла Анни. Он глотает горький хинин. Он умрет в Пенгаме. Его держат ветвистые деревья, из которых струятся доллары. Он бьет хлыстом боя и нежно гладит он светлосерую кору. Он покупает все новые и новые участки. Он нанимает новых кули. Он боится поглядеть в зеркало: владелец тысячи гектаров заведомо мертв. Он мертв, как мертвы его кули. Он мертв, как мертвы изрезанные вдоль и поперек деревья. Но каучук стоит в Ливерпуле 4 шиллинга 5 пенсов, и люди на свете торопятся жить. Мертвый мистер Девис приготовляет коктайли. Питон, об'евшись крысами, уснул, уснул на много дней, уснул навсегда.

***

Кули приходят из Индии и из Китая. Их привозят также с Зондских островов. Сотни тысяч кули сгибаются под ветвистыми деревьями. В Малайке их бьет мистер Девис, на Яве — голландец Ван Кроог, в Индо-Китае — уроженец Каркассоны, сын парфюмера и поклонник Ростана, г. Гастон Вальтасар.

Белые ругаются на разных языках, но у всех в руке палка. Что делать— кули ленивы и непонятны, сильнее долларов любят они опиум и сон. Белые защищают культуру, ту, что Эллада и Рим. Они защищают также каучук. Спины кули изрубцованы, как кора гевеи. Если они умирают, на их место привозят новых. Вербуют служащие, вербуют и полицейские, вербует голод.

Когда ветвистому дереву исполняется семь лет, его начинают надрезать. Когда маленькому индусу исполняется семь лет, его берут на плантации. Он вырабатывает в день 10 центов. На это можно купить несколько горсточек риса — сколько же нужно крохотному индусу?.. У него еще слабые ноги и он не поспевает за другими. Ему хочется поймать ящерицу или перевернуть жука. Тогда надсмотрщик, грозный «кангани» проводит по смуглой спине красную черточку.

Мистеру Девису докладывают:

— Человек убежал. Человека поймали.

Кули не смеет бросить работу. В конторе мистера Девиса листы и печати: это контракты. Он заплатил за проезд кули. Он стал их господином на пять лет. Перед ним дезертир. Он говорит надсмотрщику:

— Спроси его, что он хочет: тюрьму или урок?

Мистер Девис не знает тамильского языка. Переводит кангани.

— Он умоляет мистера не отдавать его полиции.

Дезертир лежит на земле. Он прилип к земле, только его глаза, огромные и влажные, как вся ночь Индии, жадно следят за крючковатыми пальцами мистера Девиса.

Он умоляет мистера, чтобы мистер поучил его сам.

Гевею следует надрезать осторожно, дабы не повредить ствола. Одни надрезают спиралью, другие зигзагом. Со спиной кули куда меньше хлопот. Мистер Девис считает:

— Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать...

Кули тих, как земля. Куда хотел он уйти? На родину, к голодной семье? Или просто в лес, навстречу смерти? Он хотел уйти от ветвистых деревьев. Безумец! От них не может уйти даже всесильный мистер Девис.

— Двадцать четыре, двадцать пять...

Кули больше никуда не уйдет.

***

В Сингапуре помещаются правления каучуковых компаний. Специалисты составляют таблицу: минимальный оклад служащего на плантациях 200 сингапурских долларов — это должно хватить одинокому человеку на скромную жизнь. Служащие компании, подписывая договор, обязуются столько-то лет не жениться. Малайки или китаянки стоят дешево.

Новичок проклинает небо Азии и скупость дирекции. Это белобрысый долговязый юноша. У него нет ни денег, ни удачи. Но у него все же белая

кожа. Он получает 200 долларов в месяц. Кули работает с пяти утра. Сначала он надрезает деревья, потом собирает сок. Кули вырабатывает в месяц 10 долларов. Он может при этом жениться. У него может быть хоть дюжина детей. Это его, туземное, дело. Европейцы принесли ему счастье: контракт с крестиком вместо подписи, 10 долларов в месяц и добродошную проповедь обыкновенной палки.

Новичок проклинает каучук и дороговизну: извольте прожить здесь на 200 долларов! Он сегодня в дурном настроении.

— Кто это так надрезал?.. Кангани, кто здесь работает? Вычесть 10 центов. Проклятая страна!..

Новичок вспоминает огни Пикадилли. Зачем он сюда приехал? Он, кажется, попался. Клейкие листья. Клейкий сок. Клейкое золото. Он не выберется отсюда, вот как этот кули. Он только сменит мастера Девиса, когда тот взаправду умрет.

***

Во французском Индо-Китае тоже сочатся ветвистые деревья и спины кули.

А во Франции, в городе Клермон-Феран, у г. Мишлена превосходный завод. Там из молочной крови изготовляют прочные шины. Г. Мишлен любит Тайлора и рационализацию. Он любит Америку. Еще сильнее он любит Индо-Китай.

Г. Мишлен не одинок. Г. Октав Гомбер тоже любит Индо-Китай. Г. Гомбер — писатель. Он написал несколько книг о колониальном величии Франции. Кроме того он глава «Каучуковой Компании Индо-Китая». Он зарабатывает деньги в колониях. Проживать их он хочет во Франции. Это не мистер Девис с его питоном. Это француз и отменный патриот. Он оплют 18 акционерных обществ Сайгона: каучук, сахар, хлопок, фосфат. Но он мечтает стать депутатом Ривьеры, где главная промышленность — зеленое сукно рулетки. Пусть кули собирают драгоценный сок! Что может сравниться с небом Франции? Так думает г. Гомбер. Так думают и держатели акций «Каучуковой Компании Индо-Китая».

А кули? Кули не думают. Кули умирают, как святые — без обременительных мыслей. Они умирают молча и дружно. На плантациях Фу-Риег, принадлежащих г. Мишлену и К°, за один год вымерла треть рабочих. На плантациях Бодой из тысячи кули к концу года осталось 536 душ — остальные умерли.

Если же кули не умеет просто умереть, великодушные колонизаторы приходят к нему на помощь. Для утешения туземцев существует: «Р. О.» и «Р. А.» — винная монополия и монополия опиума. Генерал-губернатор Индо-Китая разослал недавно своим подчиненным циркуляр: «Я позволяю себе препроводить вам список казенных лавок, которые надлежит открыть в поселках, еще вовсе лишенных и алкоголя, и опиума...»

Этот губернатор известен во Франции как тонкий ценитель искусств. У него превосходная коллекция современной живописи. Может быть в его

библиотеке хранится первое издание «Искусственного Рая». Но губернатор не только эстет, он также государственный деятель. Он знает, например, что такое бюджет. За опиум кули отдаст последний пиастр. Во Францию на радость г. Мишлену и г. Гомберу спешат пароходы, груженные белыми пластами каучука. Кули потрудились. Они потрудились притом бескорыстно: ведь полученные ими деньги давно у сидельцев «Р. О.» или «Р. А.».

Зато кули умирают с улыбкой. Умирая они видят сны трогательные, как ландшафты Анри Руссо, сны способные умилить до слез господина генерал-губернатора.

2

В Сингапуре волнение. В Ливерпуле волнение. Мистер Девис забыл о своих коктайлях. Кули теперь не убегают — кангани сами гонят их прочь. Они ненужны. Они могут умирать, где им вздумается. Раны на гивеях рубцуются, заживают. Еще месяц, другой,— и гевеи станут самыми обыкновенными деревьями. Но что же будет делать мистер Девис? Не ехать же к этой сантиментальной Анни! Притом у нее ревнивый муж...

Держатели каучуковых акций осаждают банки. В Лондоне, на узкой улице Минчинг-Лайн, каучуковые маклера стоят и вздыхают, точь в точь как евреи возле иерусалимской «стены плача». Кабинет министров устраивает секретные заседания. Кули умирают. Плантаторы бросают все и бегут в Европу. Это катастрофа!

Что же приключилось? Может быть взбунтовались индусы или малайцы? Может быть это интриги мистера Красина? Нет, кули послушливо умирают под ветвистыми деревьями. Те, что еще не умерли, носят ведра молочного сока. Но каучук в Ливерпуле стоит всего навсего 9 пенсов. Это разорение! Это конец каучука! Мистер Девис прогадал: он насадил чересчур много деревьев. Каучук летит вниз. Каучук никому не нужен, хоть Генри Форд и трудится, не покладая рук, хоть пыхтят, хоть хрипят, мчатся, агонизируют миллионы автомобилей.

Мистер Черчилль говорит сэру Джону Стевенсону:

— Вы должны спасти каучук... От этого теперь зависит мощь империи...

Сэр Джон Стевенсон садится за работу. Вскоре план его готов:

— Чтобы спасти плантации, необходимо искусственно сократить добычу. Чем ниже падают цены, тем меньше мы выпускаем каучука. Тогда цены неминуемо подымаются, и ограничение соответственно ослабевает.

Один из депутатов сокрушенно вздыхает:

— Но ведь это большевизм! Это вмешательство государства в частную торговлю. Это противоречит всем нашим принципам...

— Уважаемому депутату придется выбрать между чистотой принципов и спасением плантаций. От этого теперь зависит мощь империи...

Уважаемый депутат, вздохнув для приличия, выбирает не принципы. «План Стевенсона» одобрен. Производство каучука теперь будет эластичным, как каучук: оно сможет и стягиваться и расширяться. В зависимости от этого кули будут умирать на плантациях или же вне плантаций.

Мистер Черчиль поздравляет сэра Джона Стевенсона:

— Ваше имя войдет в историю...

И после легкой запинки:

—... каучука.

Мистер Черчиль большой шутник.

***

Каучуковые плантации принадлежат англичанам. Но автомобили делают в Америке, и каучук у англичан покупают американцы. Для Сингапура новый закон — божественная мудрость. Для Детройта он бессмыслица и покушение на мораль. Его необходимо уничтожить заодно с теориями Дарвина и с советскими листовками. Сэр Джон Стевенсон лицемер и преступник. Он вполне достоен сэра Генри Детердинга.

Мистер Хувер раздраженно жует сигару. Сигара давно погасла, и мистер Хувер жует мокрый горький табак.

— Вмешательство государства прежде всего безнравственно. Мы недаром враги монополий. Они хотят парализовать нашу промышленность, но это им не удастся!..

Мистер Хувер не болтун. Он знает, что такое каучук. Вместе с окурком выплевывает он сонм имен и цифр. Он советуется с дипломатами и ботаниками. Он готовится к длительной войне.

А каучук?.. Каучук подымается. Мистер Девис снова изготовляет коктайли. Маклера на Минчинг-Лайн оживились; они уже не стонут, они бодро верещат:

— Один шиллинг 4 пенса!

— Один шиллинг 6!

Велики и многолики Соединенные Штаты! В них водятся кедры и бананы, негры и Ку-Клукс-Клан, нефть и бизоны, мистер Хувер и Чарли Чаплин. Но ветвистое дерево никак не может расти в Соединенных Штатах. Ботаники докладывают:

— Ни одно из деревьев этой породы не способно произрастать вне экваториальной зоны, то есть вне зоны, расположенной в десяти градусах на север или на юг от экватора...

Тогда мистер Хувер отсылает ботаников. Он зовет к себе адмиралов:

— Нам надо потолковать о Никарагуа. Также о Филлипинских островах...

Они говорят. Но каучук пока что растет. Сперва покупатели храбрятся: они, видите ли, не хотят переплачивать. Они могут подождать. Не сегодня-завтра англичане опомнятся. В Соединенных Штатах об'явлен сбор старого каучука. К заводам тянутся грузовики с дырявыми шинами. Но омоложенный каучук дрябл и непрочен. Прожорливые автомобили требуют все новых и новых шин. Тогда в Лондон отбывают влиятельные ходатаи.

Мистер Стюарт Готшкис — вицепредседатель «Американской Каучуковой Компании» предлагает мистеру Черчилю отемнить все ограничения:

— В наших обоюдных интересах — свобода торговли...

Мистер Черчиль вежливо улыбается.

— Не следует поддаваться власти слов... Я не совсем понимаю почему английские плантаторы обязаны продавать вам каучук в убыток?

Американцы любуются галстухом мистера Черчиля — всем известно, что мистер Черчиль денди. Они выслушивают также несколько очаровательных каламбуров. Уходят они с пустыми руками.

Мистер Черчиль азартный человек. Он любит войну и покер. Он был в жизни либералом и консерватором, писателем и живописцем, морским министром и канцлером казначейства. Занимала его только игра. Ему не удалось потопить германский флот: это было зевком. Ему не удалось уничтожить и русскую революцию: у противника оказались про запас козыри. Зато, может быть, теперь он обыграет американцев. Игра идет крупная, и мистер Черчиль увлечен игрой. Вместо уступок он отвечает на домогательства американцев новой атакой. Он отдает приказ о беспощадной борьбе с контрабандой. По Тихому Океану пробираются суда, груженные ромом и каучуком. Ром отбирают добродетельные янки. А каучук?.. Каучук, разумеется, — англичане.

Мистер Хувер хорошо знает, что ни старые шины, ни контрабанда не помогут делу. Он обращается ко всем гражданам всех штатов: «Нам необходимо обзавестись собственным каучуком».

Каучук же продолжает расти в цене. Американские заводчики теперь в панике. Они готовы повторить все трагические телодвижения маклеров с Минчинг-Лайн. Заводы в Акроне сокращают производство. Безработные кричат: «Хлеба»! Американские рабочие не умеют голодать мудро и тихо, как кули. Они ругаются и устраивают подозрительные сборища. Несколько акционерных обществ об'явили, что в этом году они не уплачивают дивидендов. Биржа мрачна.

Мрачен и мистер Хувер. Правительство Соединенных Штатов обращается к правительству Великобритании. Оно говорит дружески. Оно говорит чуть ли не задушевно. Оно просит отменить ограничения. Что делать — гевеи растут в Пенгаме, а американцам необходим каучук!

Но мистер Черчиль непреклонен. Даже неожиданная нежность мистера Хувера не способна растрогать этого взбалмошного поэта. Вы хотите покупать? Что же, мы согласны. Но цены назначаем мы.

Мистер Черчиль обещал сэру Джону Стевенсону, что его имя войдет в историю. Однако в Америке все говорят не о «плане Стевенсона», а о «плане Черчиля». Англия должна выплачивать Америке старые военные долги. Хитрый мистер Черчиль решил продавать каучук втридорога, чтобы платить американцам американскими же долларами! Один журналист об'явил, что Черчиль хочет стереть резинкой карточные долги. Это понравилось. Ну да, как советы!.. Мистера Черчиля, основателя «Клуба пятидесяти» и вдохновителя интервенции, сноба и посредственного приемника Питта, рассерженные американцы зовут «безнравственным большевиком». Помилуйте, им нужен каучук, а здесь в дело вмешивается глупейшая ботаника! Экваториальная зона!.. Конечно можно завладеть мелкими республиками Центральной Аме-

рики и развести там плантации. Но извольте ждать восемь лет!.. Как-будто кто-нибудь в Америке согласится обождать хоть одну минуту! Акционеры торопятся получить дивиденды. Автомобилисты торопятся извести шины. А безработные торопятся есть. Все торопятся. И всем необходим каучук.

Далеко от Акрона, в Пенгаме, сидит мистер Девис. Он недавно засеял 200 новых гектаров. Он получает теперь три шиллинга за фунт. Впрочем он очень несчастен. Питон его сдох. Коктайли окончательно надоели. Теперь уж ясно, что он никогда не увидит Лондона — ведь каучук подымается в цене.

3

Нью-Иорк. Биржа каучука. Экран, на котором то и дело появляются последние курсы Лондона. Шиллинг 9 пенсов.

Один из клиентов шепчет:

— Не дай бог, если он сдаст хоть полпенса!..

Это покупатель. Конечно он хочет платить дешевле. Но игра мистера Черчиля — хитрая игра. Если каучук будет стоить шиллинг 8, войдет в силу новое ограничение. Американцам необходим каучук. Они проклинают Черчиля, но они стараются поднять цены. Шиллинг 9 пенсов...

— Слава богу!..

Лондону даже незачем стараться: Нью-Иорк сам работает на него. Мистер Черчиль выиграл партию.

Он рад бы закончить на этом игру. Но игра только наичнается. У мистера Черчиля ум и к тому же Малайский полуостров. Но кто знает, что придумает завтра упрямый мистер Хувер?... Недаром он советуется с дипломатами и ботаниками. Он наверное что-нибудь да придумает! У этого человека железный лоб. Он сын фермера и заправский квакер. Он пьет только чистую воду. Он ненавидит фантазию. Мистер Черчиль рядом с ним легкомысленнейшее дитя. Ведь мистер Черчиль пьет портвейн и пишет романы. А мистер Хувер тупо, нудно думает о своем каучуке.

Фараону когда-то снились ужасные сны: семь тощих коров пожрали семь толстых. Мистер Хувер пьет только чистую воду и он не фараон, он инженер, он квакер, он американец. Однако, его преследуют сны фараона. Ветвистое дерево должно расти семь лет. Только тогда его можно надрезать. Когда цены на каучук падали, мистер Девис вовсе не засаживал новых участков. Правда теперь он трудится во-всю. Через семь-восемь лет добыча удвоится. Через семь... Но что будет через четыре года? Люди торопятся жить. Каждую минуту рождается новый автомобиль. Через четыре года наступит каучуковый голод. Наука оказалась бездарной. Можно изобрести, мистеру Хуверу на зло, искусственный джин. Нельзя изобрести искусственного каучука. Соединенные Штаты должны зависеть от какого-то легкомысленного джентльмена. Нет, это не может продолжаться! Америке необходим каучук!

Перед мистером Хувером большая карта двух полушарий. Красными чернилами обведены некоторые страны, в которых способны произрастать

привередливые деревья. Красные чернила — не аллегория: это только для четкости. Но обитатели обведенных стран могут молиться всемогущему богу всех квакеров: перед смертью ведь принято молиться. Красные чернила делового американца означают многое. Они означают каучук, они означают и кровь.

Либерия? Дать заем, скупить землю, послать администраторов. С этими неграми нечего церемониться. Хватит с них и поэтической клички. Дальше! Филиппинские острова? Здесь предвидятся некоторые затруднения. Прежде всего закупить участки и привезти китайских кули. Местные законы препятствуют? Что же — приостановить действие законов. Соединенные Штаты обещали Филиппинам независимость? Конечно, обещали. Но ведь с тех пор многое переменилось. Нам необходим, например, каучук. Эти острова созданы самим богом для каучука: мистер Шонг говорит, что у него там превосходные плантации, а мистер Шонг председатель «Каучуковой Компании». Следовательно закупить и привезти. Дальше! Бразилия? Укрепить наши позиции. Купить прессу. Купить министров. Перед расходами не останавливаться. Заткнуть рот Аргентине. Здесь начинается самое любопытное... Гватемала? Сделано? Очень хорошо. Никарагуа?.. Что ж, это мы сделаем в два счета...

У мистера Хувера железный лоб. Он сидит и думает.

4

Ночь горячая и тягучая приторно пахнет бананами. На севере бананы лакомство, здесь это только хлеб, тот хлеб, что рифмуется с потом: так заверяют почтенные патеры всех пятисот семинарий. Ночью впрочем нет ни патеров, ни заученного на зубок проклятия, только темнота. Она состоит из тысячи мельчайших шумов, из шороха отяжелевшей ветки, из шелеста летучей мыши, из свиста боа.

— Кто там?..

Это спрашивает человек человека. Сначала по ошибке отвечает ночь, отвечает нервическим припадком листьев: ах! ах! Потом снова:

— Кто там?..

Молчание. Один человек не понимает другого. Даже ночь зовут они по-разному. Один светел и широк, как пшеничное поле. Другой, черный весь и горячий, едва может отделиться от ночи. На одном военная фуражка с бляхой, на другом широкополая войлочная шляпа. Как им сговориться друг с другом?.. Про что говорить? Про ночь? Про бананы? Про сиротство?

Нет, они не беседуют. Молча катаются они по траве и молча друг друга душат. Ночь, вся ночь, с ветками, с птицами, даже с боа, перепуганная шарахается прочь. В догонку несется обидный свет прожектора. Ночь изодрана, добита. Теперь верещат винтовки и как балды в цирке рукоплещут гранаты: бах!

Двух людей больше нет, они пропали вместе с ночью. Фуражка и шляпа на траве. Рядом также два грузных мешка, набитых тем, что еще недавно было жизнью: руками, кровью, письмами Дженни и Марии, папиросами. Все

это медленно остывает, как земля. На всем роса — наверное по доверенности Дженни и Марии.

Здесь нет кинооператора. Прогадали!.. Такая шляпа! Такая смерть! А треск все еще длится. Следовательно утро застанет двадцать или двести прежалко распластавшихся людей под бананами. Кстати их никто не соберет, а несобранные бананы — это докучливо и патетично, как несжатая полоса.

Что касается Дженни и Марии (двадцать? двести?), то без беленьких листочков со смешными завитушками нет человеческой жизни, как нет ночи без едкой внезапной росы.

Одни зовут «телеграммами». Они понесутся в огромные города, насвистывая по дороге: «служебный номер... шестнадцать слов... Джон... Ричард... Эдуард... в пять полуночи... на посту»... Быстро они превратятся в черные платья (их ведь шьют срочно на каждой улице) и в кропотливо высчитанные пенсии.

Другие же мулами поползут по горам, крича от стыда и от усталости, чтобы упасть на белый поселок, как граната: бах! «Пабло... Диего... возле деревни Моробина...» Вместо подписи каракулями: «отечество и свобода». Все это без операторов, всерьез, с большим горем, и все это петит нью-иоркской газеты: «Наш экспедиционный корпус вчера окружил одну из шаек бандита Сандино. Преступники уничтожены. Наши потери невелики».

* * *

Генерал Сандино в белом поселке, среди гор, среди горя, среди крикливых мулов пишет воззвание: «Всем республикам латинской Америки. Янки хотят проглотить Никарагуа, как они проглотили Панаму, Кубу, Порто-Рико, Гаити, Сан-Доминико. Братья, вспомните о Боливаре и о Сан-Мартино! Вот уже восемь месяцев, как мы боремся. Наши силы иссякли».

Долго пишет он. Слова его торжественны и пышны. Но рука дрожит от волнения. На помощь! Скорее!.. Притаились за горами Гондурас и Сан-Сальвадор. Угрюмо молчит Мексика.Напрасно генерал Сандино рядом с печатью ставить «отечество и свобода». Еще два пышных слова... Не милее ли всех слов длинные зеленые бумажки, которые летят из Вашингтона на юг? Что значат патроны вокруг пояса! Вот они в портах, опрятные как лазарет, новенькие миноносцы... Соединенные Штаты тоже отечество. А свобода у них как дома, она даже стала статуей, преспапье, миллионом открыток.

Письмо из Неровы-Сеговии: «вчера воздушная флотилия снова обстреляла четыре деревни. Янки также скинули свыше 100 бомб. Убиты 72 человека, среди них 18 женщин».

Генерал Сандино сидит и пишет: «позор убийцам женщин! Нас мало, но мы не уступим»... На генерале Сандино широкополая шляпа и он верит в благородство. С ним три тысячи партизанов.

Мистер Хувер отнюдь не волнуется. Он знает: чтобы уничтожить три тысячи, нужно столько-то недель, столько-то долларов, столько-то человеческих жизней. Солдаты Соединенных Штатов любят свое отечество. Кроме

того они получают отменное содержание. Следовательно они могут при случае умереть. Жаль? Разумеется жаль. Мистер Хувер не злодей. Мистер Хувер гуманист. Разве не кормил он венских детей и даже людоедов с Волги? Он охотно пощадил бы этого Сандино. Он сказал бы ему: «в Холивуд! Там вы будете нормальным фигурантом». Никарагуа, как и все земли, мечтает только об одном: о благосостоянии. А этот вздорный Сандино вздумал говорить о своем отечестве, о своей свободе, не о статуе, нет, о глупейшей свободе, хотя бы о свободе жить в белых поселках и собирать или даже не собирать бананы. Что же, в таком случае этот Сандино должен быть уничтожен.

Перед мистером Хувером карта. Никарагуа давно обведена красными чернилами. Ему очень жаль не только Дженни, вдову честного американского солдата, ему жаль и Марию, вдову какого-то никарагуаского разбойника. Ведь в настольной книге мистера Хувера сказано: «не убий». Но там же сказано и про обетованную землю. Без крови она не далась. Праведные израильтяне истребляли язычников. Даже господь-бог допускает исключения. Убиты 18 женщин? Это печально. Однако бывают и железнодорожные катастрофы. Автомобили что ни день давят женщин. Мы несем Никарагуа подлинное благосостояние и потом — мы не раз это повторяли: нам необходим собственный каучук!

5

Они резвятся на всех стенах во всех городах и селах Франции, эти три любимца республики. Нежный, наивный младенец, еще не способный лгать, расхваливает замечательное мыло «Кадум». Задумчивая корова день и ночь мычит о молочном шоколаде. Что касается третьего гражданина, в больших автомобильных очках, то он сделан не из мяса, как все прочие люди или даже коровы республики, нет, он сделан из резиновых шин. Зовут его «Шины Мишлен». Он упруг и легок. Он неизменно весел. Он нужен всем: без шин нет автомобиля.

Г. Андре Мишлен никак не похож на своего популярного двойника. Нет у него ни кольцеобразного животика, ни баснословной улыбки. Он носит окладистую бороду и пенснэ. Внутри у него не воздух, но самые обыкновенные внутренности. Это даже не фокусник. Это превосходный фабрикант. Он привозит кохинхинский каучук. Он покупает каучук у англичан. Из каучука приготовляет он крепчайшие шины. В горячих и грозных мастерских, на неистовом огне каучук закаляют, как сталь. Кровь гевеи, дотоле мягкая и податливая, становится упругой. Шины не боятся ни камней Карпат, ни сибирских ухабов.

По заводу Мишлена ходят служащие с хронометрами: завод Мишлена устроен на американский лад. Правда, г. Мишлен не сбрил бороды. Но это не мешает ему уважать Америку. Он выпускает журнал под названием «Благосостояние». Мистер Хувер стал президентом Соединенных Штатов потому, что его лозунгом было именно это слово: «благосостояние». Г. Мишлен раздает свой журнал бесплатно всем желающим. Он раздает также множество книжек: трогательное жизнеописание Тайлора, рассказы о детских яслях при

его заводе, апологию мира между капиталистами и рабочими. Он не просто хороший фабрикант. Он и не игрок, как г. Ситроен. Он великомученик рационализации.

Из коробки скоростей выскочил смешной человечек с кольцами вместо живота. Он требует: скорее! Скорей готовьте шины! Скорей покупайте автомобили! Стоит ли медленно умирать, если можно умереть быстро, надорвавшись на работе среди хронометрщиков и образцовых яслей, если можно умереть на длинном шоссе, лопнуть, как лопается шина?..

Рабочие Мишлена — не кули. Это — скорее гевеи: их надо надрезать с толком. Г. Мишлен устраивает ясли для новой смены. Он выдает особо плодовитым семьям наградные. Чем больше у рабочего детей, тем скорее он должен работать. Хронометр отмечает новые рекорды. Благосостояние г. Мишлена растет.

Г. Андре Мишлен издает журнал; каждый день придумывает он новые усовершенствования: выиграть еще минуту, еще 40 секунд. Двойник его только улыбается. У двойника внутри не кровь, а воздух. Он катится по дорогам. Он смеется, и это чрезвычайно подозрительный смех. Пусть люди тоже катятся, как он. У них внутри кровь?.. Неважно! Пусть катятся!..

Здесь уже никто не может остановиться: ни автомобили, ни рабочие, ни каучуковый человечек.

Может быть г. Мишлена иногда одолевает усталость. Ведь у него внутри не воздух а вязкая кровь. И потом он не мистер Хувер: лоб у него обыкновенный. Но во Франции 1.000.000 автомобилей. Каждый автомобиль пожирает в год 20 кило каучука. Торопитесь, рабочие! Вы не кули. Вы не смеете останавливаться. Вы должны работать скорее. Голод, повсюду голод: в Индо-Китае и в Оверни. Смерть, повсюду смерть. Спешат рабочие. Вот еще одну минуту выиграл у жизни каучуковый человечек. Несутся автомобили, и он несется. У него большие очки. У него невыносимая улыбка. У него внутри пустота. Это новая смерть, без кустарной косы, без смешного старомодного савана, вся из колец, вся из шин, она мчится — 100, 200, 300 в час и она высматривает, кого бы взять, чей пришел час, она здесь, там, везде, на всех заборах беспечной Франции.

6

Мистер Хувер смотрит на карту. Давно высохли красные чернила. Высохла и кровь. Мистер Хувер должен быть счастлив: он теперь президент самой мощной республики мира. Все граждане мечтают пожать его широкую деловую руку. Немцы зовут его «гуманистом»: они помнят вонючее сало «Ара». Негры зовут его «Линкольном»: он победил демократа Смитса. Ку-Клукс-Клан зовет его «славным парнем»: он наследственный квакер. Мисс и миссис зовут его «добрым Гербертом»: он ведь за абсолютную трезвость. Контрабандисты зовут его «толковым малым»: виски при нем вздорожали на сто процентов. Все американцы уважают мистера Хувера. Против него только анархисты или неисправимые алкоголики. Мистер Хувер должен быть счастлив.

Но железный лоб ко многому обязывает. Мистер Хувер сидит и думает: укрощена Никарагуа. Бразилия приурочена. На Филиппинах дело подвигается. На Суматре американцы закупили огромные плантации. Теперь и ботаники идут на уступки: они расширили эту заклятую зону. Оказывается, Мексика не так уж плоха!.. Через десять лет у Америки будет вдоволь каучука. Но кто знает, не изобретут ли прежде искусственный каучук? Не придумают ли новых способов передвижения? Десять лет для Америки—это столетие. Десять лет для мистера Хувера—это старость и мемуары. Через три года начнется каучуковый голод. «План Стевенсона» уж отменен — он больше ненужен. Каучук теперь сам постоит за себя. Мистер Черчиль перехитрил мистера Хувера: он спас малайские плантации. И мистер Хувер злится. Его железный лоб покрывается рябью морщин. Он должен ждать, хоть ждать нельзя, хоть ждать для Америки это смерть. Он хочет забыть о каучуке, отдохнуть, выпить со вкусом стакан чистой воды, поглядеть на голубое небо, на это единственное увеселение всех квакеров, но каучуковые мысли тягучи, неотвязны. Он пьет воду — вода пахнет паленой резиной. Он глядит на небо — небо белеет, как молочный сок. Он засыпает — ему снова снятся фараоновы сны. Мистер Хувер что-то шепчет со сна, шопот этот горек и вечен, как шелест ветвистых деревьев.

У мистера Черчиля больше фантазии. Недаром он воевал с бурами и писал трагические пейзажи.

Но мистер Черчиль тоже невесел, хоть он выиграл партию, хоть мистер Девис зовет его «спасителем каучука». Янки взялись за дело: скоро у них будут свои плантации. Голландцы должны во всем подчиняться Великобритании. Иначе, зачем у этих флегматических пигмеев богатейшие колонии? Голландия — негласный «доминион». Поскольку дело касалось нефти, голландцы отстаивали интересы Великобритании. А вот с каучуком они подвели. Суматрские плантаторы не приняли «плана Стевенсона». Они воспользовались заминкой, чтобы выдвинуться на американском рынке. Хуже того — они продали американцам большие плантации. Мистер Черчиль не торговец. Ему наплевать на дивиденды. Но он у зеленого сукна. Здесь каждая карта—событие. Голландцы подпортили! Какой-нибудь Клайнс снова будет издеваться над экономическими познаниями мистера Черчиля. Битой картой воспользуются либералы. Он не может выносить насмешек, а люди только и делают, что насмехаются над ним, над его военными похождениями, над его романами, над его планом морских сражений, даже над его галстухами. Теперь они будут насмехаться над его каучуковой политикой. Он должен выиграть! Через три года цены удвоятся. Через три... А через семь? Ведь игра только началась, и нельзя бросить колоду, нельзя сказать что уж пора по домам, что скоро и утро. Надо играть, играть всю жизнь, играть, хоть впереди верный проигрыш. Проклятые карты! Лучше уж писать романы... Но нет, он обязан думать о каучуке Простите, что такое каучук? Резинка в руке художника Черчиля? Непромокаемое пальто на Черчиле-путешественнике? Клистирные груши, калоши, подметки?.. Вздор! Каучук — это автомобили, это грузовики, это траншеи, это победа. Каучук у нас!..

Но завтра. Но Суматра, Индо-Китай, Бразилия, Филиппины? Мистер Черчиль судоржно зевает. До чего он бледен! До чего устал! С таким лицом выходит под утро фанатик «девятки» — в кармане револьвер или просто таблетка веронала. Уснуть!.. Но игра продолжается. Через океан плывет каучук, его все больше и больше, он у этих, у тех, он у всех. Существуют ли на самом деле пейзажи и портвейн? Мир сделан из каучука. С удивлением мистер Черчиль ощупывает свой жилет — вот так штука, он только тепер заметил, что у него каучуковое сердце! Ему все равно кем быть — правым или левым, ему все равно с кем бороться. Он не любит никого и ни во что он не верит. Нечто в груди сначала растягивается, потом сжимается. Домашний врач мистера Черчиля по привычке еще зовет это «сердцем».

* * *

Днем мистеру Девису сказали, что кули пытался украсть фунт каучука. Мистер Девис приказал всыпать злодею тридцать и хороших. Вечером мистер Девис играл с приятелями в покер. Теперь ночь, и он спит. Он спит неуютно и уродливо: большой, волосатый — жарко, сползла простыня, спит один в длинном пустом доме. Даже питон и тот сдох. Мистеру Девису снятся отвратительные сны: его Анни больше не пахнет глицериновым мылом. Она пахнет чрезвычайно неприятно. Что это за запах?.. Малайки и те пахнут лучше. Волосатый человек долго ворочается. Он не в силах освободиться от навязчивого запаха.

— Анни, мой старый друг, простите грубому плантатору его нескромность. Анни, чем же вы пахнете?..

Анни молчит. Она только смущенно подрагивает. Может быть она хочет покраснеть, но не может, она вся белая, чересчур белая. Какой гнусный запах! Так пахнет молочный сок гевеи, скисая в чанах. Но ведь это не сок, это Анни. Едва превозмогая отвращение, мистер Девис решает поцеловать руку Анни. У нее муж? Зато у мистера Девиса горячее сердце! Мистер Девис берет руку Анни. Рука отскакивает. Волосатый голый человек пронзительно кричит. Кругом горячая ночь, небо Азии, спящие кули и сотни тысяч ветвистых деревьев. Рука Анни упруга и холодна. Это не человеческое мясо!..

— Анни, из чего ваши руки?

Молчит Анни. Молчат кули и гевеи.

* * *

Кули, тот, что получил тридцать хороших, не спит. Он кашляет и на землю, хорошо знающую белую кровь гевей, вылетает красный сгусток: кули прежде не надрезал деревья, он возил в тележке плантаторов. Он не может говорить, он только свистит. Он очень болен. Нет, он не болен, он умирает.

Он плетется в молельню. Там видит он бога. Бог из бронзы, бог спокоен и неприятен. Толстый Будда улыбается точь-в-точь, как улыбается на заборах Франции каучуковый человечек. Но Будда никуда не торопится; неподвижно сидит он в прохладной молельне, сидит год, век, вечность. Под Буддой написано: «одни придут ко мне путями подвига, другие путями жертвы, третьи

путями усталости и этими путями ко мне придут все». Кули не умеет читать, но кули очень устал. Десять лет он возил людей и четыре года надрезал деревья. Он лежит на земле перед богом, и бог обещает ему только одно, то одно, что могут обещать даже толстые бронзовые боги: великодушный покой.

Вокруг тихо шумят ветвистые деревья. Они сочатся и шумят. Они тоже устали, как Хувер, как Черчиль, как мистер Девис, как кули, как каучуковый человечек, как все люди и все автомобили. Они просят: «покой! покой!», и пустыми бронзовыми глазами смотрит толстопузый Будда в ночь, которая не знает ни будущего, ни прошлого, пустыми глазами в пустую ночь.

IV. Поэтическое отступление

1

Стояла ясная осень. Париж жил обыкновенной жизнью. Аббаты говорили прихожанкам о вечности, те слушали и душились духами: «День придет». В книжных лавках выставлены были сенсационные новинки: «Твое тело принадлежит тебе», «Ты будешь куртизанкой», «Конец адюльтера». Театральные афиши возвещали очередные постановки: театр «Жимназ»—«Радость любви», театр «Фоли-Драматик» — «Грум Максима». Поэты-сюрреалисты клялись уничтожить цивилизацию и для этого записывали свои сны: одному приснился большой кокосовый орех, другому консьержка. Любители живописи обозревали шестьсот очередных выставок, взволнованные если не полотнами, то многозначными цифрами: на последнем аукционе Пикассо поднялся до 45 000, а Модильяни перешагнул через 100 000. Конфекционный магазин Эсдер, празднуя годовщину открытия, отпускал товары со скидкой Хозяйки уверяли, что там можно приобрести вязанную кофту за 27 франков 95 сантимов. В высоко политических сферах только и говорили, что о важнейшем событии: на ницском конгрессе радикальной партии г. Эррио победил г. Кайо. За день было зарегистрировано 16 автомобильных столкновений, 2 пожара и 4 самоубийства; это никак не превышало нормы. Обывателей занимали свои заботы: не поражение г. Кайо и даже не «Конец адюльтера», через три дня предстоял «терм», то есть срок платежа домохозяевам. Биржа отметила повышение нефтяных и электрических групп, румынские займы колебались, а тунисский фосфат потерял один пункт. Словом, все было благополучно в этом благополучнейшем городе.

Вдруг приключилась маленькая заминка. Среди афиш «Радость любви», среди мыла «Кадум» и налога на собак замелькали восклицательные знаки. Какие-то люди писали о крови. Но в дело была замешана нефть. Англичане поддерживали арабов. На беду и в Рифе оказались нефтяные источники. Здесь были бессильны любые восклицания. Тогда, как бомба, шлепнулось на стену слово: «забастовка». Бомба, однако, не взорвалась. Это был последний, вдоволь слабый раскат послевоенной грозы, память о 19-м годе.

когда дрожала площадь Оперы, и когда по тонким проводам улепетывали за границу, казалось, столь неповоротливые капиталы.

С тех пор прошло шесть лет. В Париже победа г. Эррио, «терм» и «Твое тело принадлежит тебе». В Париже нет никакой революции. Но сегодня в Париже маленькая заминка. Улицы стали сразу пустыми и прозрачными, как осенние просеки. Упрямо теснятся в гаражах автомобили. По бульварам пробегают, как всегда, озабоченные люди. Они думают об акциях, которые что ни час растут. На Елисейских Полях гипсовые красавицы прогуливают свою постоянную тоску, а также низкорослых шотландских терьеров. Спокойно усмехаются полицейские. Блистают витрины. Растут акции. Тявкают псы. Только на одну минуту пустота улиц рождает легкую тревогу: это как напоминание о смерти. Тишина предместий доходит до площади Согласия, до площади Звезды, до гипсового сердца Парижа. Город, видавший на своем веку четыре революции и свыше четырехсот мятежей, этот город улыбается; он улыбается с законной иронией, а может быть и с незаконной тоской.

На одних бульварах Парижа каштаны, на других чинары, на третьих липы. Улица Мира славится ювелирами и портными, Елисейские Поля — магазинами автомобилей или духов, Монпарнасс — художниками, Пасси — тишиной, площадь Биржи — ревом маклеров, а квартал Сан-Жермен — старосветскими особняками.

В предместьях Парижа вместо деревьев трубы. Улицы здесь унылы, как дождливый рассвет. В маленьких лавках продают маргарин, пуговицы и марсельское мыло. Сипит орган кабака. Обрывки афиш на заборе: сегодня новинка «Смертельный поцелуй». Красный фонарь участка. Вз'ерошенный котенок. По середине улицы мочится большеголовое уродливое дитя. Женщина выбивает тюфяк, она бьет его яростно, с сердцем, как будто тюфяк этот — ее злая судьба. Жидкие пегие волосы треплются на ветру. Пыль от тюфяка смешивается со всей тяжелой, неповоротливой пылью, которая здесь — небо. Улица Республики или Жан-Жореса, длинная, пустая — номера домов, обрывки афиш, мыло, маргарин. Такой длинной и пустой кажется жизнь в ветреное ноябрьское утро под гул фабричных сирен.

Среди чахлых пришибленных домов — огромные корпусы заводов. Утром они вбирают людей, вечером их выкидывают. Человек оставляет здесь триста отлитых винтов и толику своего тепла. Он уходит с монетами в кулаке. Он может купить полфунта маргарина, может также швырнуть монеты на цинковую стойку кабака, чтобы жалобно они звякнули, чтобы в ответ замычала шарманка, чтобы от яблочного спирта свилась бы в клубок нестерпимо длинная улица, вот эта самая — Республики или Жан-Жореса.

Сюренн — предместье Парижа. Здесь автомобильные заводы Ситроена и Тальбо, арсенал, сталилитейная, здесь, конечно же, улица Жан-Жореса, а на ней кооператив с марсельским мылом. Здесь изготовляют сорокасильные моторы и кряхтя от усталости засыпают в девять густым как деготь сном.

Здесь голосуют за коммунистов. Летом по длинным улицам проносятся автомобили: это парижане спешат к океану подышать солью и иодом. Они жаждут скал или готических церквей. Сюренн никак не заслуживает остановки, Сюренн воняет копотью, машинным маслом, бензином и, проезжая мимо автомобильного завода, автомобилисты отворачиваются.

* * *

Сегодня зря торопился рассвет, зря прокричали сирены, зря раскрыли ворота пасть. Сегодня не воскресенье и не конец света. Черные закорючины календаря требуют: идите! Машины возмущены:

— Сегодня — понедельник. Вы сошли с ума!..

— Об'явить расчет! Схватить зачинщиков! Позвать жандармов!

— Послушайте, вы не дети. Вы обязаны работать. Иначе мы не выполним заказов. Наконец, у вас семьи, вы должны есть...

— Что это? Массовый гипноз? Лень? Подкуп?

— Раздробить! Расплавить! Отлить заново! Чтобы были не люди, знаки, без пауз. Даже без зеркального шкапа. 800 оборотов в секунду!..

Молчат дома. Молчит вся улица Республики, как и улица Жан-Жореса или улица Карно. Только ветер треплет клочья афиши: «Смертельный поцелуй».

В Париже, на площади Согласия, молоденький сюрреалист, иронически щурясь, говорит своей немолодой уже почитательнице:

— Если я не ошибаюсь, в теории словесности это называется «поэтическим отступлением».

2

Они теперь бродят по длинным улицам. У иных ворот они останавливаются и подолгу шумят. Это шутки и брань, это хрипота, это тоскливый разгул. Они глядят на ворота злобно и ласково, как дезертир на борт корабля.

Улица Карно. Бетон. Засовы. Это фабрика «Общества Радиотехники». Ворота закрыты. Сквозь решетку виден пустой двор. В мастерских еще работают женщины, слишком упрямые или слишком боязливые. Толпа горланит:

— Бросайте работу! Стыдно!.. Желтые!..

Возле окон — тени, одни смущенные, другие разгневанные. Впрочем, трудно угадать, о чем они сейчас думают, эти тени: тень директора, тень механика, тень телефонистки.

Голоса на улице становятся все громче и жестче:

— Трусы! Изменники!

Директор фабрики г. Демеле несколько растерян. Ему всего 29 лет и он никак не привык к поэтическим отступлениям. Притом у него чересчур вежливый профиль. Правда, ворота солидные. Покричать и уйдут... Однако фабрика это не только предприятие или дивиденды. Это священное место. Здесь люди трудятся. Они создают прекрасные вещи. Причем тут восклицательные знаки на заборах?.. Пусть лодыри кричат на митингах. Честные рабочие хотят работать. Никто не в праве мешать им. Это святотатство!

Вот они, возле самых ворот! Что же теперь делать?.. Г. Демеле колеблется.

На помощь ему приходит один инженер — Леон Лафосс. Он старше своего хозяина и он не мало видел на своем веку. Он работал прежде на автомобильном заводе Рено. По профессии он чертежник, но на фабрике он занят отнюдь не чертежами: он смотрит за порядком, штрафует, рассчитывает. Он — опора, верная опора, стоит только посмотреть на него: богатырь! Он любит похвастаться ростом: неугодно ли, один метр восемьдесят! Широкие плечи, на них большущая круглая голова, круглое лицо, круглые глаза, круглые американские очки. Если он и немного думает, все его мысли чрезвычайно полезны «Обществу Радиотехники». Он и не белоручка. Он вышел из рабочей семьи. Поэтому он искренно презирает рабочих: талантливому человеку ничего не стоит выдвинуться. Говорит он нескладно, но слова выбирает покрепче. Покрепче выбирает и напитки: кабатчики Сюренн хорошо знают, что г. Лафосс пьет вермут исключительно из больших стаканов, никогда не разбавляя его водой.

Лафосс возмущен: как смеют эти крикуны посягать на самое высокое — на часы работы, на прогулы, на премии, на святость дирекции, на его круглые американские очки?..

— Я их проучу, г. Демеле...

Лафосс идет во двор к пожарному крану. Помогает ему старый сторож. Сторож, как всегда, пьян. У окон — инженеры. Один из них пожимает плечами: зачем?.. Ведь все произошло так быстро! Они не успели опомниться. Какое им дело до политики? Они работают. Беспроволочный телеграф нужен всем. Почему это люди против них?.. Только что они были обыкновенными инженерами, теперь они солдаты в осажденной крепости. Нервнически ощупывают они брючные карманы. здесь ли револьвер?.. Один проверяет патроны. Другой угрюмо отвернулся—он был на войне, он не хочет больше воевать, вы слышите: не хочет!..

Но никто ничего не слышит. Телефонистка выронила трубку и закрыла глаза. В мастерских у станков — работницы. Может быть они и дрожат, но как заметить эту дрожь среди железного озноба машин? Машины продолжают работать, им нипочем и рев толпы и бледность молоденького инженера. Надо выполнить к сроку заказы. Сегодня не воскресенье. 800 оборотов в минуту.

Тень директора судорожно заметалась: боже, этот верзила его погубит! Лафосс просчитался: вода только разожгла огонь. Теперь забастовщикам не до шуток. Плечи навалились на решетку. Трагически взвизгивает оконное стекло. Кусок штукатурки попал в лицо Лафоссу, и богатырь стонет. Это не прогулы работниц! Их много! У них камни! Зачем только затеял он эту историю? Он вспоминает, как лет семь тому назад рабочие сбросили мастера в Сену. Это было у Рено. Спрятаться? но что скажет директор?..

В кармане Лафосса револьвер. Он бежит за другим — военного образца. Он чертежник. Он семейный человек. Он любит вермут. Он вовсе не вояка.

Но теперь он уже не в силах остановиться. Он идет к будке сторожа—это хороший наблюдательный пункт.

Ворота, кажется, начинают поддаваться. Больше нельзя медлить. Вот этого... Лафосс целится, но рука его дрожит. Мимо! В окно летят камни. Он снова стреляет. Тогда раздается, покрывая рев толпы, одинокий крик. Кричит женщина.

3

Отец Андре Сабатье был металлистом. Его мать работала на фабрике. Когда Андре исполнилось 14 лет, он тоже пошел на завод. Сабатье не Лафосс, он-то так и остался рабочим. В семье Сабатье было заведено: мужчины работали в арсенале, женщины на фабрике «Общества Радиотехники».

Министры велеречиво говорили о моральных высотах французского рабочего. Поэты, думающие как бы им не отстать от своего века, прославляли красоту приводных ремней или поэзию расплавленной стали. Газета «Юманите» писала восторженно то о китайских генералах, то о новой речи Ворошилова. А здесь из года в год трепал ветер клочья афиш и по утрам кричали сирены. Андре обжигался кофе и нырял в прожорливые ворота. Шли годы. Не было ни пожара, ни революции, ни катастрофы.

В Париже танцовали фокс-трот и зачитывались «Холостячкой». Когда Андре исполнилось 20 лет, он встретил Жанну. Это было просто и надолго, как улицы Сюренн. Андре призвали на военную службу, Жанна пошла на фабрику. Она была женой Сабатье, следовательно она пошла на фабрику «Общества Радиотехники». Потом родился ребенок. Андре был в казарме. Потом Андре вернулся, погладил сына и пошел на завод.

Вечерами Андре читал; он читал об отважных путешественниках, о Луизе Мишель и о русской революции. В соседнем кооперативе торговали марсельским мылом. Первого мая рабочие шли на митинг с целулоидовыми шиповниками в петлицах. Они шли и пели. А второго мая снова насмешливо кричали сирены.

Так жил Андре Сабатье до 24 лет. Знали его только соседи и товарищи по мастерской: он был тих и застенчив. Наступило 12 октября. В жизни Сюренн произошла маленькая заминка.

***

Сестра Андре работает на фабрике «Общества Радиотехники». Сегодня она бастует. Вместе с другими она кричит у ворот:

— Выходите!..

Андре дома. Сестры нет. Куда же она запряталась? На улице полиция? Андре идет узнать, уж не приключилось ли что? Он долго не возвращается: он сам увлекся, он стоит у ворот и ругает «желтых»:

— Трусишки!..

Теперь мать Андре, взволновавшись, идет к фабрике: сколько полиции нагнали — далеко ли тут до беды!..

Лафосс. Струя воды. Ругань. Андре подбегает к решетке:

— Предатели!..

Кто-то сзади уговаривает:

— Идемте-ка отсюда!.. Хватит!..

Но разве можно теперь уйти? Андрей налег на решетку; та не поддается. Выстрел. Сзади кричат:

— Засада! Ах, негодяи!.. Убийцы!..

На мгновение толпа шарахается. Руки ищут: осколки бутылок, камни, кирпичи. Андре не отходит от решетки. Его глаза, обычно кроткие, сейчас сухи и жестки. Он не уйдет отсюда, ни за что не уйдет!

— Убийцы!..

Еще один выстрел. На этот раз Лафосс не промахнулся. Андре падает навзничь. Он падает молча. Кричит его мать: она рядом, она все видела — кровь, мозг, короткую агонию.

— Помогите!.. Ради бога!..

Но здесь уж никто не в силах остановиться. Снова Лафосс стреляет. Снова летят камни. А пьяный сторож, тот все еще поливает водой тело Андре.

За окнами бьются тени.

— Полицию! Солдат!

Кого они боятся? Мертвого Андре? Женщин? Или может быть длинных улиц? Сотню жандармов! Скорее!..

Лафосс ползком пробирается в погреб. Конечно метр восемьдесят и огромные кулаки... Но их много! Их уж не тридцать, их тридцать тысяч, миллионы. Они кидаются все на Лафосса. Он пробует утешить себя: никто не видел. Он скажет — другие. Чорт с ним, с повышением! Здесь надо спасать себя.

Лафосс бежит в нужник, там он выкидывает патроны. Не он стрелял! Честное слово, не он! У него и револьвер-то не заряжен. Так он разговаривает с трубами и с темнотой. Он лежит в погребе, прикрыв руками голову. Здесь его находит директор.

— Можете итти наверх.

Лафосс недоверчиво озирается:

— Но... но...

— Я вам говорю — можете итти. Все кончено. Здесь полиция.

Лафосс однако не выходит. Перед ним тени, тысячи теней и одна: Лафосс конечно предан «Обществу Радиотехники», но Лафосс, как никак, человек. Он лопочет:

— Там?..

Г. Демеле понял. Он отвечает скороговоркой:

— Один... и кажется тяжело...

Над трупом Андре — три женщины: мать, жена, сестра. Они плачут. О них сейчас все забыли: и директор, и Лафосс, и улица Сюренн. Они — вне истории. Они плачут обыкновенными женскими слезами.

Бригадир Баллера допрашивает г. Демеле. Тот отвечает:

— Я ничего не видел. Я в это время ездил за полицией. Дело впрочем ясное: стреляли забастовщики и по ошибке убили своего.

Лафосс тоже ничего не видел. Он только старался успокоить толпу. При этом он жестоко пострадал. Лафосс показывает на свой лоб: вот поглядите— какая рана! С трудом бригадир замечает маленькую ссадину.

На улице Жан-Жореса полицейский говорит со всей мудростью возраста и профессии:

— Одного положили... Знаете пословицу: чтобы приготовить яичницу, друг мой, надо сперва разбить яйца...

Андре Сабатье лежит теперь на кровати. Приходят товарищи, угрюмо мнут они шапки. У соседки хнычет трехлетний мальчуган. Его тоже зовут Андре и он наверное тоже будет рабочим.

4

Директор, а за ним и служащие показали: Сабатье убили забастовщики. То же самое сообщили все газеты.

«Общество Радиотехники» — французское ответвление гигантского треста. Биржа хорошо знает, что такое «группа Маркони». Это знает не только биржа, но министры, депутаты, журналисты.

Бригадир Баллера, однако, простой бригадир. Ему поручено произвести расследование. Без особого труда он установил, что стреляли из будки сторожа, что Сабатье стоял возле решетки, лицом ко двору, что пуля попала в левый висок, следовательно, что Сабатье убили никак не забастовщики.

Г. Демеле направляется к комиссару полиции Ламберу. Деликатно он спрашивает:

— Если бы случилось так, что убийца назвал бы себя, мог бы он по вашему расчитывать, что его имя не сразу будет предано огласке?

Во Франции существует свод законов, и г. Демеле наверное слыхал об этом. Но г. Демеле директор «Общества Радиотехники» и он вежливо улыбается. Комиссар удивлен: он не привык к дипломатическим переговорам. Может быть г. директор хочет дать полиции некоторые указания, как разыскать убийцу?.. Комиссар чересчур простодушен. Г. Демеле с ним не о чем разговаривать.

Лафоссу необходимо признаться: не то его арестуют, как самого вульгарного убийцу. Если он сам заявится, газеты напишут о законной самозащите. На счастье этот Сабатье оказался коммунистом! Можно нанять первосортного адвоката...

Г. Демеле о чем-то долго беседует с Лафоссом, и Лафосс вдруг испытывает раскаянье. Он жаждет правосудия. В участок его отвозит г. Демеле. Перед этим Лафосс заходит домой, чтобы проститься с женой и сыном. У него тоже маленький сын. Он будет инженером, если не директором. Круглая голова. Круглые глаза. Круглые очки.

Лафосс едет в прекрасном автомобиле г. директора. Перед ним длинные улицы. На одной из них: гроб, незнакомая женщина, чужой ребенок.

***

Пока Сабатье жил, мало кто знал о нем. Мертвый, он стал героем. Он лежал в гробу и он метался по предместьям. Одни крестились, другие сжимали кулаки. Он был повсюду: в кабаках, в редакциях, в мастерских. Он заходил запросто и в кооператив, и в Палату депутатов. Когда он выступил в поход, за ним пошло 100 000 душ. Суетливо трепыхались полотнища, блекли астры, и нестройное пение напоминало рев сирен. Здесь были журналисты и матросы, автомобили и венки, Марокко и мокрый песок, здесь были все длинные улицы парижских предместий. Андре Сабатье нырнул в землю, как нырял он в ворота завода.

Прошло еще несколько дней. Газеты писали о новых убийствах. Зарядили частые дожди. О Сабатье больше никто не помнил. Он снова стал скромным и неизвестным, каким был при жизни: фотографией на комоде и скупыми слезами Жанны.

О Лафоссе говорили: «бедняга». Некоторые удивлялись: неужели он еще сидит?.. Лафосс пробыл в тюрьме недолго: шесть дней. Возле тюремных ворот поджидал его автомобиль. Он быстро захлопнул дверцу. Он был попрежнему высок и дороден, но не так ухмылялись щеки, не так сияли круглые глаза, даже очки на нем уже не так сидели. Пусть все забыли о Сабатье — Лафосс о нем хорошо помнил.

Он поселился в другой части города. Он переменил имя. Леон Лафосс исчез. Теперь пьет вермут г. Леблян. До чего горек этот вермут!.. Изменился ли вкус настойки? Или вместе с именем изменилось нёбо Лафосса?.. Он кажется до сих пор не вышел из темного погреба. У него была жизнь. Теперь у него только страх. На улице он боится людей, дома — тишины. Следователю он говорит, что опасается мести. Кто знает, может быть он боится только воспоминаний?

Попрежнему работает фабрика «Общество Радиотехники». На бирже котируются акции. Г. Демеле отдает приказы. Заместитель Лафосса штрафует работниц. А Лафосс лежит в погребе. Что он сделал? Он защищал собственность и право на труд, все самое высокое, самое святое. Об этом учат в школе и об этом шепчут умирая нотариусу. Разве виноват он, что не все люди счастливы? Он только мелкий служащий. Он получал 50 франков в день, немногим больше рабочего. Да, это правда, он первый побежал к крану; но ведь это входило в его обязанности: поливать при случае людей как поливают известь. Он выстрелил. Иначе его бы убили. Стреляли же в немцев!.. У них тоже были семьи. Причем тогда эти шушукания о каком-то ребенке? На круглом лице мучительно шевелятся круглые губы. Долго Лафосс оправдывается перед ночью, перед улицами, перед незнакомой женщиной. Потом наступает ночь, и г. Леблян залпом пьет горький вермут.

Машины вертятся. Бумаги «группы Маркони» продолжают расти.

5

С того времени прошло пятнадцать месяцев. В Париже переменилось все: министры, платья, танцы. О г. Кайо больше никто не говорит. Политиков занимают выборы председателя Сената. Принц Галльский упал с лошади.

В театре «Матурен» ставят «Невинную Грешницу». Магазины «Бон-Марше» об'явили грандиозную распродажу белья. Стоит январь туманный и сизый. Зажиточные парижане спешат на юг. Франк поднял на ноги, и вся Франция франка благословляет г. Пуанкаре. Завсегдатаи кофеен спорят о факирах: медиумы это или просто жулики?..

Тогда неожиданно встает из под земли Андре Сабатье. Вот уж адвокаты нелепо взмахнули рукавами балахонов. Стряпчий оправил цепь. В графине — вода, теплая и желтоватая, как судейская совесть. Из боковой двери показываются круглые очки. Они смущенно отсвечивают. Лафосс стал снова Лафоссом. Он забыл о долготе ночей. Г. Демеле увидит только исполнительного служащего.

Председатель спрашивает:

— Скажите, вы сожалеете о происшедшем?

Со всей рьяностью Лафосс отвечает:

— Искренно.

Он говорит правду: конечно же сожалеет! Он отнюдь не доволен своей профессией. Что за радость поливать людей как известку?.. Он получал всего 50 франков в день. Стрелял он по необходимости. Это тоже не тир на ярмарке. Но выбора не было. Иначе судили бы сегодня Сабатье по обвинению в убийстве инженера Лафосса.

Г. Демеле стоек и великодушен. Он показывает: ворота были взломаны, Сабатье находился во дворе, жизни Лафосса угрожала опасность. Кто посмеет после этого сказать, что «Общество Радиотехники» не заботится о своих служащих?..

Служащие поддерживают директора. Правда показания инженера Раке несколько противоречат словам г. Демеле, но инженер Раке уволен со службы после первого же допроса. Телеграфистка Коттен сидела возле окна. Она присягает — ворота не были взломаны.

— Вы и теперь работаете на фабрике «Общество Радиотехники»?

— Нет, меня рассчитали...

Г. Демеле изысканно одет. Он изысканно отвечает на допросы. Он ездил за полицией. Когда раздался выстрел, он был в автомобиле перед самыми воротами. Он все видел своими глазами.

Г-жа Майндро живет напротив фабрики. Она смущена и балахонами адвокатов и цепью стряпчего. Она отвечает очень тихо, но все-таки она отвечает:

— Я слышала шум и выбежала на улицу. Никакого автомобиля там не было. Люди кричали возле ворот. А ворота были заперты. Тогда раздался выстрел, и один человек упал... Нет, он не был во дворе. Он упал на улице, возле самых ворот...

Председатель снова спрашивает г. Демеле:

— Вы утверждаете?..

— Да, утверждаю.

— А вы?

— Да, да...

Они стоят друг против друга: изысканно одетый директор и сюреннская хозяйка, одна из тех, что выбивают по утрам тюфяки. У них две правды... Две правды у присяжных. Две, одной нет.

Тогда адвокат Лафосса спрашивает игриво г-жу Майндро:

— Скажите, свидетельница, а вы не сочувствующая?..

Та не сразу понимает, поняв же отвечает просто:

— Нет, нет, что вы, я никак не сочувствую коммунистической партии.

Г. Демеле директор большого предприятия, он не привык отступать перед трудностями, он настаивает:

— Я поехал за полицией. Я был у комиссара Ламбера.

Комиссар Ламбер на редкость бестактен. Он до сих пор не понял, что такое «Общество Радиотехники». Он говорит:

— Г. Демеле у меня тогда не был. Я узнал о приключившемся от полицейского агента.

Адвокат морщится: ведь комиссара нельзя даже спросить уж не «сочувствующий» ли он? С досадой адвокат говорит:

— Комиссар попросту струсил...

Публика удивленно переглядывается: чего же бояться комиссару? Мертвого Сабатье? Мятежа? Прокурора?.. Только Лафосс не удивляется: он знает до чего бывают длинны даже самые короткие июньские ночи.

Эксперты приносят тщательно нарисованный план. На нем заштрихована «смертельная зона». Вот здесь был убит Сабатье... Присяжные вздыхают: да, конечно, вот здесь!.. Но разве можно судить французов за то, что они стреляли в немцев?..

Над дверью мраморная Фемида. У нее повязка на глазах. Она держит весы, хорошие большие весы, как в кооперативе на улице Жан-Жореса.

А председатель все еще ищет правду — одну для всех. У него усталые глаза. Он напоминает:

— Вы убили невинного. Сабатье даже не был агитатором. Он ведь пошел за своей сестрой...

Но разве можно судить летчика за то, что бомба упала на детский сад?.. Развеваются рукава адвокатов. С двух сторон кричат: это война! Все забыли о тщательно заштрихованном плане.

— Нам известны происки Третьего Интернационала!..

— Рука Москвы...

— Буржуазия и социал-соглашатели...

Круглые очки погасли. Они вне спора. Они в стороне. Адвокаты щеголяют остроумием. У них пафос и цитаты. Они пьют теплую желтую воду и зловеще хрипят.

Присяжные тихонько позевывают. Уж поздно: скоро полночь. Они наспех пообедали, они не успели даже всласть покурить. Им давно надоели политические споры. Как будто они сами не знают, за кого голосовать на выборах! До г. Пуанкаре франк падал, а теперь он окреп. О чем же тут толковать?... Марокко, нефть, Моссул, Муссолини, Москва... Без четверти двенадцать...

Адвокат Лафосса — дорогой адвокат. Он знает все помыслы присяжных. Он говорит:

— Если бы Сабатье в этот день работал, он бы не был убит.

Это просто и это понятно всем. Стряхнув полусон и важно выпрямившись, присяжные удаляются на совещание.

В зале теперь нечем дышать. Жандармы оттесняют от дверей толпу любопытных. На скамье — молодая женщина с ребенком. Она здесь как справка о том, что Андре Сабатье не миф, не афиши на стенах, что он взаправду жил и что он умер двадцати четырех лет от роду. Она отвертывается от взглядов зевак. Мальчик уснул на руках. Против нее — Лафосс. Он внимательно слушал все речи. Он отвечал на вопросы председателя кратко и почтительно, как будто председатель суда директор «Общества Радиотехники». Он ведь только мелкий служащий уважаемой всеми фирмы.

Присяжные совещались недолго. Война это война. Девять как один сказали:

— Он не виновен. Он защищался.

И потом прибавили уже проще, по-семейному, как в кафе за партией «пике»:

— Мы тоже должны защищаться...

Трое пробовали спорить:

— Эксперты... Ворота... Пошел за сестрой...

Но их было трое. Война это война. Старшина прочел:

«По совести перед богом и перед людьми... нет... нет... нет...

— Лафосс, вы свободны.

Лафосс вежливо поклонился и стал тотчас же Лебляном. Его выпустили с заднего хода. Там поджидал автомобиль. Снова началась для него томительная жизнь: длинные ночи, шорохи, взгляды прохожих и непонятная горечь вермута.

Ушла Жанна Сабатье. Ушли судьи и жандармы. В зале осталась только желтая дряхлая богиня. Глаза ее закрыты. Жаль: она так и не видела великолепного покроя г. Демеле!

* * *

Сюренн. Длинные улицы. Гулять по ним глупо. По ним утром идут на работу, а вечером спать. По ним проносятся автомобили туристов. Те, что делают автомобили, стоят у станка. Человек может умереть. Машина не должна останавливаться. Это не роман; это биржевой бюллетень и это история государства. Здесь нет места поэтическим отступлениям.

(Окончание следует)

Ровесники

(Рассказ)

Мих. Слонимский.

I

Брань ширилась и росла над рекой, и никто не удивлялся этому: ни рыбаки, ни прибрежные жители, ни случайные прохожие, какого бы пола или возраста они ни были. Уши их с детства приучились к этим звукам. Только какая-то женщина, оглянувшись на парней, весело шагающих по береговой тропе посторонилась, сказавши:

— Вот безобразники, прости бог!

Один из парней услышал это и, обратившись к женщине, промолвил такое, что та только плюнула и уторопила шаг.

У деревянного шаткого моста парни разошлись — двое двинулись через реку, а один продолжал путь по берегу. Это был Вася.

Вася оглядывал мир довольным оком, словно все это, если еще не принадлежит ему и не покорствует вполне, то будет принадлежать и покорится. Он запел «Когда на тройке быстроногой»,— но песня эта показалась ему чересчур заунывной, не соответствующей бодрому его настроению, и он оборвал ее матерными словами. Так, перебивая начала песен бранью, он подвигался домой. И чем ближе подходил к дому, тем громче пел и выкрикивал, и уже некоторое озлобление начало проявляться у него в голосе, словно дома ждало его нечто обидное и враждебное.

После демобилизации Вася вернулся на родину в одно время с молодым Грошевым. Вася издевался над Грошевым, когда тот принял низкооплачиваемую работу на заводе. Сам он предпочел отправиться обратно на Кубань, где его ждала сытая жизнь с богатой казачкой, любившей его. Но любовь эта оказалась невечной. Казачка родила ему сына, похожего почему-то не на него, а на Остапа Кукубенко, человека партийного и красивого. Это бы еще ничего, но вид новорожденного так странно подействовал на Остапа Кукубенко, что тот переселился к прекрасной казачке, а Васе предложено было отправляться, куда он хочет.

Такой конец был настолько оскорбителен, что Вася никому не расказывал о нем. Он столько лгал о кубанской своей жизни, о том, как он там обольщал и бросал казачек, что и сам, наконец, начал верить своим словам.

Впрочем, он обладал счастливой способностью, переиначивая факты, обманывать самого себя, во всем находя подтверждение того, что люди уважают его и боятся. О том, что он зря потерял годы на Кубани, он словно и не думал. Также и то, что у него в результате — все еще никакой особой специальности, а Грошев, например, уже квалифицированный рабочий, Васю, видимо, не беспокоило. Ему думалось, что все равно как-то так вот получится, что он всех перескочит и внезапно окажется главным человеком.

Последние дни Вася особенно взбодрился. Он совершенно был убежден, что теперь уж решительнейшим образом изменится его судьба. Дело в том, что он узнал от заводских приятелей о предстоящем приезде Виктора Назаровича Маклецова. Маклецова ждет тут важная должность. А с Виктором Назаровичем Маклецовым, Витей Маклецовым, Вася играл некогда в казаки-разбойники, палочку-выручалочку и даже однажды подарил ему рогатку. Ему было очень жалко, но он все-таки подарил. Маклецов — друг детства! И уж конечно он-то по настоящему оценит Васю. А то говорят тут кругом, что Вася — брехун да бездельник, живет за счет матери да Наденьки. Вздор!

Вася узнал адрес Маклецова и состряпал ему в Москве пригласительное письмо, предлагая свою дачу к услугам друга. Тот ответил и принял приглашение, и после этого Вася совсем уверился, что быть ему теперь главным человеком. Теперь покажет он себя, развернется во всю ширь!

Вася старался представить себе облик своего друга, но не мог. Они давно не видались. Пятнадцати лет Маклецов оставил эти места.

Васе не захотелось сейчас возвращаться домой. Он повернул на станцию и там наткнулся на знакомцев. Сразу же затеялась беседа, и Вася начал хвастаться. ,

— Да,— говорил он небрежно,— мы с ним друзья-приятели, водой не разлить. Он у меня жить просился. Может, сегодня и приедет. Сердитый человек. Всех подтянет. А меня наверное помощником сделает.

Попался тут некий кооперативный служащий, который вдруг почему-то заволновался. Этого человека неудержимо влекло ко всякого рода начальству, даже и к такому, от которого его личная судьба и не зависела совсем.

При таких разговорах, какие вел сейчас Вася, кооператор неизбежно приходил в нервное состояние, как-будто он виноват в чем-то. Его охватило беспокойство, стремление удостовериться, что он-то тут никак не пострадает,— ведь кооператив все-таки заводской! — и он подошел к Васе поближе. Чем больше он слушал, тем больше волновался. Он до понедельника отправлялся в город, а начальство может ведь прибыть сегодня или завтра Надо немедленно, заранее, закрепить на всякий случай дружбу с Васей.

— А поедем-ка, Вася, со мной,— сказал он как бы вполне естественным, даже снисходительным тоном. — Одному мне — скучно, с тобой — веселей.

— А поедем,— сразу же согласился Вася, которому решительно все равно было куда податься. Он тут же и успокоил себя, как всегда, когда надо было обернуть дело в свою пользу:— Сегодня-то он не будет. Сегодня — двадцать первое, а сказано — в двадцатых. Дня через три-четыре и заявится

Это приглашение обошлось кооперативному служащему в 4 р. 75 коп Он нервничал уже потому, что столько денег истратил может быть совершенно напрасно. Ему еле удалось отправить Васю к ночи домой. Для верности он проводил его на вокзал.

Поезд был почти пуст.

В вагоне, в который вперся Вася, стоял у окна один только человек.

II

Мало кто ходит сейчас по России в мягкой шляпе. Преобладают кепки, картузы, фрменные фуражки и другие различных фасонов шапки, иногда — хорошего качества, иногда — плохого, но сидящие на головах скромно и незаметно. Если же на ком-нибудь и попадется мягкая шляпа, то, по большей части, она так замусолена, измята, промочена дождями и снегом, что совершенно теряется в толпе прочих головных уборов. Новые, не утратившие первоначального цвета и формы мягкие шляпы можно встретить только на головах заграничных гостей или же столичных жителей высокой служебной квалификации.

Голову человека, который стоял у окна в пустом вагоне пригородного поезда, украшала замечательная шляпа с не слишком узкими, но и не слишком широкими полями. Пальто на пассажире — хорошее, но обыкновенного покроя и цвета. А лицо под шляпой — самое обыкновенное: светлоглазое и скуластое.

Пассажир недавно вернулся из Франции, где больше двух лет прослужил в торгпредстве. По возвращении он обнаружил, что несколько отвык от родного быта и родных видов.

Он с особым чувством отправлялся на работу в тот питерский пригород, где родился и вырос, и с большим интересом ждал встречи с ровесником, другом детства, который звал его к себе. Он предполагал дать телеграмму о точном дне и часе своего приезда, но в последний момент захотелось ему самому, в одиночестве, узнавать родные места, дорогу на знакомую дачу — все, что теперь возвращалось его уже недетским глазам.

Поезд вздрогнул, собираясь двинуться, когда дверь с шумом отворилась, захлопнулась, и в вагоне появился еще один пассажир — остролицый, тощий, невысокого роста, в ватной куртке нараспашку и черной кепке. Кепка сидела на его голове козырьком к левому, вызывающе прищуренному глазу Это был Вася. Он, наметив именно то окно, у которого задумался пассажир устремился туда, мгновенно локтем отбил заслонявшего перспективу человека и выкрикнул в окно кооператору, который махал ему шапкой, несколько весьма витиеватых и бессмысленных, но приятных и привычных русскому уху ругательств, которые в данном случае выражали не гнев, а нежность Затем он опустился на скамью и критическим оком оглядел пассажира, который столь грубо был потревожен им в своих мыслях.

Неизвестно, понравилось Васе или нет лицо его случайного спутника, но он сбил кепку к темени и презрительно выпятил нижнюю губу, издав при этом неопределенный звук, может быть, просто икоту.

Пассажир вынул из кармана пальто газету, развернул и принялся читать телеграммы.

Веселье играло в Васе — ему хотелось шума, движения, криков.

— Даешь газетку,— заявил он, обращаясь к пассажиру.— Даешь, ну!

Пассажир смолчал, соображая, как быть.

— Даешь, тебе говорят! Шляпу надел — так уж и...

И пьяный коротким и ловким жестом рванул газету, оставив в руках пассажира только клочья ее.

— Хулиган,— сказал тот, но все еще удерживался от более резких движений, как человек, которого будят, но который ни за что не хочет проснуться и делает вид, будто продолжает спать. У него мелькнула мысль: взять чемоданчик и перейти в другой вагон. Но это было бы похоже на испуг. Он встал и, показывая равнодушие и презрение, отвернулся от спутника, глядя в окно.

Поезд выбрался из городских недр и шел через унылое болото, в водах которого морщилась и скучала дрожащая луна. Это печальное зрелище не развлекло пассажира. Он вновь опустился на скамью.

— Трусиха, — промолвил Вася презрительно.

Пассажир молчал, соображая, как быть.

— Трусиха,— промолвил Вася презрительно.
кого рода беседах выражений.

Ему становилось невыносимо скучно и уже хотелось настоящего скандала: с битьем стекол, ударами в ухо, свистками милиционеров.

— Если ты сейчас же не отстанешь...— начал пассажир и замолк.

— Что тогда будет? — обрадовался Вася.— Что? Ну, валяй!

— Что будет? — приставал Вася, уснащая свою речь весьма сложными ругательствами, которые сейчас отнюдь уже не обозначали нежность.— Что будет тогда? — спрашивал он, наклоняясь вперед и в злобе кривя губы и щуря глаз. — Сволочь! (он скороговоркой пустил еще несколько бранных слов).— Что ты со мной посмеешь? Вот я уж и не отстал, чего ж ты? Рыба вяленая! Шляпа!

И, протянув руку, он сорвал с головы пассажира мягкую шляпу с не очень широкими, но и не очень узкими полями и швырнул ее на пыльный зашарканный пол вагона.

Тут уж пассажир пустил к чорту всякую сдержанность.

— Ах, ты!— прошипел он, вскакивая, и испытал чрезвычайное удовольствие ухватив пьяницу левой рукой за ворот, а правой сдавив ему узкое горло. Он сейчас радостно ощущал свою силу. Забывшись, он не сразу заметил, что глаза васины уже вылезали из орбит, и он хрипел. Когда он разжал пальцы, освободив Васе дыхание, тот едва мог испустить несколько нечленораздельных звуков, выражавших крайний испуг, недоумение и радость возвращения к жизни.

Пассажир тоже задыхался так, как будто и его только что душили. Он был непохож на себя — вз'ерошенный, с изуродованным злобой лицом.

Потом он, опоминаясь, провел рукой по волосам, поднял свою шляпу, стряхнул с нее пыль, надел и вновь опустился на скамью.

Вася, оправившись, сразу же вернул себе всю прежнюю, на миг его оставившую заносчивость.

— Бандит,— проворчал он.— Уж нельзя человеку и в поезде проехать.

И он гордо хлопнул дверью.

Пассажир остался один в пустом вагоне.

Туман медленно заволакивал ночь, проходящую за окном.

На одной из последних остановок пассажир сошел. Не то грозное, не то ироническое восклицание приветствовало его с соседней площадки — это Вася, вылезая, увидел своего обидчика. Левая скула у Васи была уже разбита — приезжий не заинтересовался, почему. может быть, Вася впотьмах и в качке наткнулся на что-нибудь и сам себе повредил физиономию, а может быть, лицо его пострадало во время новых похождений в других вагонах с другими пассажирами. Но глаз васин был попрежнему вызывающе прищурен, и острое лицо выражало энергетическую готовность к новым боям. Приезжий молча прошел мимо него.

Пустынная сырая платформа стлалась перед деревянным строеньицем, изображающим здание вокзала. На краю ее, там, где ровно дышал отдыхающий паровоз, у шлагбаума, чернел человек, который, закинув голову, переговаривался с машинистом. Еще кто-то в фуражке с красным околышем,— может быть, начальник станции, а может быть, и помельче,— выдвинувшись из станционной тени на середину платформы, сутулился и горбился здесь, забирая пальцы в рукава черной с красными лацканами шинели и переступая с ноги на ногу. К нему шел главный кондуктор, своим длинным ростом и худощавостью разрушавший представление о том, что главный кондуктор должен быть обязательно толст.

Приезжий чихнул, чем вызвал на миг внимание к себе, кондуктор оглянулся на него, а тот, что продрог, выпустил пальцы из рукавов шинели, как кот — когти. Впрочем, тут же он протянул главному кондуктору руку, и оба просипели приветствия друг другу. Приезжий еще раз чихнул и, пройдя платформу, двинулся влево по шоссе к морю. Вот в этих местах он родился и вырос.

Его тощий остролицый спутник, спотыкаясь, покачиваясь слегка и бормоча никому неслышные ругательства, повернул в том же направлении, что и он.

Три или четыре дуговых фонаря освещали небольшую площадь перед станцией и начало шоссе, помогая обходить лужи и месить грязь. Балтийская туча медленно овладевала небом. Она была недостаточно плотна для нового дождя, но зато — вот она достигла луны, проползла меж ней и землей, затушила. Шоссе пропало в тумане и мраке.

По бокам шоссе угадывались оставленные уже дачниками дачи. Там — тишь и темь: хозяева наслаждались великолепными снами или стонали в кошмарах, или спали, как мертвецы, без всяких видений.

Огоньки папирос вспыхивали изредка впереди по дороге, потом обнаруживались и сами курильщики — заводской парень, медленно, перешептываясь, прогуливающий девицу, голова которой повязана платочком, а счастливое лицо спрятано в воротник; какой-то пожилой человек, быстро шагающий, опустив голову, и вынимал руку из кармана ватника только для того, чтобы, освободив губы от папиросы, пустить дым изо рта; низкорослый финн с трубкой в зубах — этот пошатывался и глядел в туман пренебрежительно и высокомерно, а женщина, тоже невысокая, должно быть, жена, непреклонно тащила его домой. Возникая на краткие мгновения из предночного тумана, встречные вновь проваливались в тьму.

Оглядываясь, приезжий различал позади, шагах в десяти, тощую фигуру пьяного попутчика. Тот шел за ним следом, и когда отставал и очертания его тела сливались с туманом, до приезжего доносился все тот же неопределенный рокот его бормотанья, урчанья, фырканья. Вася, видимо, вел увлекательную беседу с самим собой или же ругался с воображаемым собеседником.

Ряд дач справа оборвался. Начался огромный огород, затем пустая земля. Стало слегка светлей, как всегда в незастроенных пространствах. Вот и слева открылась широкая брешь меж строениями, ничем не занятая, кроме осенних, уже утративших листву деревьев да мха. Брешь кончилась. Узенький переулок указывал приезжему путь на параллельную шоссе улочку, где жил приятель, где некогда жил и он сам. За переулком вновь — ненадолго и уже не столь густо — возникали дома.

Приезжий свернул с шоссе в переулок, который превратился после дождя в речку, то-и-дело разливающуюся небольшими, но непроходимыми озерами. Вода грозно чернела, притворяясь более глубокой, чем это было в действительности. В переулке, зажатом меж дачами и леском, было гораздо темнее, чем на шоссе. Приезжий, сделав несколько шагов, остановился — пробраться тут оказалось совершенно невозможно. Отчаянно залаяла какая-то собака. Приезжий чихнул и сам не заметил, как вместо платка пустил в ход большой и указательный палец левой руки, чтоб утереть нос. В правой руке он нес чемоданчик.

Поворотив обратно на шоссе, он подумал, что ведь эта глушь и дичь — в каких-нибудь двадцати пяти верстах от замечательнейшего, лучшего в России, вполне европейского города. Пьяный попутчик, тоже свернувший было в переулок, остановился и, пропустив приезжего вперед, последовал за ним тоже по шоссе. Приезжий заметил это. Ему и раньше казалось подозрительным, что этот пьяница не отстает от него, но раньше встречались прохожие, пахло жильем, а теперь уже никто не появлялся из тумана, никаким звуком не нарушалась тишина, и туча в небе неуклонно продолжала свое черное дело, заволакивая землю в мрак и сокращая расстояние, на котором человек мог различить человека. Еще минута ходу по шоссе, и конец человечьим жилищам: дубовая роща и сосняк до самого залива.

Приезжий переложил на всякий случай револьвер из брюк в карман пальто. Он не то, что трусил, но ему совсем не хотелось погибать от руки

случайного хулигана, который тут — не как в поезде — мог напасть неожиданно и сзади и отомстить за взбучку в вагоне. Оглянувшись, он убедился, что пьяный, все так же бормоча и уркая, шел вслед за ним упорно и непреклонно, значит, либо не заметил револьвера, либо не испугался его.

Садовая ограда кончилась. Вдоль канавы влево вела тропа. Приезжий с детства помнил, что этот путь и после дождей достаточно сух. Он свернул сюда, ускоряя шаг: он хотел поскорее выбраться из вновь сгустившейся здесь тьмы на открытую, светлеющую впереди поляну. Дом приятеля — через ту поляну налево.

Вася не отставал. Это непонятное преследование невольно беспокоило приезжего — неприятнейшее ощущение свербило его спину, словно под лопатку ему уже вонзился нож. Дачи спрятались вглубь обширного сада, подальше от забора. Да и кто выскочит на крик о помощи, если б и услышал? Каждому дорога своя жизнь.

— Чорт знает,— проворчал приезжий и остановился, чтоб пропустить пьяного вперед. Тень раскорячившего голые ветви старого дуба таила его. Было тихо на земле и в небе. Казалось, только два живых существа остались в этом ночном мраке — вот этот приезжий в мягкой шляпе да идущий за ними по пятам Вася. Все умерло, и никто не помешает одному человеку убить другого.

Вася, бурча что-то ему одному слышное, прошел вперед, не заметив неожиданного маневра, употребленного приезжим. Приезжий двинулся за ним вселд. И вдруг, на полпути к поляне, Вася остановился, вздрогнув, и обернулся так быстро и внезапно, что приезжий чуть не наскочил на него.

— Ну-ка, проходи вперед,— проговорил Вася.

— Сам проходи,— отвечал приезжий и перехватил чемоданчик из правой в левую руку.

— Боишься? — ехидно осведомился Вася.

— А ты не боишься? — сказал приезжий.— Ну, живо. Ступай.

— А вот не пойду,— заявил Вася.— Мне тут стоять нравится. Приятно мне тут стоять.

— У меня револьвер, — отвечал приезжий. — Застрелю, как собаку. Говорят тебе...

— А-а-а! — перебил Вася. — Бандит, сволочь! (он в несколько секунд выпустил множество разнообразнейших ругательств). Не боюсь я твоей пули! Шляпа!

Приезжий сунул было руку за револьвером, но усумнился: не стрелять же, правда? Лучше, как в поезде.

— Застрелю,— сказал он и обрадовался, увидев, что собеседник подался слегка назад.— Если сейчас же ты...

Он потянул из кармана револьвер, но это движение неожиданно прервалось: лицо приезжего сморщилось, и он оглушительно чихнул. В следующий момент он, выронив чемоданчик, нелепо взмахнул левой рукой и боком повалился на земь, а его правая рука, судорожно выдернув из кармана пальто револьвер, тут же выпустила его из обессиленных пальцев. То мгновение, в

которое он занят был чиханьем, оказалось вполне достаточным для Васи, чтобы, выхватив из кармана неполную бутылку водки, ударить приезжего по голове.

Совершив это, Вася проговорил злобно, отступив на шаг и еще сжимая горлышко разбившейся бутылки:

— А ну-ка, сволочь!..

Он ждал, что противник вскочит сейчас и накинется на него. Но приезжий не шевелился. Он лежал неподвижно, в неудобной позе, с подвернутой под живот правой рукой и странно раскинутыми ногами.

— Что ж это Вася? — сам себя спросил пьяный, трезвея, и горлышко бутылки выпало из его пальцев.— Убил, что ли?

Он не раз ввязывался в драки. Сегодняшняя драка от прежних отличалась тем, что произошла она не публично, а в укромном месте, да еще тем,— и это самое главное, — что удар был нанесен в полную силу: васины мускулы помнили еще этот неосторожный, никак не сдерживаемый, а напротив, усиленный размахом всего тела удар.

Вася нагнулся, но руки его вдруг ослабли, и неопределенный страх помешал ему дотронуться до опрокинутого им в грязь человека. А вдруг он, действительно, на смерть разбил незнакомцу голову? Чтоб скрыть от себя жуткое чувство, он подобрал револьвер и сунул его к себе в карман — этим жестом он хотел внушить себе, что наклонился только для того, чтобы взять револьвер. И вдруг он стремглав пустился прочь через канаву, в дубовую рощу: ему показалось, что из тумана, в котором затаилась тропа, возникает фигура прохожего. Шурша торопливыми ногами по сырым, полуистлевшим листьям, он переживал все один и тот же момент — как он размахнулся и ударил человека по черепу.

«Ей-богу, убил»,— подумал он, выбравшись на шоссе, и зашагал по направлению к станции.

Мозг его призывал на помощь судебные отчеты в газетах, какие-то оправдания: «самозащита», «сам не понимаю», «в пьяном виде», «проливал кровь» и мало ли еще что. Но чем большее расстояние ложилось между ним и тем, кого он поверг на землю, тем поступок его казался ему нереальней и фантастичней. И, наконец, он уже не сомневался в том, что ничего не случилось. Все же он не решался продолжать путь, вернуться на тропу, где тело незнакомца, как будто каждый шаг назад возвращал бы ему прежний страх. Вася двинулся налево от шоссе, туда, где в глубине виднелась небольшая дачка. Там жила его Наденька.

III

Филипп Филиппович проснулся, как всегда, рано, но встал не сразу — сегодня воскресенье, торопиться нечего.

Пробуждения его были всегда приятны, и сегодня мир тоже казался ему прекрасным, даже этот серевший за окнами осенний мир, осыпанный желто-красными листьями, насыщенный дождевой влагой, — мир, в котором нога

не могла найти сухого места. Но еще месяц-полтора — и выпадет первый снег. Зима наметет на землю аршинные пласты, оледенит залив и реку, и тогда лыжи, коньки, буер к услугам Филиппа Филипповича. Филипп Филиппович здешнюю зиму любил больше лета: воздух такой, что тело здоровеет с каждым вздохом, и белый, успокаивающий цвет на земле, и тишина, и дачников нету. Хорошо!

Но тут вчерашнее воскресло в его мозгу.

Вчера поздно вечером стук в окно поднял его с кровати. Какой-то человек спрашивал Васю. Филипп Филиппович хотел было уже рассердиться, но человек назвал свою фамилию. Эта фамилия недавно стала известна Филиппу Филипповичу. Филипп Филиппович впустил человека.

Человек вошел. Он обладал плотным приземистым телом. Его мягкая шляпа была сбита на темя. Человек потирал левый висок пальцами. Он об'яснил, что только-что по дороге со станции на него напал какой-то хулиган и ударил его по голове бутылкой.

— Бумажник оставил, а револьвер взял,— повторял человек.— Даже чемоданчика не украл. Странно.

Он причмокивал губами с досадой, как будто потерял еще что-то, более ценное, чем револьвер. Родные места неприветливо встретили его. Голова у него, видимо, болела.

— Если б не шляпа — убил бы,— говорил он.

Филипп Филиппович предложил гостю ужин и постель. Гость извинялся, благодарил и отказывался от доктора. Он обвязал себе голову мокрым полотенцем.

Вспомнив все это, Филипп Филиппович пробормотал:— Э-хе-хе,— и радостное настроение, с которым он открыл глаза, исчезло.

Филипп Филиппович нажал кнопку электрического звонка, и низенькая старушка выглянула из кухни. Это была вдова, хозяйка дачи.

— Проснулись уже? Сейчас завтрак дам, сейчас.

Филипп Филиппович снимал весь низ дачи, он оклеил стены новыми обоями, провел электричество, установил радио-приемник, обставил комнаты необходимой мебелью. Но весной к старушке приехал из провинции сын, и с той поры Филипп Филиппович стал подумывать о переезде и уже присматривался к другим помещениям. Он вдруг заметил, что живет далековато от завода, в сыром месте, и недоумевал, как это он так поспешил с выбором жилища. Раньше эта дача нравилась ему тем, что она — на отлете, в стороне от шума и криков пригородного центра.

Старушка принесла ему завтрак — кофе в граненом стакане, глазунью в три яйца, пузырившуюся на сковородке, французскую булку, разрезанную вдоль и густо намазанную маслом. Поднос со всем этим она поставила на круглый столик у изголовья кровати.

— Что сынок-то сегодня тихий?— сказал Филипп Филиппович, поворачиваясь на бок, и приподнялся, локтем опершись о подушку. — Что-то не слышно его. Не вернулся, должно быть?

Старушка вздохнула, но ничего не ответила. Лицо у нее сегодня такое, словно она ничего не слышит и не видит вокруг, а занята некоей заботой, о которой надо молчать.

— Все не слава богу,— промолвила она, наконец.— Не вернулся.

И она тихо поплыла к выходу. Ее кофта, юбка, передник — того же цвета, что и волосы, она казалась вся, с головы до ног, седой.

Кончив завтракать, Филипп Филиппович вздохнул и, откинув кирпичное одеяло, спустил мохнатые ноги с кровати, сунул их в рыжие сандалии и встал. Натянул штаны и пошел в кухню умываться. Мылся он долго, бодря холодной водой тело. Потом стал одеваться. Одевался медленно. Брился. Долго причесывался перед зеркальным шкапом и завязывал галстух. Шкап — светлого дуба. В комнате вообще много было желтого и белого, начиная с обоев: Филипп Филиппович любил светлые тона, хотя сам и волосами, и глазами, и цветом кожи был темен, может быть, именно потому, что сам был темен.

Филипп Филиппович казался выше, чем это было на самом деле, потому что он держался всегда прямо, высоко подняв голову и расправив плечи. Ему втайне нравилось его лицо — с резкими очертаниями бровей, небольшого прямого носа, маленького рта. Ничего расплывчатого, неопределенного — все собрано воедино и обнаруживает немалую силу характера. В повадках своих и в одежде Филипп Филиппович отличался некоторой щеголеватостью, которая легко переходила как в высокомерие, так и в обворожительную любезность. Филипп Филиппович нравился женщинам, и у него в жизни было немало любовных историй.

Покончив, наконец, со своим гороховым галстуком, он со злобой взглянул на непросыхающую землю за окном.

«Как можно скорей переехать надо,— подумал он.— Вот и все».

Затем он приоткрыл дверь в соседнюю комнату. Гость уже не спал.

— Ну, как сегодня? — спросил Филипп Филиппович, и лицо его просветлело.

— Плоховато,— отвечал гость.— Но ничего в общем. Вы уж разрешите — я полежу еще?

— Пожалуйста. Я попрошу, чтоб вам завтрак дали. Устроить вам компресс на голову? Вчерашний помог?

— Спасибо. Вы уж простите меня. А Васи все нет?

Затем Филипп Филиппович отправился погулять — воскресная утренняя прогулка вошла у него в привычку.

Прямо перед дачей, шагах в ста с лишним,— река. Река стремила черные и бурливые от налетающего ветра воды в залив. Филипп Филиппович направился к валу, сопутствуя течению реки. Его ноги действовали сами, несли его, как лошадь везет телегу со спящим мужиком по привычному пути. Но Филипп Филиппович не спал. Пока ноги его обходили лужи, и вот, наконец, перепрыгнув канаву, вступили на вал,— голова думала.

Филипп Филиппович нес свою голову высоко и гордо, как нечто весьма драгоценное и важное. Он считал себя умным и принципиальным человеком.

Это потому, что одни только профессиональные заботы не удовлетворяли его, как некоторых других. Он не мог жить без общей руководящей идеи. И если какая-нибудь мысль возникала в его мозгу, то он не впадал от нее в отчаяние, не старался заглушить ее или выбить из головы каким угодно способом, как чужеродное тело или занозу, а, напротив того, начинал рассматривать ее со всех сторон, и если соглашался с ее правильностью, то старался ставить ее в руководство своим поступкам и принимал за нее всю ответственность. Этим он отличался от многих, предпочитающих подчинять свою жизнь более или менее случайным эмоциям. Филипп Филиппович гордился этим своим свойством и тем, что некая идея, как полагал он,— а не простая экономическая необходимость,— осмысливала его жизнь и работу.

Филипп Филиппович строго шагал по валу, над канавой, полной грязной воды.

Солнце пробивалось сквозь жирные массы облаков, но не могло растопить их. Небо было перегружено облаками, неподвижными, тяжелыми, упорными. Но все же чувствовалось, что дело идет уже к полудню. Филипп Филиппович достиг конца вала, послушал залив и повернул обратно. Он решил пройти на станцию, чтобы купить какой-нибудь журнальчик — газету ему доставляли на дом. Вернулся он во втором часу, когда чад уже проникал с кухни.

Старушку замучила тайная забота. Она должна была ее высказать кому-нибудь, чтоб хоть немного успокоиться. Только одна жена мастера Грошева, соседа, охотно выслушала бы ее жалобы, поняла бы ее, утешила.

Пойти к Грошевой можно было только после обеда. И старушка на этот раз наварила и нажарила к двум часам — на час с лишним раньше, чем следовало.

К обеду гость встал.

Старушка кончила суп и жаркое, а чаю и пить не стала — Грошева угостит. Повязав платком голову, она попросила Филиппа Филипповича запереть за ней дверь и шмыгнула с заднего крыльца в сад.

Филипп Филиппович держался с гостем так, как вообще привык держать себя с малознакомыми людьми: вполне независимо и корректно.

Гость не хотел оставаться на обед. Гостя беспокоило, что он почему-то живет у незнакомого инженера. Но Филипп Филиппович уговорил гостя. Он затеял разговор о заводских делах. Это было в его привычках — начинать знакомство с такими людьми, как этот гость, с деловых отношений. Гость остался.

Стук в окно прервал их беседу.

Филипп Филиппович вышел на террасу и впустил молодую женщину в желтом макинтоше и полосатой кепке, худощавую, с длинноватым, освещенным зеленоватыми глазами лицом.

— Простите, Филипп Филиппович, — сказала она. — Я к Прасковье Ивановне.

— Прасковьи Ивановны нету дома,— отвечал Филипп Филиппович, распрямляя плечи и с удовольствием оглядывая гостью. Он почти ежедневно

встречался с ней на работе, и она нравилась ему. Служила она в заводской конторе.— Нету дома,— продолжал он, с особым щегольством выговаривая слова. — Посидите, подождите, — предложил он и подумал, что у этой женщины удивительно красивый маленький рот. — Присаживайтесь, Наденька.

Все на заводе называли ее Наденькой. Фамилия ее была Свенсон. Эта фамилия обнаруживала как будто нерусское происхождение. Но ею просто наградил ее покойный муж, выходец из Норвегии.

— Скиньте макинтош, будьте, как дома,— приглашал Филипп Филиппович.—Познакомьтесь, Виктор Назарьевич Маклецов, наш будущий работник (он сознательно не сказал — «директор»).

Наденька подала Маклецову руку, но макинтош не снимала. Она находилась в некотором раздумьи, даже растерянности, и словно не знала, как ей быть сейчас.

— Вам, я вижу, очень нужна Прасковья Ивановна,— промолвил Филипп Филиппович.

— Очень нужна! — воскликнула Наденька.— Очень! Вы простите, Филипп Филиппович... Ее сын...

И она оборвалась, покраснев.

— Что ее сын? — спросил Филипп Филиппович, и лицо его потемнело.

— Вы простите... он буянит у меня... я думала...

— Пьян?

— Пьян.

— Прасковья Ивановна у Грошевых,— сказал Филипп Филиппович.— Грошев тут больше поможет, чем я.

— Да я и не думала, что вы...

И Наденька двинулась к двери.

Филипп Филиппович уже улыбался.

— Как это он попал к вам? — удивлялся он, словно ничего не понимая.— В окно забрался, что ли? Это ему ничего не стоит.

— Он — мой муж,— ответила Наденька решительно и даже с некоторым вызовом.— До свиданья, Филипп Филиппович.

И ушла.

Филипп Филиппович развел руками.

— Не ожидал. Красивая девушка... Вот, пойми после этого... Не верил...

Он осекся, вспомнив, что Вася — друг его гостя.

Тот спросил, нахмурившись:

— Что, много пьет Вася? Я пятнадцать лет не видал его. Вы расскажите мне о нем, пожалуйста...

— Вы сами увидите,— кратко отвечал Филипп Филиппович.— Я судить не берусь.

Он, вынув из буфета бутылку вина, откупорил ее и наполнил два бокала. Ему представлялось унизительным ругать Васю. Вася не стоит того, чтоб гость заподозрел Филиппа Филипповича в наговоре. Филипп Филиппович был очень щепетильный человек.

Он хлебнул вина. Лицо его, в серых тенях тускнеющего дня, было цвета неба за окном.

В это время Вася приближался к дому. Вася не решился войти к себе с террасы, через квартиру инженера, и он направился к заднему крыльцу. То, что он — в который уже раз — струсил, еще более озлило его.

Он ненавидел Филиппа Филипповича. Ничего он не имел против инженеров, которые и поболтать любят, и выпить, но таких надутых, как Филипп Филиппович, он терпеть не мог. Такие не посидят с Васей в пивной, не послушают его кубанских историй. Таким с Васей неинтересно. Такие о чем-то все думают и чем-то гордятся. Зачем такие и на свете живут?

Вася выкрикнул очередную брань под окнами Филиппа Филипповича.

— Сынок идет,— усмехнулся инженер.

Маклецов подошел к окну и, отодвинув кружевную занавеску, с любопытством глянул в сад. Он увидел остролицего тощего человека, который, шатаясь, шагал по лужам. Так вот кто товарищ его детских игр?!

Он обернулся к Филиппу Филипповичу.

— Это — вчерашний,— сказал он.

— Я так и знал,— отвечал инженер и хотел отворять Васе дверь.

Увидев Филиппа Филипповича, Вася заболтал:

— А! Честь имею господину инженеру! За кем нам итти, как не за вами!

Маклецов показался за инженером.

— Здравствуй, Вася,— сказал он.

Вася обалдело взглянул на него.

А старушка, мать васина, жаловалась в это время соседке, прихлебывая чай, — она пила уже третий стакан:

— Хорош он у меня, что свинья в дождь. Покойник Иван Егорыч копил-копил, а он все — в кабак. Поверишь ли, Федосьюшка, все у меня, у старухи, отымает. Ох, стыды-головушка! Глаза бы мои не видели. Между окна наливка у меня, у старухи, припасена лежала — выпил. Хожу, что слон, не знаю, откуда и напасть такая. Иван Егорыч, покойник, смирный был. А он думает — дача есть, так уж и кум королю.

— Ох! — сочувственно отвечала Федосья.

— И ведь радовался бы другой, что такая барышня полюбила — Надежда Сергевна,— продолжала старушка.— Такая миловидная косточка в ней есть! Прелести! А он, ягнячья мать, аракуль ей пропил, галоши белые спустил, а ведь сама-то, она рез в обрез живет. И такой настойчиватый! Слова ему не скажи! Как крикнет — так дух вон и лапти кверху! Этакая страсть, да к ночи, так набегаешься. И всех бранит. До людей не дойдет, а людей корит.

— Десять лет в котле варились, и все сыростью пахнет,— подал голос сам Грошев.

— Правда твоя, мастер-кепка,— поддержала старушка ласково.— Сырой народ, серый. А мой уж, помяни слово, останется он не при чем торговать кирпичом. Хоть бы смерть взяла его — глаза бы мои забыли. Это я так говорю, как живой про живого — тут же пояснила она. — А то живет

на горке, а хлеба ни корки. Только возьмется за ум — стругать или другое что работать, и опять двадцать пять! — в кабак. Только на гору, а чорт за ногу. А я уж с него денег и не спрошу. Только б остепенился. При пустой ограде — и тому рады.

— Это уж да,— отозвалась Федосья сочувственно.

— Все-то он сам себе напортит, все-то нагадит,—плакалась старушка.— Инженер — уж такой вежливый господин, образованный господин, все бы сделал ему, — так нет! И гражданин новый, начальство-то вам...

Тут старушка вдруг оборвала себя, и лицо ее сразу стало неподвижным и замкнутым. Тайная забота должна была остаться невысказанной. Ей прямо жутко было подумать, что это Вася вчера напал на Маклецова, единственную свою надежду убил.

Она вздохнула, промолвив:

— А все скажу: у матери сердце в детях, а у детей — в камне.

IV

Наденька с детства привыкла к тому, что все ее любят, заботятся о ней, и что вообще она — в центре внимания. И вдруг она лишилась всего. Ее отец, состоятельный адвокат, переселился в пригород к сестре и вскоре, не выдержав голода, умер. Мать последовала за ним. Наденьке удалось поступить на службу.

Наденька бессознательно стремилась к тому, чтоб все, что сейчас пугало ее, показалось ей иным и прекрасным. Она теряла все прежние привычки и, наконец, уступила ухаживаниям матери Свенсона. Свенсон умер прошлой зимой. После него, человека пожилого, скучного и смирного, Вася представился ей этаким героем — смелым, сильным и веселым. Она сошлась с ним, но почему-то была довольна при этом, что сразу же условилась жить с ним розно.

В первые же дни она ужаснулась тому, что совершила. Она прогнала Васю, но тот вернулся к ней, как ни в чем не бывало. Она вновь прогнала. Он вновь вернулся. Это становилось похоже на опасную игру медведя с бревном. Чем яростнее она гнала его от себя, тем более убеждался Вася, что все обстоит благополучно, и что она влюблена в него. Должно быть, он представлял себе семейное счастье в виде сплошного, оглушительного скандала. Он не мог понять, что она всерьез гонит его. Он считал, что это она кокетничает. Он являлся к ней за деньгами, за вещами, и отчаяние стало охватывать Наденьку. Она накликала на себя беду. Она никак не могла отделаться от Васи. И самое худшее то, что Вася везде хвастался ею, и все уверены были. что она — его жена, и что в семейные дрязги посторонним лучше не вмешиваться. Никто не придет на помощь. А тут требовался мужчина, чтоб окончательно отшить Васю. У нее самой недоставало на это сил. Она не очень умела быть яростной.

В последнее время Наденька заметила, что Филипп Филиппович по-особенному приглядывается к ней. В ее жизни вновь появилась надежда.

Наденька, выйдя от Филиппа Филипповича, не пошла к Грошевым, она понимала, что кинулась за помощью именно к Филиппу Филипповичу. Но зачем тогда она с такой гордостью назвала Васю своим мужем? Теперь все конечно. Филипп Филиппович, может быть, до ее слов не знал этого или не верил. Теперь он презирает ее. А разве не презирал бы он ее, все равно, если б она плакала и жаловалась? И тут Наденька наткнулась на основное свое сомнение: примет ли ее вообще такой человек, как Филипп Филиппович, после Васи?

Наденька, сжав губы, деловой какой-то походкой, шлепая по лужам и не замечая этого, слепым шагом шла домой, чувствуя, что нет у нее в жизни ничего, кроме службы. Ей мучительно хотелось, чтоб кто-нибудь утешил и приласкал ее. И когда Вася окликнул ее, она с такой нежностью подняла на него глаза, с какой давно уже не глядела.

Но Вася окликнул ее только за тем, чтоб, схватив ее за руки с той силой, которая однажды покорила ее, спросить злобно:

— К инженеру шлялась? Чуть что — так к инженеру? Стерва! Раскусили! Обоих убью! А ты, гадюка, мне и вовсе не нужна!

И он отбросил ее так, что она чуть не упала. Мгновенно нежность заменилась в ней ненавистью. И этого человека она назвала только что мужем!

Наденька медленно двинулась вслед за Васей.

Теперь уже ее не занимали мысли о том, как и кто примет ее. Вдруг она ощутила себя вполне самостоятельной женщиной. Она имеет работу, у нее есть точное место в жизни. По-новому увидела она свою скромную должность на заводе. Она имеет право на жизнь со всеми ее ошибками, но больше ошибаться не будет!

Она не знала еще, как она поступит с Васей, знала только, что она постарается убрать его, окончательно выкинуть из своей жизни — с тем отсутствием жалости, на какое способна только решившаяся на что-нибудь женщина. Она была уверена, что если сейчас вот не придумать что-нибудь, то Вася заявится к ней снова, как ни в чем не бывало. Наденька не торопилась. Вася был уже у Филиппа Филипповича в комнате, когда она подошла к даче.

Маклецов говорил:

— Отдай револьвер.

Вася сунул руку в карман, чтоб покорно вернуть ненужное ему оружие. Вид у него был, как у побитого. А Маклецов уже вполне владел собой. Он загнал вглубь вчерашние сентиментальные мысли. Лицо его носило выражение деловитое и чуть насмешливое. Прежде всего надо было обезоружить Васю, а затем говорить об остальном. Этот приземистый человек казался Филиппу Филипповичу совсем не тем, к которому инженер уже успел привыкнуть. И этот второй Маклецов почему-то больше нравился инженеру. В то же время Филипп Филиппович ощущал неожиданную странную жалость к Васе, который бормотал в растерянности:

— Да я ж вчера просто домой шел, а ты на меня...

Дверь с террасы скрипнула, Вася обернулся на скрип и увидел Наденьку. Та так взгляняла на него, что Вася на этот раз понял: она пришла, чтоб прикончить его. Как прикончить — неизвестно, но, во всяком случае, нельзя дать ей и слово сказать. Все против него: и друг детства, и этот инженер, и даже жена. И в мозгу васином впервые мелькнула ясная мысль: ему не выправиться больше, он — человек пропащий и сам виноват в этом. Он никогда не станет главным человеком! Он погиб!

Эта мысль вз'ярила его. Он не мог согласиться с ней. Вздор!

— А я еще тебе рогатку подарил! — воскликнул он и, выдернув из кармана револьвер, навел дуло на Маклецова.— Шалишь! А ну-ка!

— Ни с места! — приказывал Вася новым радостным и властным голосом... — Стой! — стрелять буду.

Вася отступал к стене, чтобы никто не мог зайти сзади.

Прижавшись к стене, он зорко следил за противниками, соображая, как бы ему выбраться отсюда. Пробираться к дверям — долго и хлопотно. А эти два человека не из трусливых. Он начал придвигаться боком к окну.

Филипп Филиппович и Маклецов, не сговариваясь, оба стерегли то мгновение, когда васино внимание неизбежно отвлечется на миг подготовкой к прыжку в окно. Этого же момента ждал и Вася, чтоб выстрелить в инженера перед бегством. Именно инженера он решил убить тут прежде всего. Может быть, он первой наметил бы неподвижную, вдруг побледневшую Наденьку, если б инженер не загораживал ее.

Васина поясница уже ощутила подоконник. Сунув левую руку за спину, он нащупал шпингалет, повернул и толкнул створки окна. Ветер дунул ему в спину, колыхнув волосы на голове. Он уже поставил ногу на подоконник, в полуоборота повернувшись к врагам и грозя револьвером. Еще секунда — выстрел, и он выпрыгнет в сад. Мелкий дождь сыпал ему в спину и холодил тело.

«Даже ватника нет,— мелькнуло в васином мозгу. И вообще, куда он пойдет? где поест? где спать будет? А какие вкусные щи готовит старуха! Какая теплая постель у Наденьки!» И он, окончательно отрезвев, ужаснулся тому, что натворил.

Он снял ногу с подоконника, бросил револьвер на пол и проговорил, бессмысленно и жалко улыбнувшись:

— Извиняюсь.

Добрый крестьянин

(Рассказ)

Сергей Малашкин

Собрание должно было состояться нынче утром возле общественного пожарного сарая. Модест Винорович Шатилов решил побывать на этом собрании: его чрезвычайно волновала раскладка налога, а больше всего — настроение мужиков сельца Криволучья.

Модест Винорович принадлежал к громкой дворянской фамилии, обедневшей за четверть века до революции. Дом Шатиловых раскололся на четыре самостоятельных домика, а четыреста двадцать гектаров земли были разрезаны на пять равных частей и распределены между тремя братьями — Модестом, Ораклом и Феоктистом и двумя сестрами — Софией и Катей, еще девушками. Небольшой одноэтажный прадедовский дом достался сестрам. Рига, с давно полусгнившей кровлей, молотилка и старый запущенный сад, обложенный еще предками каменной оградой, теперь обвалившейся местами остались в общем пользовании.

Братья Шатиловы задолго до революции опустились, окулачились, приняли облик богатых мужичков. В своем быту они нисколько не отличались от провинциальных мещан, мелких торговцев: детей дальше церковно-приходской школы не учили, с крупными помещиками не знались, с богатыми мужиками тоже; крупные дворяне не приглашали их, а с мужиками и мещанами было не к лицу им, дворянам, водиться. Дворянством своим Шатиловы, однако ж, чрезмерно кичились.

Братья одевались по-мужицки, правда, более опрятно, чем большинство крестьян: в суконные сборчатые поддевки, пиджаки, сшитые по провинциальному покрою, в талию и с хлястиками на спинах. Сестры же, наоборот, наряжались по-городскому: в ужасно гремящие платья, в соломенные шляпы с яркими лентами и держались всегда важно, с чопорным достоинством, подражая богатым дворянам-соседям и губернскому городу, перенимавшему моды и обычаи от столицы.

В маленьких домиках, ничем не отличавшихся от изб зажиточных мужиков и мещан, было душно, опрятно и торжественно: на растворчатых окнах сверкали сквозной белизной тюлевые занавески, стояли горшки с геранями, фикусами и яркой гвоздикой; в затененных занавесками и цветами зальц-

цах выстроились вдоль стен грубые стулья и табуретки, выкрашенные охрой, такого же обличия комоды со множеством обшарпанных ящиков; на комодах, в чинном порядке и великолепии громоздились зеркала и разные фарфоровые безделушки, доставшиеся от предков и пожелтевшие от времени. В остальных комнатах, еще более душных и темных, тяжеловесные деревяные кровати почти до самого потолка вздымались жаркими перинами, белоснежными горами подушек с красными вышивками на середине — сердечками. Под потолками, как и в мужицких избах, апатично гудели мухи и густо, точно отсыревший горох, постукивали по потолкам. Пахло черных хлебным духом и парным молоком.

Братья Шатиловы излишки земли сдавали мужикам Криволучья. Сестры отдавали всю землю мужикам и получаемые за аренду деньги отвозили в город, в сберегательную кассу. Скучая от праздной жизни и ожидания женихов, они полнели, старели и дурнели. Но благордных женихов не было — брезговали омужичившимися «барышнями». Зарясь на землю — на приданное, как голодные собаки на кость, сватались богатые мужики, прасолы и уездные мещане. Девушки с пренебрежением отказывали женихам мещанам и просолам, оскорблялись, а «обнаглевших» мужиков, жадных до земли, не принимали в дом, грубо оговаривали на улице и приказывали кухарке гнать метелкой со двора.

Братья Шатиловы часто пьянствовали, цинично ругались, в торжественные и престольные праздники от тоски и жадности дрались между собой и били друг у друга стекла.

Так они жили до революции, постепенно теряя облик дворянства, но все еще чванились своим происхождением и славными предками, угнетая и обманывая всеми доступными средствами малоземельных мужиков. Мужики Криволучья за глаза ненавидели их, глубоко презирали, а в глаза, когда шли снимать землю или «за облегчением нужды», скидавали картузы и, держа их перед собой и прижимая к грудям, низко, подобострастно кланялись, величая «батюшками», «милостивцами», «сударями», а то и просто «барчуками». Шатиловы при виде низкопоклонства и лести вели себя грубее, заносчивее.

Революция свалилась на дворян Шатиловых неожиданно, жестоко, и благополучие их под ее тяжестью треснуло, рассыпалось, как глиняный горшок, мелкими черепками: «низкопоклонные» мужики, не кланяясь больше, дерзко и деловито отобрали землю, усадьбу и сад, выселив их за околицу, на окраину сельца Криволучья. С этого дня братья Шатиловы совсем омужичились, получив от мужиков «законные» наделы, как милость.

Шатиловы с трудом пережили тяжелые годы гражданской войны, пуская в ход все свои старые привычки и навыки, воспринятые от мещан и прасолов.

В годы затишья и строительства республики они поотживели, оправились и снова ударились в разные коммерческие дела, конкурируя с местными маклаками. Братья Шатиловы, как и все богатеи, снимали у безлошадных землю, обрабатывали за половину урожая и при этом эксплоатировали вдов и безлошадников, заставляя их работать за себя на полях, на лугах и гумнах. Скупали за бесценок скотину, перекупали хлеб, яйца и все то, что было вы-

годно, давало солидные барыши, увертываясь от налогов и подделываясь к обществу.

И братья Шатиловы установившейся жизнью и порядками существующего режима были довольны и ни на что до нынешней весны не жаловались, благодаря связям с местными властями, имели даже некоторую надежду на отвоевание обратно сада и усадьбы...

Но последняя весна, весна 1929 года, злополучная во всех отношениях для братьев Шатиловых, испортила все их благодушное настроение, пригнула к земле, повеяла на них дыханием первых лет революции, заставила насторожиться и на все смотреть подозрительными глазами. Неужели большевики опять поворачивают назад? Неужели большевики вздумали уничтожить «нэп?» Так рассуждали братья Шатиловы, с тоской поглядывая друг на друга.

До весны 1929 года дела у Шатиловых были прекрасны... Никто их не тревожил, никто не беспокоил, власти уездные не заезжали в сельцо Криволучье, так как оно состояло всего из 36 домохозяев, партийцев и комсомольцев в нем не было, красноармейцев также, а с местными властями жили «на дружеской ноге».

Как будто нарочно, чтобы его не замечали уездные власти, Криволучье притаилось в сырой низине, упираясь грязными каменными дворами и жирными огородами, засеянными черной коноплей и ярко-желтыми цветущими подсолнухами, в спокойно-дремотную речку Птань. Избы и надворные постройки, золотясь соломенными хребтами крыш, утопали в густой тенистой зелени столетних лозин и берез, с вершин которых неугомонно сыпался грачиный крик и нарушал тишину деревни.

Недалеко от деревни, в полкилометре, на бархатно-зеленом холме, обильно заросшем белой кашкой и синими колокольчиками, возвышался и умиротворенно гудел сад братьев Шатиловых, теперь общественный. По ту сторону сада, за околицей, были нарезаны новые усадьбы, и на этих усадьбах вырастали, как игрушки, каменные и деревянные постройки, зеленея молодыми деревцами. Чтобы попасть на деревню, нужно было пройти через бывшую усадьбу Шатиловых и через весь сад. Другого пути не было: слева крутой, изжелта-белый берег реки Птань, а справа огромная низина, болотистая на дне, заросшая острой, сизой осокой и непроходимая. Через сад исстари лежала дорога, и за эту дорогу мужики Криволучья скашивали бесплатно Шатиловым заливные луга.

После революции мужики оправились, жили хорошо, а некоторые, благодаря обилию земли, отнятой от Шатиловых, даже богато и все время «воевали» с Шатиловым из-за бедняцкой земли. Шатиловы, несмотря на конкуренцию, «соседили» с богатыми мужиками дружно, да и бедноту старались «ублажать» всевозможными подачками и милостями, чтоб она не показывала пальцем на них. Но беднота, как это впоследствии оказалось, все эти годы была себе на уме и все чего-то поджидала...

Впрочем, не беднота, не «недобрые крестьяне», как называли братья Шатиловы бедняков, а вдова Домовкова, жена красноармейца, погибшего на фронте гражданской войны, нарушила жизнь Шатиловых и других богатеев.

Случилось это нарушение весьма простым и до смешного странным образом: в сельцо Криволучье, бог знает откуда, нагрянул уполномоченный по хлебозаготовкам, созвал собрание граждан и произнес краткую, но весьма содержательную речь. На его содержательную речь мужики тоже ответили решительно, даже с некоторым пафосом внушительности. Бедняки искренно отозвались:

— У нас хлеба нет. Сами на иждивении.

Их ответ прозвучал как бы обидной иронией. Богачи, особенно братья Шатиловы, благословляя власть пролетарскую родительскими красотами, отрубили:

— Хлеба нет! Какой хлеб? Вы разве нам его сеяли?

Уполномоченный, получив такой ответ, растерялся и, видя внушительный напор богачей, взялся за брезентовый портфель и хотел попрощаться с мужичками Криволучья.

— Раз нет, то и мне тут делать нечего,— пробурчал он себе под нос.

Но бегству уполномоченного помешала вдова Домовкова и своим неожиданным вмешательством усадила его на прежнее место, как бы приковав к лавке.

Бледное, изможденное, но приятное лицо покрывалось красными, нервными пятнами.

— Товарищ уполномоченный,— произнесла Домовкова громким голосом, как бы находясь на собрании глухонемых,— а сколько с нас, с Криволучья, хлеба-то причитается?

— Хаа,—воскликнули мужики и от волнения, заколыхав черными и грязно-рыжими бородами, привскочили. — Да ты не хочешь ли внести, а?

— А может и внесу,— отозвалась разбитым голосом Домовкова.— И внесу. Вдова и безлошадница, а внесу. С нашей деревни полагается шесть тонн. Так вот я, товарищ уполномоченный, одна, как неимущая вдова-красноармейка, двадцать четвертей внесу... Остальные бедняки тоже внесут по стольку же... Вот, например, сват Захар внесет столько же... А кума Анисья...

— Ах, ты, сука...— взметнулись братья Шатиловы.

Домовкова не успела опомниться, как Модест Винорович подскочил к ней, крючковатыми пальцами вцепился в горло женщины, не ожидавшей нападения, и с силой, поддавая коленом в живот, выталкивал ее к двери.

Голова Домовковой закинулась назад. Розовый платок с белым горошком сбился на затылок. Лицо приняло иссера-лимонный цвет, васильковые глаза побледнели, налились смертельной тоской и засверкали ледяными блестками.

Мужики стояли в растерянном смущении, не зная, что делать.

Мужицкое оцепенение оборвал пронзительный крик десятилетнего ребенка: «Мама! Мама!», и он, проскочив сквозь толпу, бросился на спину Модеста Виноровича и, запустив пальцы в его жидкие, мышиного цвета волосы, впился зубами в его красную шею, испещренную мелкими складками и морщинами.

— Да, братцы, он, стерва, ее на самом деле задушит!— мужики пробудились от оцепенения.

Уполномоченный, маленький, щупленький человечек с быстро и виновато бегающими карими глазками, тоже пришел в себя и яростно застучал кулачком по столу. Его сжатые в кулачок пальцы звучали, как высохшие костяшки.

— За бедноту ответите по такой-то статье...

Домовкова, освободившись из цепких пальцев Модеста Винорович, долго растирала сдавленную шею, на которой пунцево рдели следы пальцев. Мальчик, вытирая окровавленное чужой кровью, испуганное, с застывшими зеленоватыми глазами лицо, затравленным зверьком прижимался к матери, обнимая ее талию.

Мужики поднесли Шатиловым несколько оплеух, Модест Винорович, прикладывая к шее, рассеченной зубами ребенка, носовой платок, густо запятнанный кровью, как бы осыпанный рдяными лепестками роз, злобно сплевывал:

— Щенок! Мерзкое отродье!

А когда наступил порядок и такая растерянная и глубокая тишина, в которой, как в болютной тине, потонули братья Шатиловы и другие богатеи, на смерть перепуганный уполномоченный растерянно и виновато обратился к Домовковой:

— Вы, позвольте спросить, гражданочка, пошутили?

Домовкова выпрямилась, гордо подошла к столу. Ее высокая и стройная фигура в ситцевом темном платье дышала красотой и свежестью. Мужики тревожно и испуганно глядели на нее, чувствуя на себе вину.

Домовкова, положив руку на край стола, боком повернулась к столу и, смотря своими васильковыми глазами на уполномоченного, сказала:

— Шутить я не собираюсь. Я внесу двести пудов. Внесут и другие. А теперь, товарищ уполномоченный, разрешите сделать вам замечание. Вы обязаны знать, что и в Криволучье мужики далеко не все враги советской власти. Вы должны были собрать раньше бедняков, а не братьев Шатиловых и Долматовых... А хлеб я внесу, хоть сейчас... А шутить я не умею, да у меня, товарищ, и время на шутки нету.

— А ты его, хлеб-то, сеяла?— прошипел мягко, но с ядом в голосе Игнат Долматов.— Что ж, раз сеяла, и богачка, то плати...— и он, улыбаясь в рыжую окладистую бороду, тяжко вздохнул и потупил крошечные глаза, затуманенные зеленоватой дымкой.— Что ж, это тебя, ябеда, свекор Сила настрекулил на чужое добро? Он ведь у нас на деревне ядовитее любого коммунька, начетчик и газетины почитывает... Удавить давно такого надо да всем миром...— пробормотал он еще тише.— Ну, вези, вези, раз наработала... Господь даст, отольются трудовые слезы... Эх, и жизнь только.

— Поискать, так, небось, и у тебя найдется не одна сотня,— стукнув по столу ладонью, горячо возразила Долматову Домовкова.— Товарищ уполномоченный, записывай: Ольга Домовкова, беднячка и вдова с тремя сиротами, отдает бесплатно двадцать четвертей. Фекла Сидоркина столько же.

Модест Винорович позеленел, сморщился, привскочил, а когда мужики сдержали его, он поднял руку и, чуть не плача, погрозил:

— Змея ты лютая и больше никто. Ты что же, своим хлебом распоряжаешься, а? Мало я тебя с твоими ублюдками кормил и ублажал, а? Где у тебя крест-то, а? Ежели ты, паскуда, его не имеешь, так с других не сдирай! Ах ты!...— И он угрожающе грохнул кулаком по столу и, не находя сочувствия, беспокойно и беспомощно опустился на скамейку.— Валяй, валяй, твоя взяла, нынче...

— А вы не грозите,— огрызнулась Домовкова. — Сам вы змей зеленый. Раз у меня в амбаре хлеб, значит мой! Не вы меня кормили, а я на вас, дармоедов, всю жизнь корпела, из хомута не выходила — кахряла.

Тут Домовкова, не обращая никакого внимания на шум и шипение богатеев, на рабкие, застенчивые протесты некоторых бедняков, обратилась с колючей иронией к беднякам:

— А ну, богачи, выкладывайте, сколько у кого лежит.

Бедняки-безлошадники, спрятавшие хлеб богатеев, сидели понуро, боялись смотреть на уполномоченного, а больше всего избегали глаз Домовковой. Глубоко надвинув на глаза картузы, они долго отнекивались и отмалчивались, но потом сознались, что, действительно, хлеб богачей находится у них и они его не задерживают, а весь до зерна выдадут.

— Да, господи, разве мы супротив своей власти! — истошно и искренно вскрикнул голубоглазый Захар, молодой мужик, потерявший руку на гражданском фронте. — Да у меня тоже лежит чужой ржи четвертей шастнадцать, а то и более. Привез это ко мне зимой Феоктист Модестович и говорит: «Захарушка у меня места нет, а у тебя пусто, да и гражданин ты смирный, а поэтому пусть она, рожь-то, до весны у тебя в амбаре полежит»... Да и ее, матушку, хоть сейчас...

— Как же это вы, Захар, решились помогать кулакам в борьбе с советской властью, а? — с горькой тоской и упреком полюбопытствовал уполномоченный. — Подумайте, вы ведь, товарищ Захар, идете против своей власти, пролетарской...

— Эх! — вздохнул с болью Захар. — Все это правда, скажу я тебе! Уж больно нужда-то большая, вот и об'егорили богатеи-то своими ласками да милостями. — Тут он с надсадным чувством вскрикнул: — Да что и говорить, товарищ наш дорогой и почтенный, до ЦИК'а-то далеко, а богачи-то под боком, вот они сидят!.. Понимаешь, почтенный товарищ, под боком, и выручают нашего брата... Да что ты нас пытаешь, раздорогой товарищ! Ты вот лучше опроси нашего сельского председателя, так он тебе все скажет... А раз власть воды в рот набрала и молчит, как бессловесная плотица, а нам разве больше всех надо! Эх, милый товарищ, да не скажи вот эта дура Домовкова, так мы вместе с нашей деревенской властью мимо тебя кроткими и безмолвными рыбками-пескариками и проплыли бы, не взмутив воды, а ты уехал бы без хлебушка, с носом... А баба-дура выболталась, а за эту ее болтовню-то богатеи пропишут ей раскузькину мать... Ээ, мать родная! —

и размахивая пустым рукавом пиджака, он резко замолчал и опустился на лавку.

Председатель совета промолчал, не нашел нужным ответить. Только остальная беднота поддержала выступление Захара, да еще середняки, облегченные от раскладки хлеба, вздохнули сочувственно.

Благодаря Домовковой и ее работе, в Криволучье, в девяти домах, было взято хлеба не шесть тонн, как это предполагалось, а около тридцати тонн.

Весь этот «грабеж», как выражались богатеи, он, Модест Винорович, не был в состоянии забыть и простить Домовковой: чрезмерно была велика обида и глубока рана, нанесенная этой бабой. Выйдя на улицу и вспомнив еще ярче злополучную весну, Домовкову и Захара, поддержавшего Домовкову, Модест Винорович побледнел и согнулся. Направляясь через сад к деревне, он уже больше не думал о саде, как тогда весной, когда сад цвел белорозовыми цветами нежно благоухал, торжественно гудел с низу и до самого верху золотистыми пчелами. Сейчас он не замечал сада, а торопился на собрание уполномоченных деревень по раскладке налога.

Встречаясь с хмурыми мужиками, он почтительно и заискивающе раскланивался, вздыхая и грустно говорил, как бы спрашивая: — А нынче, говорят, здорово нас налогом-то шарахнут? — Мужики сосредоточенно отмалчивались и, надвигая глубже картузы, проходили мимо него.

У пожарного сарая, покрытого свежей золотистой соломой, собрание было в полном разгаре. Стояли шум и гвалт. То-и-дело раздавались родительские слова по адресу советской власти, почти беспрерывно гремел грохот смеха и перекатывался над площадью подобно весеннему грому, особенно в те минуты, когда уполномоченные крестьяне «подгоняли» некоторые хозяйства под «неслыханные индивидуальные обложения».

— Вы что же, товарищи, живьем ободрать хотите? Да разве это власть, растуды... Да мы до самого Калинина... Эх, грабьте!... грабьте!.. — так возражали облагаемые индивидуально и, гремя яловочными, как бы чугунными сапогами, грузно отходили от стола, размахивая руками.

Председатель налоговой комиссии, чистый, опрятный крестьянин, с хорошо расчесанной русой бородой, деловито спрашивал у граждан, сидевших сосредоточенно, с полным глубокомыслием на лицах, пока еще не дошла очередь обложения до их хозяйств:

— Как вы думаете, заплатят?

— Да разве можно! Да это разве по-божески!

— Заплатят! Так с кого же брать, ежели не с них? Одни мельницы сколько дали! Маклачество со скотом рогатым! Надбавить надо, братцы!

Гул, крик и брань поднимались над площадью и, громыхая, катились к реке Птань, а там, за каменной горой, гремели притушенным эхом.

Модест Винорович также не усидел на месте. Он скромным, потрепанным петухом вывернулся на середину:

— Братцы! Граждане! Да что же это такое, а? Разве это делается по-божески, а? Да разве это наша власть!.. Она только, скажу я вам, декретами, как медом, губы нам, крестьянам, мажет, а зубы дергает! Да она

просто напала на нас, добрых крестьян!.. Братцы, что же это такое, а? Да нас весной обчистили, как белок!..

— Это кого же? — заправляя пустой рукав пиджака за пояс солидно и угрожающе выступил Захар.— А ну, скажите, кого это нас, а? А мы послухаем!

Тут получилось что-то страшное и неожиданное: почти все мужики повскакали со скамеек, надвинули картузы на глаза, насторожились, а затем, поглядывая друг на друга, загрохотали и, нахохотавшись доотвала, разноголосо загалдели:

— Да ты кто такой?

— Барин! Братцы вон его!

— Аль о нашем горбе встосковался, а?

Модест Винорович медленно пятился назад от наседавших мужиков.

— А ты, барин, чуешь пословицу: «когда свои собаки грызутся, то чужие не суйся, а то плохо будет!

Захар ободряемый дружным гулом и смертельной ненавистью крестьян к помещику, напирал чахлой куриной грудью на растерявшегося Модеста Виноровича.

— Хха! Вон, ежели тебе не по нраву наша власть! Хха!

Остальные — братья Шатиловы, Долматов и другие богатеи, запахнув пиджаки, подались в сторону.

Не замечая других богатеев, устремившихся домой, мужики оглушительно ревели, размахивая в воздухе кулаками и порываясь вперед:

— Утопить тигра! А то власть не хороша!.. Ах ты... гадюка!..

Модест Винорович опомнился только за деревней. В его ушах все еще стоял гул и харкающее «хха». А в голове, готовой развалиться на черепки, как горшок,— треск и звон. Он пошатывающейся походкой направился к саду, ничего не замечая на своем скорбном, как бы ускользающем из-под его ног пути.

Сила Петрович, свекор Домовковой, задумчиво сидел на отрубке дерева, смотрел мглистыми глазками на шумно полыхающий костер и о чем-то размышлял. Недалеко от него лежала крупная пестрая собака и, положив косматую голову на передние, прямо вытянутые ноги, лениво облизывала сочным языком, похожим на розовый ломоть ветчины, толстые лапы и изредка косилась на пламя.

С широких полей прозрачно надвигался золотисто-розовый вечер, окрашивал нежной дымкой жнивье, густо раскиданные копны хлеба и терпкую на межах полынь, малиновую от заката. В саду было радостно, в нем как-то по-особенному цвела жизнь. Его неизмеримую тишину, налитую ароматом дозревающих плодов, нарушали редкие тугие удары созревших яблок.— они отягощенно ударялись о живую и теплую, как парное молоко, землю. А величественно пришедшие сумерки насквозь пронизывали весь сад низкими розовыми и темно-малиновыми светами. От закатного света сад сделался ослепительно-ярким, полосатым, заполыхал, засверкал широкими сквозными полосами все больше сгущающегося заката и темно-мглистыми тенями, па-

дающими от вершин яблонь, отягощенных плодами. Полосы света сливалис с величавым простором полей, размашисто уходили к далекому горизонт

Сила Петрович находился в неподвижном забытьи, как и до вечера. О даже не заметил, не ощутил на своей выносливой спине, согбенной тяжелым десятилетиями труда и покорности, бесшумных шагов заката. Склони лохматую иссера-белую голову на широкую уверенную ладонь и облокотив шись на колено, он созерцал костер, все кровавее рдеющий на фоне сгущаю щегося вечера, прислушивался к его легкому треску и шипению. Возможно если бы не залаяла громоподобным басом собака и не бросилась бы в поло сатую, все больше темнеющую глубину сада, Сила просидел бы в таком со зерцательном положении до утренней зари и совершенно позабыл бы пр похлебку, которая шумно кипела и, розово пенясь, кружилась вместе с ку сками жирной и душистой баранины в черном чугунке. Услыхав лай собаки Сила легко приподнялся с обрубка дерева и добродушно-успокаивающим, н в то же время повелительным голосом приказал: «Туман, ко мне!». Туман, размахивая лохматым хвостом, полным репьев, покорно повернул назад, по дошел к старику и, взволнованно скуля, потерся боком и головой о ноги ста рика и развалился возле него.

— А-а-а, это вы, Модест Винорович, —глухо проговорил Сила Петрови и остановился.— Что так поздно? Садитесь. Гостем будете.— И он показа на обрубок дерева, на котором только что задумчиво сидел сам.— Отдохните маненько, а я сейчас насчет ужина похлопочу.— И Сила Петрович шагну к костру, заглянув в булькающий чугунок и себе под нос замурлыкал что-то залихватское и веселое, слегка притопывая левым лаптем.

Пока Сила Петрович хлопотал над чугунком, напевал и притопыва ногой, Модест Винорович с ненавистью разглядывал шумевший костер, искры, похожие на капли свежей крови, только что брызнувшей из тела, и быстро гаснущие на уровне человеческого роста, собаку, не признавшую его, бывшего хозяина этого сада и усадьбы. Отвернувшись от костра, он злобно проскрипел зубами: — Хамы! — бросил затуманенный взгляд на поляну, где находился прадедовский дом.

На месте дома росли: буйная жгучая крапива, широколиственные серо-зеленые лопухи, конский щавель с прямыми колосьями, усыпанными коричневыми семенами, и грандиозные татарки с дымчатыми колючими листьями и с бархатно-фуксиновыми шапками. Над цветами татарок спокойно, с тя желовесным жужжанием, кружились желтопузые шмели. Из этой заросли, если пристально всмотреться в нее, рдели кирпичом остатки фундамента.

Модест Винорович с'ежился, как можжевельник перед ненастьем, с болью отвернулся от этого кладбища, резко опустился на обрубок дерева, вытяну занывшие как-то сразу в коленях ноги, обутые в яловочные сапоги, и с от чаянной тоской и ненавистью обратился к собаке:

— Ты что же, Туман, хозяина своего не признал, а? Не признал, паршивая псина! Аль и ты обрадовался этому проклятому времени, а?

И Модест Винорович нехорошо выругался и, поджимая тонкие, смор щенные губы, погрозил собаке пальцем. Туман вз'ерошил на седоватой

спине и шее шерсть так, что она встала колом, свирепо зарычал, неохотно поднялся и, щелкая зубами и косясь тугими белками глаз, отошел подальше.

— Да ты еще, мерзавец, на меня рычать!—и он бросил в собаку чуркой.— Ты нынче зол, как Домовкова и мужики.

Туман ловко увернулся от чурки и, ощетинившись еще больше, рванулся к Модесту Виноровичу, готовясь к прыжку. Видя непримиримую вражду собаки и ее готовность броситься на него, Модест Винорович порядочно струсил, подскочил с обрубка дерева и шагнул к старику: — Сила, убери эту гадину, а то я...— Старик, не торопясь, отвернулся от котелка, ласково обратился к собаке и, нежно глядя на нее, проговорил: — Поди, поди, милай, в сад, поди.— Оглянувшись на старика, Туман быстро сменил злое выражение глаз на доброе, покорно посмотрел на Силу Петровича и, лязгнув, улыбнулся ему взглядом и, приветливо помахав хвостом, послушно отправился в глубину сада, шурша высокой и жирной травой.

Заря погасала, дрожала легкой фуксиновой кромкой на западе, чуть-чуть окрашивая на земляном валу сада вековые размашистые липы и лозины. Сад погрузился в зеленоватую мглу, чуть-чуть пронизываемую далекими звездами.

Сила Петрович опять припал к чугунку, размешивая в нем деревянной ложкой.

— Вода вот кипит и баранина сварилась, а картошка еще сыровата.— И он подбросил под чугунок несколько чурок.

Костер, как свежая рана, вздрогнул на фоне мрака и брызнул веером искр, освещая ближние яблони, выпирающие из листвы с целомудренной застенчивостью плоды, половину соломенного шалаша, висящее над дверью черное ружье, посконное полотенце с вышитыми петушками на концах, старика и Модеста Виноровича. Оба молчали. В саду становилось все тише, звучнее. Громко топал Туман по земле, охраняя сад. Шуршали по траве ноги и других сторожей. Раздавались испуганные вскрики разбуженных птиц. Затем опять наступила тишина, долгая и ничем ненарушимая. И вдруг опять по этой глубокой тишине прокатится удар сорвавшегося яблока и падет на теплую и радостную землю. Затем опять захлестывала тишина.

— Тихо, как в гробу,— вздохнул протяжно Модест Винорович.— Что сделали с Россией, подлецы... Сок для ее корней по рюмке в сутки отпускают, а? В могилу живьем загнали!— И он опять злобно и нехорошо выругался.— Понимаешь, старик, в могилу загнали, а душу, как свиньи, опакостили!.. Смердит душа-то православная!

— Чегой-то? Это у кого же смердит-то?—не отрывая взгляда от чугунка, тревожно полюбопытствовал Сила Петрович и еще подбросил чурок под чугунок.— Смердит, говорите? Ничего. Перестанет.

Модест Винорович вскинул скользкие от злобы глаза:

— У народа.

— У народа, говорите?— удивился Сила и улыбнулся в бороду.— Вот готова похлебочка!

— А ты думал, у твоего кобеля, а?

— Что вы? Господь с вами! Зачем же душа народа смердеть-то будет? Теперь для народа-то не то, что было в старое время, при твоем батюшке, а нетронутый простор для хорошей мужицкой жизни. Так-то вот, Модест Винорович. И у моего Тумана не смердит. Да зачем и по какому случаю собачья душонка будет смердеть-то? Кормлю я его хорошо, а живется нам с ним в саду лучше, чем при барском: обчество нас любит, да и мы сами обчество, хозяева по теперешнему времени... Нет, это вы, Модест Винорович, напраслину несете на народ, на Расею... облыжно.

— Нет, ты мне скажи, Сила, скажи, за что меня ограбила твоя сношенька, а? Все мужики говорят, что это ты ее настрекулил. Верно ли? Я тебя и ее, паскуду, всю жизнь кормил, из нужды вытаскивал, доверялся и ублажал, а ты с нею... Где же справедливость и бог, а? И у тебя, старик, после этого не смердит? — Голос Шатилова прозвучал резко, озлобленно.— А я говорю, смердит, смердит, да так, что нет силы терпеть, все нутро саднет, выворачивает!..

Сила Петрович насторожился и, почесывая бороду, с успокаивающим лукавством посоветовал:

— А вы, батюшка, и не терпите. Зачем же терпеть и мучиться, раз так тяжело, не надо. Лучше отправляйтесь на новые земли. А насчет бога и справедливости-то не будем говорить. Не будем! А сношенька моя не виновата, это я ей посоветовал, можно сказать, приказал так сделать... Так-то вот! Ох, милай! Ох, Модест Винорович, да вы во всем мире не найдете таких весов, которые могли бы взвесить правду вашей жизни и совести!.. Ох, милай, вы вот немного пожили при мужицкой и рабочей власти и вам уж стало невмоготу, а каково было нам сотни лет корпеть при вашей власти-то, а? Ох, Модест Винорович, да что и говорить!.. Что такое совесть на земле? Да ее, матушку, каждый с своего шестка понимает и к своей жизни, как рубашку, примеривает... Так-то вот, а то совесть...

Шатилов фосфорическими дырками глаз вглядывался в старика, словно пробуравливая его, и вздрагивал от внутреннего смеха:

— Ха-ха! У тебя, старик, не смердит! Не воняет. Ха-ха!— голос Шатилова звучал еще резче, озлобленнее.

— У меня?— вскинув заросшее волосами лицо, еще больше насторожился Сила Петрович.— Нет, не смердит. Да зачем же моей душонке вонять-то, а? Кругом благодать, простор, а на этом самом просторе — плоды всевозможные для меня зреют, цветы растут, птички жизнь свою прославляют, деревца так ласково промежду себя шепчутся, а она, моя душонка-то, смердеть будет. Да она у меня, Модест Винорович, поет и никак не напоется от такой красоты... Ах, ты, господи! Надо же вам придумать такое нехорошее слово, а? Да что с вами на самом деле, а? Посидите, Модест Винорович, маленько, а я сейчас за яблоками слетаю, угощу вас!

И Сила Петрович легко вспорхнул, выпрямился, засуетился, виновато посмеиваясь в бороду и лукаво поглядывая на Шатилова, вкрадчиво проговорил:

— Ваш покойный папенька, царствие ему небесное, как бывало выпорет какого-нибудь мужика на выгоне насупротив каретного сарая, так тут же, это перед поркой-то, и призовет меня: «Сила, принеси-ка, «доброго крестьянина», да смотри у меня скотина, не с земли, а с дерева, чтоб без пятнышек были».— Ну, я, конешно, минтом бывало слетаю: «Извольте, сударь!» И ваш, Модест Винорович, папенька-то, поглядывал на мужика, как он, разбойник, извивается под розгами, лакомится «добрым крестьянином», а когда налакомится, то угостит остатками и выпоротого мужика с веселой улыбочкой. «А ну-ка,— скажет бывало выпоротому мужику,— полакомись, скотина, яблочком!» Ну, мужичок, конешно, не отказывался, бессловесно брал, низко кланяясь вашему папеньке. А один раз, скажу я вам, меня выпорол, а потом, чтоб поуспокоиться, утешить свое сердечко, приказал мне нарвать «доброго крестьянина»... Так-то вот, Модест Винорович. Хорош был ваш папенька и в обхождении — не как наш брат-сиволдай.— И Сила Петрович, чрезмерно раздувая бороду, да так, точно в ней родилась буря, значительно и горько рассмеялся: — Сам налакомился, а затем и меня это, после порки-то, яблочком порадовал: «Скушай,— говорит,— паскудник, «доброго крестьянина!»— Эх, и вкусен «добрый крестьянин». Как только поспеет, нальется янтарным соком, так в воздухе и колется, не долетая до земли, что вам, к примеру сказать, сахар-рафинад, а в горле после такого угощения он застревал, нутро не принимало.

И Сила, все также улыбаясь в бороду, шагнул в теплую ароматную темь сада и слился с нею, шурша травой.

Модест Винорович неподвижно, как каменный истукан, сидел на обрубке дерева, неосмысленными, побелевшими глазами уставясь на ружье, висевшее над дверью, и вязко пересохшим ртом:

«Добрый крестьянин... Ядовитый старик!..»

И он, как лунатик, бесшумно подбежал к шалашу и дрожащими руками снял с сука ружье, прикинул его на руке и, прислонив ложем к низу шалаша, одновременно приподнял ногу и, нащупывая носком сапога курок, жадно схватил сухим ртом конец ствола, стуча зубами о сталь. «До... обр... рый...» Почувствовав озноб и колючую судорогу во всем своем теле, Шатилов вздрогнул, присел к земле от страха, затем, прислушиваясь, выпрямился, резко вскинул ружье и выстрелил.

Сила Петрович, возвращавшийся с яблоками, глухо вскрикнул, судорожно подался вперед и, рассыпая из полы яблоки, мягко грохнулся на землю. Туман, бежавший позади, прыгнул к старику и, упав возле него, смертельно затосковал о своем хозяине. Мрак всколыхнулся, налился тугими приближающимися шагами. Модест Винорович сухо рассмеялся: «Вот тебе и добрый крестьянин! Ха-ха!» — И он махнул в противоположную сторону, задевая за ветви яблонь. Следом за Шатиловым громко, оглушительно падали яблоки, сбиваемые его бегом, словно устремляясь за ним в погоню.

Случай

(Рассказ)

Григорий Дальний

18 июня 192... года.

Дорогой друг!

Можно поставить точку и сказать finis. Довольно. Чорт возьми, в самом деле, довольно! Если бы ты только знал, как я рад, как неповторяемо, невозможно, прямо бесстыдно, рад. Ах, родной мой, я расцеловал бы тебя, если б увидел. Поверишь, мне так захотелось по-хорошему, искренно, от души обнять профессора, крепко пожать ему руку и сказать — спасибо. А потом побежать по коридорам I МГУ и прыгать от радости. Ты, наверное, читая это, снисходительно улыбаешься, и напрасно, друг. Что же ты думаешь, прыгать для 29-летнего парня вовсе не пустое занятие. Я за всю свою жизнь дважды это и делал. Первый раз, когда поступил на рабфак, второй раз — теперь, когда сдал последний экзамен в университете. Ты подумай, последний, за семь лет последний!

Итак, я окончил университет по историко-археологическому отделению. Если бы только знал, как мне сейчас грустно! Так грустно, так грустно, что плакать хочется. Уходя из университета, я не шел по лестнице, а прыгал, говоря твоими словами, как молодой козленок. По улице шел и смеялся, домой пришел, как в чаду, в угаре от радости, сел писать тебе и на стуле приплясывал, а сейчас... Стоило мне сказать и почувствовать, что я сдал последний экзамен, и мне вдруг стало грустно. Больше я уже не студент, больше...

Родненький ты мой университет,— ой, как грустно! Лучше бы я не кончал!

Я вот сижу и думаю... семь лет работы. Общежитие, аудитории, лекции, читальни, книги, без конца книги и книги. Ты ведь знаешь, что я даже летние каникулы занимался и ни разу никуда не ездил. Ехать не к кому, и каникул у меня не было. Да и лучшим отдыхом мне была работа. Кроме того, ведь я-то пришел учиться дурак-дураком, ты это знаешь. Помнишь, как я приехал к тебе обшарпанным, оборванным красноармейцем. Ты еще спросил: «Зачем тебя принесло?»—«Я, друг, приехал поступать на рабфак, учиться». И напугал ты меня тогда, сказав: «Теперь, поступая на рабфак,

¬адо знать дроби. Ты их как знаешь?» Вот-то я оробел, ха-ха. Залепетал ¬то-то и давай перечислять тебе все, что знаю: «Камни умею ворочать, ¬сфальтом поливать улицы, немножко столярничаю, стрелять хорошо на-¬чился, а дроби, дурак... не знаю».

Как я приуныл сразу, а потом ты же меня и утешил: не трудней, ¬воришь, трудного.

Да-а! Все это было в счастливое, хорошее время, когда ни хлеба не ¬ыло, ни приличных штанов. А теперь я окончил университет. Ты только ¬одумай, я — каменщик, штукатурщик, рабочий — окончил университет. ¬рубыми, заскорузлыми, потрескавшимися на колчаковском фронте руками ¬взялся за книгу, семь лет не выпускал ее из рук, и вот — finis.

«Довольно», так сказал мне профессор, и для него довольно, а для ¬еня в этом слове все: мое прошлое, армия, рабфак, семь лет жизни впрого-¬дь, в холод,— все, все. Я никогда не забуду, как однажды, читая психоло-¬ию Джемса в читальне на Арбате, я вдруг заметил на книге приписку. ¬онким, очевидно, женским почерком было написано: «Господи, как же ¬олодно, ничего невозможно делать, где бы достать хоть одно поленце ¬ов». Я тогда очень задумался над этой припиской. И всегда потом, как ¬олько немного залодырничаю, я вспоминаю эту фразу и еще с бóльшим ¬порством занимаюсь.

Слушай, а ведь выходит, что надо считать меня образованным чело-¬еком. Как ни верти, а это так, и здесь уже ничего не поделаешь. А ведь, ¬-ей, я немного знаю, и до образованности мне — ой, как еще далеко. Только ¬оложение обязывает, и ясно одно: нужно учиться и учиться. Но у меня ¬гатые возможности и совсем неважно, что я — человек со средними спо-¬собностями возьму упорством, усидчивостью, своим трудолюбием. Я день ¬ночь буду работать и дальше, но что знания у меня будут — так в этом я ¬сомневаюсь. Плохо ли, хорошо, а я оставлен научным сотрудником. ¬ейчас идет моя первая самостоятельная работа в журнале «Историк-¬аркист». Покровский остался ею очень доволен, а ведь Покровский — боль-¬ой авторитет для историка.

Так-то, друг! Мне еще предстоит много работать, много учиться, ведь то, ¬о пока сделано,— это часть: это только окончил университет. Но сил хва-¬т,— и по окончании научно-исследовательского института я скажу еще ¬з finis и займусь уже самостоятельной научной работой.

Теперь же, друг, это лето — первое в моей жизни — я отдыхаю. Целые ¬и буду проводить у Натаии на даче, а осенью мы будем жить вместе. ¬ньше жениться нельзя, так как только с октября я начну получать ¬пирантскую стипендию. Сейчас кончаю письмо и еду к ней на дачу. Надо ¬ешить, а то она ждет и волнуется — как мой последний экзамен. Она ¬знает, что университет окончен и что я уже не студент. Сколько в этом ¬грусти и радости!

Ну, будь здоров, друг! Крепко, крепко жму руку. Твой Кирилл.

— Дядя Кия! — Зоя уцепилась за руку Кирилла и потащила его к калитку,— а Наташа ушя.

Кирилл опечалился.

— Ушла? — грустно переспросил он Зою.— Куда же она ушла?

— На пюд.

— А-а,— протянул Киррил, поднял Зою на руки и посадил к себе на плечо.

«Не захотела подождать меня,— печально подумал он,— ушла на пруд. Ну, что ж!» Кирилл грустно вздохнул.

Был третий час. Тени дружно наступали на дорожки и клумбы сада, облака туманили солнце.

На гамаке, привязанном между двумя деревьями, отдыхал музыкант — сосед Осадчих по комнате.

Кирилл, проходя мимо него, крикнул:

— Отдыхаете, Исаак Рудольфович... Здравствуйте!

— Здравствуйте, Кирилл Дмитриевич,— приподнялся старик на гамаке и кивнул головой.— Как дела?

— Готово, Исаак Рудольфович.

Кирилл свернул с дорожки и подошел к гамаку.

— Ну, поздравляю, от души поздравляю,— крепко потряс его руку музыкант.

— Ой, Зойка, не упади,— и Кирилл свободной рукой придержал зашевелившуюся на плече Зою.

Та крепко охватила ручонками его шею.

— В свое время и я консерваторию кончил... Радости-то было,— задумчиво сказал музыкант.

— А мне вот грустно, Исаак Рудольфович,— удивился Кирилл.

— И мне грустно было. Только это была такая прекрасная, особенная какая-то грусть. Больше такой грусти никогда в жизни у меня не было... Потом было другое... Тяжело и трудно стало жить, играть за кусок хлеба дни и ночи на скрипке, любить и ненавидеть свое ремесло и вспоминать лучшие годы жизни — консерваторию.

Старик задумался. Смотрел он мимо Кирилла куда-то в сторону. В прошлое, в давность лет смотрел старик, в смутные туманы пережитого.

— Да-а-а,— протянул Кирилл,— ну, пойдем, Зоинька,— и, не желая мешать старику, он пошел к даче.

Сергей Петрович, отец Наташи, сидел за газетами на веранде.

— А мы пишли,— закричала Зоя.

— Видел я, что вы пишли.— Идет наш студиоз, подумал... Ну, и длинный ты, брат,— обратился он к Кириллу,— этакий, право, верзила! Ты вошел в калитку, а я на тебя смотрел. Схватил ты Зойку на руки, усадил к себе на плечо, я и подумал: экая каланча, упади вдруг ребенок — разобьется... Ну, как дела, студиоз, сдал?

— Сдал... Окончил, Сергей Петрович.

— Как окончил?

— Так, окончил — последний сегодня сдавал.

— А-а, верно, верно. Я и забыл, что последний. Вот, брат ты мой, память, всегда забуду. Всю жизнь с такой памятью живу, вечно что-нибудь забываю... Кончил, говоришь?

— Кончил.

— Грустное, брат ты мой, дело? — посмотрел в глаза Кириллу Сергей Петрович.

— Грустное.

— Знаю,— улыбнулся он.— Знаю, сам пережил. Университет окончить, ты думаешь, это пустяки?! Всю жизнь, брат ты мой, грустно будет.

Кирилл слушал и не знал, отчего же ему сейчас грустно. Оттого ли, что университет окончил, и все говорят, что это грустно, или оттого, что он не увидел Наташу.

— А Наташи нет,— точно угадав его мысли, сказал Сергей Петрович.— Ты ведь обещал в пять приехать, она и ушла искупаться до твоего прихода.

Кирилл просиял. «В самом деле,— вспомнил он,— а я-то забыл, обиделся, что не ждала. Ах, дурак!»

Ему уже не было грустно, что он окончил университет. Какое! Он радостно ощущал ту торжественность, какой был наполнен весь день. Какая грусть, когда так радостно жить!

— Зато я тебя ждал,— продолжал Сергей Петрович,— думаю, хорошо, если ты приедешь, пока Наташи нет, мы бы и занялись делом. А то, когда она дома, тебя за хвост не поймаешь... Помнишь, небось, о чем условились?

— Это дорожку-то вымостить? Хоть сейчас за работу... Пока Наташа придет, полдела сделаем.

— Что ты, не успеем!

— В два счета, Сергей Петрович. Сейчас начнем, половину сегодня кончим, другую половину в воскресенье домостим.

— Так скоро не выйдет.

— Не выйдет? — Кирилл обиделся.— Как не выйдет? Тут ведь пустяк, дело знакомое.

— Знакомое?— удивился Сергей Петрович.

— А как же... ведь я-то каменщиком был, старое ремесло как-никак, помню.

— Э-э, а ведь правда! Я-то опять забыл. Вот, брат ты мой, память... Тогда пойдем, посмотрим.

Тени уже завоевали клумбы и дорожку к калитке, над которой копошились профессор гистологии и Кирилл. Солнце спряталось за соседнюю дачу.

В саду цвели левкои.

Принимаясь за работу, Кирилл переоделся. Профессор достал ему свои старые с красным лампасом шаровары — память о японской войне, как говорил он. Кирилл одел их и вместо фартука подвязал веревкой старый чепок.

— Это не нужно, что ты! Шаровары грязные, чего их беречь,— рвань.

— Я не за этим, я чтоб кирпич в нем носить,— об'яснил Кирилл.

— Ишь ты, верно! Что значит, брат ты мой, опыт. Всякое дело знат надо. Ведь вот пустяк, а я не догадался... Я и себе тоже.

— Зачем? — засмеялся Кирилл.— Я один натаскаю. Не нужно, Серге Петрович, не нужно.

Но профессор заупрямился.

— Нет, нет. Ты это брось, Кирилл. На чужой спине я не соглас выезжать. Чужим трудом никогда не пользовался, что я — паразит?

И профессор тоже повязал не мешок — не нашлось больше мешка,— а полотняный фартук Наташи.

Прорыли они дорожку, отмеченную уже заранее, и дружно принялис замащивать ее кирпичом.

Зоя вертелась тут же и, подражая старшим, складывала кирпичи в песк

— Кирилл, ты мне говори, если не так,— попросил Сергей Петрович.— Я ведь не знаю, как нужно. Ты поправляй.

— Так, Сергей Петрович. Я сам что-то не больно умею, забыл, видно, давно за свое дело не брался.

Они опять молча и сосредоточенно принялись за работу, ползая на коленях.

— Кирилл,— остановился профессор.

— Я! — поднял тот голову.

— Богатая у тебя будущность, Кирилл... Ведь ты лет через пять кафедру получишь.

— Ну, через пять,— смутился Кирилл,— больно скоро выходит.

— Нет, брат ты мой, не скоро. Упорства в тебе много, упрямства. Делового, понимаешь, упрямства. Ты в семь лет прошел тот путь, на который я гораздо больше потратил. А я тоже не без способностей. Как-никак, профессором считаюсь, а лет пятнадцать проучился, пока университет окончил. Да я учился еще как: на средства родных. А ты? Из каменщиков — в профессора.

— Тут не я, а время,— возразил Кирилл.

— Время — это особь статья. Время, существующие условия, сами собой, они дали возможность. А дальше все от тебя зависело. Здесь условия непричем. В наше время сколько моих однокурсников недоучилось, бросили, а у них возможность не с твоими сравнивать. У тебя возможность голодным пайком определялась, а у них полной сытостью... Да что! Ты возьми, если можно, и проследи, много ли из тех, кто с тобой рабфак окончил, дотянули в высшую школу. Посчитай-ка, много?

Кирилл подумал.

— Не все, конечно,—раздумывая, сказал он.

— То-то. Иначе и не бывает. Это, брат ты мой, в любой среде... Я вот дорожу и горжусь моим профессорским званием. Мне оно не даром далось. Имею я право уважать себя за это? За тот труд, который потратил? Великое дело, брат, труд!

— Верно,— с воодушевлением стукнул молотком по камню Кирилл.— Верно, чорт возьми, Сергей Петрович! Великое дело труд!!

Камень от удара Кирилла разлетелся вдребезги.

— Александр Македонский был великий человек,— засмеялся профессор,— но зачем же камни крошить?!

★

— Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
Что ты там строишь, кому?

Наташа стояла перед ними и, смеясь, декламировала.

Профессор приподнялся и серьезно, размахивая молотком, с воодушевлением продекламировал в ответ:

— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим...

Размахивающая молотком рука остановилась.

— Строим мы, строим... чего мы, Кирилл, строим, чтоб вместо тюрьмы?

Кирилл развел руками.

— Социалистическое отечество, а в данном случае, дорожку, чтоб Зойке ходить не грязно было.

— Да, да, Наточка, вот именно, пока только дорожку в то социалистическое отечество, о котором мечтает Кирилл.

Профессор засмеялся.

Наташа села на камни между ними, обняла и расцеловала отца.

— Какой же ты у меня, папа, в фартучке, в беленьком.

Она опять, смеясь, поцеловала его.

— Здравствуй, Кирилл! Сдал?

— Сдал,— улыбаясь во все лицо от радости, что видит ее, ответил Кирилл.

— Вот хорошо-то! Ну, разве же можно не поцеловать тебя?!

— Следует, Наточка,— смеясь, подтвердил профессор.

Кирилл, сделав серьезное и испуганое лицо, заморгал ей глазами, говоря ими молча: «Нельзя, что ты, что ты!»

— А ничего,— вслух сказала Наташа,— папа, а ты не смотри.

Раньше, чем Кирилл успел еще раз сказать глазами «не надо», его уже поцеловали.

— Ой, какой же ты,— осматривала его Наташа.— Ну-ка, встань, встань, Кира.— Она сама подняла его.

— Чудной,— захохотала Наташа, поворачивая Кирилла во все стороны.— Шаровары с лампасами, это папины-то, ха-ха-ха... А ты, в фартучке,— затеребила она отца.— Больше всего удивляюсь, как это ты догадался.

— А вот и догадался.

— Не верю. Никогда в жизни за тобой такой аккуратности не водилось. А здесь — на тебе, камни пошел мостить и фартук одел. Ведь тебе, если чего ассистент не напомнит, ты все забудешь. Сейчас же без ассистента...

— А Кирилл?

— Ты? Правда, ты совсем теперь ассистент... Как хорошо, Кира!

— Хорошо, Наташа!

— Теперь ты обязательно отдохнешь, ничего не будешь делать, не будешь заниматься.

— Ну-у,— протянул Кирилл,— так нельзя, Наташа.

— Можно, можно... мы еще поговорим с тобой об этом... Вот что, вы здесь работайте, а я пойду разогрею обед. Пойдем, Зойка, не будем мешать мастерам.

Наташа взяла Зою за руку и пошла с ней к даче. Кирилл, не принимаясь за работу, молча смотрел ей вслед.

Профессор работал. Он взглянул на Кирилла и остановился.

— Хорошая у тебя невеста, Кирилл,— задумчиво и серьезно сказал он.

— Это правда! — восторженно согласился Кирилл.

— Еще бы не правда! Я ведь ее двадцать лет знаю, пожалуй, лучше тебя. Славная она у меня. Понимаешь, брат ты мой, жаль мне, что она выходит замуж. Как-никак, чужой для меня становится.

— Ну, чужой,— возразил Кирилл,— и ничего не чужой, все равно вместе жить будем.

— Это так... Нет... я ничего... привык. Всякая девушка замуж выходит... и к тебе привык. Нет тебя день-два, так я вместе с ней тоже скучаю. Ну, давай работать.

Снова усердно застучали молотки по камням.

Левкои пахли запахом меда и леса. Над соседней клумбой жужжал шмель. Стенные часы на даче пробили пять.

Кирилл засиял еще больше. «К пяти и вернулась,— подумал он о Наташе,— знает, что я обещал приехать к пяти, и она уже дома».

— Кира! — высунувшись в окно, позвала его Наташа.

— Я.

— Иди сюда на минутку, поможешь мне.

Кирилл торопливо поднялся.

— Я сейчас вернусь, Сергей Петрович.

— Иди, иди, я сам.

Наташа встретила его на лестнице.

— Как же это ты приехал раньше, только меня подвел?

— Ничего, Наташа. Я, знаешь, сразу раскис, узнав, что тебя нет дома, потом вспомнил, что я обещал в пять, и отлегло.

Кирилл потянулся к Наташе. Она обняла и поцеловала его.

— Соскучился? — заглядывая в глаза, спросила она.

— Да-а! О-очень!

— Я никак не думала, что ты сможешь приехать раньше, и ушла. Пришла домой, увидела тебя, обрадовалась и опечалилась, что ты без меня приехал.— Она крепко поцеловала Кирилла в губы...—Теперь иди к папе.

— А помочь тебе?

— Не нужно, это я нарочно. Захотела поцеловать тебя и позвала,— смущаясь, об'яснила девушка.

Кирилл прижался к ней, обнял за плечи и талию, быстро и жадно поцеловал лицо, глаза, лоб.

— Пусти, пусти,— пыталась освободиться от него Наташа,— пусти, а то там Зоя одна.

Кирилл ласково и нежно провел рукой по волосам девушки.

— Иди, иди,— торопила Наташа.

Кирилл пошел, оглянулся: девушка стояла на том же месте и, махая ему рукой, губами посылала поцелуи.

Кирилл ответил тем же. И вдруг ему захотелось чихнуть. Он едва успел поднести к лицу подвязанный вместо фартука мешок и высморкаться.

Наташа звонко расхохоталась.

Кирилл смутился и немного покраснел.

— У меня нет с собой платка,— оправдываясь, пояснил он и покраснел еще больше,— я его оставил в своих брюках.



— Ночь будет очень лунная.

— Ой! — восторженно выкрикнул Кирилл и вдруг неожиданно для самого себя громко и сильно запел:

Ничь ярка, господи, мисяшна, зоряна,
Ясно, хоть голкы збырай
Выйды, коханая, працею зморена,
Хоть на хвылыночку в гай.

— Хорошо-то как, чудесно! — оборвав пение, заговорил он.— Вот иногда чувствуешь вдруг в себе необычайную силу. Могучую такую силу жизни. Жить ведь вообще легко и радостно! А в наши, Наташа, годы жизнь это такая яркая, такая бесподобная, чудесная сказка... Ну, подумайте, подумайте вы,— взволнованно обратился он к Сергею Петровичу и Наташе,— может быть, через несколько лет я буду профессором. Разве это не сказка? Десять лет назад я мостил улицы, клал кирпичи на постройках... Выстроишь дом, а потом и любуешься: здесь ведь капля и моего труда есть, думаешь. Люблю я труд!.. А теперь вдруг стану профессором. Очень этому и поверить трудно, а ведь возможно. Мне вот все кого-то благодарить хочется, хочется кому-то сказать спасибо, большое спасибо, за ту необыкновенную радость, какую я ощущаю. И не знаю, кому сказать. Все его заслужили, а такого, чтоб один кто-нибудь был, нету-у.

Кирилл замолчал.

Сидели они — он, Наташа, Сергей Петрович — на веранде, маленькая Зоя уже спала. Вокруг веранды стройные, светлые высились тополя. Ниже был цветник, и оттуда шел легкий и нежный аромат цветов.

— Кира, ты говоришь, что тебе всегда радостно было жить,— сказала Наташа.

Кирилл утвердительно кивнул головой.

— Неужели же тебе никогда не было грустно, что ты такой одинокий, что у тебя нет семьи, ни одного близкого человека?

— А я не знаю,— пожал плечами Кирилл,— я все время без семьи жил с семи лет, а с десяти уже начал работать. Привык, видимо, так жить и не грустил. А близкие люди у меня были товарищи, с кем работал, с ними и жил.

— Одиноко,— добавила Наташа,— неуютно, сиротливо.

— Нет, ничего, можно жить, Наташа, не бывает одиноко среди людей...

— Кира, ночуй сегодня у нас,— перебила его Наташа.

— Н-нет, нельзя.

— Почему?

— Оставайся, Кирилл,— предложил и профессор,— ляжешь у меня в комнате на диване.

— Нет,— смущенно отказался Кирилл,—мне завтра в 9 часов надо быть на заседании.

— Так что ж! Отсюда прямо и поедешь.

— А приготовиться к заседанию нужно, Наташа. Завтра заседание академической секции, а ведь я председатель, да и мой доклад.

— Эх, ты,— вздохнула Наташа,— значит, опять будешь ночью работать.

— Я немножко, Наташа, какой-нибудь час,— виновато оправдывался Кирилл.

— Нет, Кира, так нельзя. Какой же это отдых, папа,— обратилась она с жалобой к отцу.— Завтра у него заседание — нужно сидеть, послезавтра совещание — опять нужно сидеть, так и конца не будет.

— Верно, Наточка. Поругай его, поругай,— улыбнулся профессор.

— Наташа, это последний раз.

— Да, последний,— обиделась Наташа,— у тебя всегда последний.

— Правда же, последний.

— Честное слово?

— Честное слово,— подтвердил Кирилл.

— Ну, брат ты мой, держись теперь,— пригрозил Сергей Петрович. Он собрался уходить.— Я пойду к себе, молодежь, почитаю немножко, а там спать... Ты бы, правда, оставался ночевать, Кирилл? Что тебе готовиться к докладу, наверное и так готов.

— Нельзя, Сергей Петрович, никак нельзя.

— Смотри, тебе видней, а то бы остался.

— Нет, не могу.

— Ну, тогда прощай, брат,— профессор простился.— Покойной ночи, Наташа,— поцеловал он дочь и ушел.

— Кира, оставайся,— попросила Наташа, когда они остались одни.

— Нельзя, никак нельзя... Думаешь, мне самому не хочется?

— Знаю, хочется. А мне-то как хочется! Посидели бы часов до двух здесь, а утром я разбудила б тебя, накормила и проводила на станцию. Хорошо? Кира, оставайся?

— Не могу, Наточка, милая! Если бы я, дурак, раньше чем ехать, сделал все на завтра, тогда можно, а то я заторопился к тебе, только успел написать письмо Шуре и скорей-скорей сюда. Думаешь, я не скучаю?

— Не думаю, что ты! Я ведь по себе знаю.... Теперь ты когда приедешь?

— В воскресенье.

— Как?! Ни завтра, ни послезавтра не приедешь?

— Нет,— печально и словно виновато сказал Кирилл,—я ведь тебе говорил, что эти два дня занят, у нас конференция. Это последние.

— Опять последние,— огорченно вздохнула Наташа,— сколько у тебя, Кира, этих последних?

— Но, Наточка, милая, честное слово, правда. Голубчик, ты не сердись, а то мне так грустно-грустно становится. Разве я виноват?

Он схватил девушку и усадил ее к себе на колени.

Пьянила ночь, молодость, аромат цветов сада...

Где-то на даче пели. Слышались удары палок: пользуясь лунной ночью, неподалеку играли в рюшки. Послышался ритмический стук колес далеко идущего поезда.

— Кира, ты опоздаешь на поезд,— очнувшись, зашептала Наташа.

— Нет, нет, Наточка. Еще хоть десять минут...

— Довольно, довольно... иди, иди.

— Как мне уходить не хочется, хоть на минуту тебя оставить, не видеть целых два дня.

— В воскресенье приезжай пораньше.

— С первым поездом.

— Нет с первым рано. Он в семь часов, я еще спать буду... и тебе выспаться надо. Ты приезжай в девять. Папа с Зоей уедут в это время к тете в Москву, и мы целый день будем одни.

— Прав-да? — радостно спросил Кирилл.

— Папа обещал и сегодня еще говорил, что обязательно в воскресенье поедет... Ну, иди, Кира, иди скорей, а то опоздаешь.

— Иду, Наточка, только ты еще поцелуй меня, на прощанье, крепко.

— Ну-у,— тяжело вздохнул Кирилл,— иду.

— Смотри, осторожно в поезде и трамвае, Кира. Слышишь, обещаешь?

Кирилл улыбнулся.

— Обещаю, обещаю.

— Иди, иди.

Шел Кирилл по недомощенной дорожке, оглядывался и, прощаясь, махал рукой.

Наташа стояла на веранде, кивала ему в ответ головой, и было ей грустно, что уходит Кирилл, такой дорогой и близкий, уходит куда-то в ночь, в пустоту за изгородью. Далеко от нее уходит и надолго, на целых два дня. И было грустно.

— Кира,— шопотом крикнула она,— в воскресенье приезжай пораньше, непременно в девять.

— Хо-ро-шо-о,— донеслось до нее,— хорошо, Ната-шеч-ка-а.

«Родной мой, голубчик»,— долго одинокая девушка стояла задумавшись на веранде и смотрела в прозрачную, в лунном свете, пустоту ночи.



Кирилл успел на поезд. Еще дорогой, услышав далекий лязг колес, он бросился бежать. Прибежал во-время, сел в вагон, спрятался в угол скамьи, закрыл глаза и сейчас же представил Наташу. Стоит она на веранде вся в белом и машет ему рукой... «Приезжай пораньше!»

— Милая, милая,— беззвучно зашептали губы,— как я тебя люблю!

Лязгали колеса, вздрагивал и покачивался вагон. Мимо бежали дачи, деревья, огни.

В забытье, в мечтах о Наташе, дорогой и любимой девушке, Кирилл не заметил, как под'ехали к городу.

— Что это? — удивленно спросил он, когда поезд замедлил ход.

— Москва.

— Ой ли?! Как скоро.

«Ну, а теперь, аспирант, будущий профессор истории, уважаемый Кирилл Дмитриевич, вам надо спешить». Кирилл посмотрел на часы: было половина первого.

Только бы успеть к трамваю. До Орликова-то еще отсюда ходят, а вот на «Б» запоздаешь, тогда пешком часам к двум, не раньше, домой придешь. Когда же работать: и спать хочется, и вставать завтра рано. Надо спешить».

Поезд остановился. Толкаясь, Кирилл торопливо пролез к двери, выскочил на перрон и, обгоняя других бегущих, бросился к выходу. Задержался, отыскивая билет. Торопясь, разыскивал его дольше, чем нужно. Нашел, сунул контролеру в руку и побежал к выходу на площадь.

Подбегая, сквозь ворота видел: пустая площадь.

«Неужели уже не застану трамвая?»

Выскочил из ворот, взглянул: у Ярославского вокзала ни одного вагона, только направо, развивая скорость, шел какой-то трамвай с прицепом.

«Врешь, догоню, милый», помчался Кирилл вдогонку за трамваем. Вскочил на подножку прицепки и уцепился за ручки. Перевел дух.

«Ну, и летит стервец,— собрался он войти на площадку и остановился: — «каким же трамваем еду?» Отклонился, держась на вытянутых руках, забросил назад голову, чтобы посмотреть номер трамвая и вспомнил: «Дурак на прицепке номера нет, не увидишь, да и все равно 34 и 8 к Орликову переулку идут». Собрался подтянуться на руках в вагон и не успел. Что-то неожиданно и сильно ударило в голову. Так ударило, что блеснули яркие-яркие молнии и невольно вырвалось удивленное:

— А-а-а!

Звонки, звонки на трамвае. Он прошел немного и стал. Выскочили кондуктора и пассажиры. Бежали назад к трамвайной мачте.

Поправляя на ходу сумку, старый и седой кондуктор в очках шептал:

— И видел я, господи! Хотел застучать ему в окно, и не успел.

Бежал с поста на площади милиционер. Отовсюду сбегались к одному месту — к мачте по линии трамвая номер восемь, что недалеко от вокзала.

А вся обширная Каланчевская площадь была пуста.

Темная, в тени огромных зданий вокзалов, без огней, не горевших в лунную ночь. Только часы, как глаза у циклопа, широко и внимательно смотрели на притихшую толпу у трамвайной мачты.

★

Хоронили Кирилла в субботу. Весь университет, чуть ли не в полном составе был на похоронах. Аспиранты научно-исследовательских институтов, в семью которых только что зачислился покойный, профессура, десятки сотен народа. Только не было одного человека, самого дорогого, самого близкого Кириллу, — девушки, которую звали Наташа.

★

В воскресенье на даче у Осадчих встали рано. Подняла всех Наташа. Первой она разбудила Зою.

— Вставай, к тете Оле ехать,— шептала она сестренке, — вставай скорей и буди папу.

Зоя проснулась, улыбнулась Наташе и начала звать отца:

— Папа, вставай, ехать пора.

Наташа в это время ушла из комнаты на веранду готовить завтрак и чай.

Ей было слышно, как ворчал отец и уговаривал Зою спать.

Та не сдавалась.

«Сейчас встанут», — радостно подумала Наташа. — Зойка теперь не даст папе уснуть». Она подкачала примус и нарочно загремела, переставляя на столе посуду.

«Встанут, встанут», — ликовала она.

— Наташечка, — позвала Зоя, — давай одеваться.

Пошла к Зое.

— Ты подумай,— войдя, обратился к ней отец,— Зойка так рано встала и сейчас же меня разбудила, чтоб ехать к тете.

Наташа улыбнулась и подмигнула Зое: «Молчи». Та рассмеялась.

— Ты чего это так хитро смеешься, а? — спросил ее отец.

Зоя еще сильней засмеялась, посматривая на сестру. Наташа не выдержала и расхохоталась.

Профессор удивленно смотрел на обеих.

— Боюсь, что я понял, — стукнул он себя по лбу. — Понял, понял... Наташа, когда должен Кирюша приехать?

Наташа сделала удивленное и непонимающее лицо.

— Ну, в девять.

— По-о-нял, — торжествующе протянул профессор, — это ты разбудила Зою?

Наташа фыркнула и выскочила из комнаты.

— Ей хочется нас проводить и Кирилла встретить. Ну, и хитрая же девчонка. Хитрая она у нас, Зоя.

— Это я-то? — крикнула с веранды Наташа.

— Кому, кроме тебя, не Зоя же.

Позавтракав, все втроем пошли на вокзал. Было начало девятого.

— Исаак Рудольфович, — постучалась Наташа в дверь к квартиранту.

— Можно.

— Нет, мне незачем. Я только хочу попросить вас, если вдруг без меня Кира приедет, передайте ему ключ и скажите, пусть садится и завтракает. Я ушла проводить наших и его встретить.

— Хорошо, Наташа.

— Не забудь, передай Кириллу привет от нас, — высунувшись, кричал из окна отходящего поезда Сергей Петрович.

— Ладно, ладно... Кланяйся и целуй тетю.— Наташа замахала рукой.

Уходил поезд. Зеленый в зелень деревьев прятался он. Наташа смотрела ему вслед и ждала — оттуда же должен был появиться другой, вынырнуть закопченным локомотивом в зелени и, весело шипя и отфыркиваясь, подойти к станции. С ним должен был приехать Кирилл. «Он у меня аккуратненький, он у меня золотце, никогда в жизни еще не опаздывал».

Наташа ходила по платформе. Ждала. Радовалась и ликовала. «Целый день вместе», — и от одной мысли об этом у нее кружилась голова.

Девять часов... Поезда не было...

«Опаздывает... поезд, а не Кира, он никогда. Точнее поезда, ведь он хронометр. Приедет, так ему и скажу: «ты хронометр».

Радостно зашумел свисток. Паровоз улыбнулся издали стеклами глаз фыркнул дымом, засопел, с грохотом, лязгом и шумом промчался мимо и стал.

Кирилла не было — не могла не заметить Наташа. Она быстро охватывала взглядом толпу выходивших из вагонов и переводила глаза к выходу, около которого стояла. Кирилла не было.

«Не могла пропустить, нарочно здесь стала, заметила бы, когда выходил. Не приехал? Нет, нет, не может быть»,— и Наташа снова искала его в толпе.

«Не могла не заметить,— была она уверена,— не приехал, опоздал а я... хронометр. Ах ты, жулик, жулик, обманул, подвел, а потом приедет со следующим поездом и будет такой виноватый, виноватый, что и упрекнуть жалко».

Гуляя на платформе, ждала следующего поезда. Сердилась и смеялась еще нетерпеливей, еще радостней ожидая.

Когда вновь подошел поезд, она вся была наготове броситься к вагону, из которого появится такая знакомая, такая дорогая фигура. Но Кирилла не было. Ее ищущие глаза тревожно бегали по толпе и по проходящим к выходу.

Не было, не было.

«Что ж это? Что он, смеется?» Обида, огорчение и досадливое чувство недовольства охватили девушку.

«Как не стыдно, Кира! Но ведь не может быть? Уже десять часов. Не мог он не приехать. Не мог же, не мог! Я наверное прозевала. Глупая, конечно же, так и есть, жду, а он меня, верно, ждет на даче».

Радостно и торопливо она пошла домой. И представляла: заметит ее Кирилл, непременно спрячется, и только она откроет калитку, он выскочит.

«Вот я его отругаю, не заметил меня на вокзале... А сама? Тоже... нет, уж лучше не ругать».

Тихонько, стараясь не стучать, она открыла калитку. Вот, выскочит сейчас Кирилл, заорет и захохочет от радости.

Пусто. Холодно и равнодушно смотрели открытые окна дачи. Зияла недомощенная камнями дорожка. «Нет моего каменщика»,— и вдруг сразу ее охватила тревога, беспокойство и страх.

— Исаак Рудольфович, не приходил Кира?— стараясь казаться спокойной, спросила она через окно квартиранта.

— Нет, — высунулся из окна музыкант, — не было. А что, не приехал?

— Не приехал, — с плохо скрываемой обидой ответила Наташа, — обещал в девять, а теперь скоро одиннадцать, а его нет.

— Ничего, Наташечка, задержался.

— Задержался!.. Вот уж я его отругаю, пусть не опаздывает, а то только людей мучит,—обиженно надула она губы.

Ушла в тень деревьев и легла на гамак. Но лежать не могла. «Часов нет. Может уже одиннадцать, а я не знаю. Нет, так невозможно ждать».

Пошла на дачу. Суровыми показались черные стрелки. «Половина двенадцатого, господи, что же это такое. Ну, сказал бы, что опоздает, написал, наконец, телеграфировал, нельзя же так мучить. Ах, эти мужчины!» И она рассмеялась последней мысли. «Как это смешно для меня. Скажите, какая женщина».

Села к письменному столу отца, взяла книги и ни одной не раскрыла. Росла тревога. Повернулась от стола к стене, уставилась на часы и смотрела. Шагали стрелки, и было заметно, как идет большая, медленно, с натугой, но упрямо и зло шаг за шагом, за минутой минуту.

— Не могу, — не выдержала Наташа и взволнованно заходила по комнате.

«Не мог не приехать, не мог. Никогда не опаздывал, даже когда был занят, а теперь свободен. Если бы что случилось, телеграфировал».

«Нет, нет, что-то случилось, но что, что?» — ответа не было.

Вдруг стукнула калитка. Стук отозвался в сердце ответным ударом.

К окну... Почтальон. «Письмо, телеграмма от Киры?»

— Сюда, сюда... давайте, — высунувшись в окно, крикнула почтальону.

Тот подошел, покопался в сумке, вынул и подал две газеты и журнал.

— И все? — удивленно посмотрела на него Наташа.

— Все.

Дрожали руки. Вновь стукнула за почтальоном калитка.

Бережно, сдерживая себя, она положила на стол журнал и газеты. Повернулась к часам и взглянула.

— Час!!— вырвался у Наташи испуганный вздох.

«Что ж это?» — заныло в груди. И она беспомощно опустилась на стул окна.

«Час еще посижу, подожду, а там поеду в город, в общежитие к Кире».

— Исаак Рудольфович, — стараясь быть спокойной, крикнула она через окно квартиранту, — вы никуда уходить не собираетесь?

— Нет, — донеслось из другого окна, — а что?

— Я в два часа в город хочу уехать... к тете. Кира, верно, не приедет сегодня.

Старый музыкант понял тревогу девушки, понял, зачем она собирается в город.

— Поезжайте, хоть сейчас поезжайте, я все время буду дома.

— Нет, я подожду еще, может Кира приедет, а в два и уеду, нельзя будет обвинить, что не ждала.

— А-а, ну, ладно... я сейчас заниматься хочу, Наташа... не помешаю вам?

— Нет, нет, занимайтесь.

Тикали часы и отсчитывали минуты. Как будто застонал кто-то протяжно и тоскливо. Это заплакала скрипка.

— Не могу, не могу, — вскочив и ломая руки, зашептала девушка, слушая музыку. Осторожно и нежно, едва слышные, крались звуки. Мягкие, грустные, рыдающие. И хотелось плакать, громко, навзрыд, чтобы выплакать боль и тревогу.

«Надо успокоиться,— решительно встряхнула головой Наташа,— ничего не случилось, поеду и узнаю». Она села к окну, чтобы лучше слушать музыку, взяла в руки журнал и газеты. Раскрыла журнал, неразрезанный,—и уронила его на пол. Развернула «Правду», посмотрела на столбцы букв и положила на стол. «Не читается».

Плакала скрипка. Дрожали, вибрировали звуки, и казалось, что кто-то жалуется, просит, скорбно рыдает и стонет.

Наташа развернула другую газету — «Вечерняя Москва». Прочла, ничего не соображая, содержание номера, перевернула страницу, посмотрела: театр, кино, об'явления, и бессильно опустила руки.

«Да что же я, в самом деле, не могу себя заставить!» Решительно уставилась глазами в газету и читала. Прочла статью в подвале, фельетон, хронику. Посмотрела на часы. «Нет еще двух». Чувствовала, что больше не может, нехватает сил спокойно сидеть и читать газету.

«Еще, еще немного,— заставила она себя,— не могу, честное слово, не могу», — смотрела в газету. Перевернула лист, взглянула на хронику городских происшествий и остановилась. Вдруг на ее глазах стали расти буквы и режущей болью впиваться в глаза. Черные, огромные, страшные.

«В ночь на 19 на Каланчевской площади по неосторожности, высунувшись с площадки трамвая на правую сторону, разбился на смерть о мачту студент I МГУ К. Бороздин 29 лет. Труп доставлен в Лефортовский морг».

— А-а-а-а-а!!! Пощадите... Кирилл!

Рядом плакала скрипка. Вдруг смолкла, точно сразу оборвали струны, все струны...

———————

Кариатиды и парки[1]

Андрей Белый

Среда подалась с первым мигом сознания; я, наблюдательный, скрытный и тихий ребенок, не видящий вовсе детей, изучающий мужей науки, я рос одиноким «подпольщиком»; квартирочка — маленькая; детская и гостиная, полная взрослых, так сближены были, что я из детской мог слышать отчетливо, что говорилось в гостиной; Раиса Ивановна, гувернантка, умевшая еще накрыть плащом сказок младенца и вынести из мараморохов нашей среды, очень рано исчезла; мне стукнуло — пять; Генриэтта Мартыновна, анемичная, бледная, вовсе немая, молчала часами; и мне сквозь молчанье ее проступила гостиная громкими спорами «кариатид» от науки и жен их, бормочущих парок; они появились у изголовья кроватки; бывало, не сплю я; и — слушаю, слушаю, слушаю...

И — вылезаю в гостиную: наблюдать.

Будь мать более посвящена в воспитание младенцев, она бы нашла, что сиденье средь взрослых младенца есть верное средство приблизить к нему «преждевременное развитье», которого так ужасалась она; полагалось: он— маленький, не понимает; о, «он» — понимал, но — по-своему; то же, что понимал «он», опаснее было, чем понимание нумерации; он понимал, почему у *X* прячут профессора-мужа, когда в дом является дама красивая; но кое-что оставалось невнятным; сообразительность была, теперь вижу я,— дьявольская; память — просто музей; я стыдился своих наблюдений, восседая на мягком ковре под ногами гостей с принесенной игрушкой; я схватывал факты, чтобы в постельке, пред сном, их осмыслить.

Многочасовые споры о Дарвине, Геккеле (Усов о Геккеле выражался пресдержанно), механицизме разыгрывались, как разыгрывались и сплетни, меня занося серой тиною; в ней было душно: сравненья-то не было мне (я не вхож в другую среду); может быть, то, что слышал,— прекрасно; может быть, — преотвратительно; сравнивал факты с сентенциями отца о морали; твердил он:

---

[1] Печатаемый в настоящем номере отрывок является частью главы из новой книги А. Белого «На рубеже двух столетий», выходящей этой осенью в издательстве «Земля и фабрика».

«Говорят - широко мирозданье,
Человек же ничтожен и мал,
Но гордись человека названьем
Ты, кто мыслил, любил и страдал».

И вот, сравнивая те строчки со слышимым вокруг меня, я уж знал, что у нас обстоит неказисто весьма с «человека названьем», что круг наш в его средней линии — мертв, туп и пресен; давило меня нечто в нем, как бы воздух выхватывая; теперь вижу: давили — ужасная косность и статика; осознавалося: мне не взвалить на себя этих правил, воспринимаемых тяжеловесными и неплавимыми канделябрами; я же любил все текучее, как огонек, как водицу, как солнечный зайчик на печке; от слов иных замертво падали мухи; и — замерзала вода.

Начинались кошмары, в которых являлась какая-то мне «ядовитая» женщина (читай — профессорша); и — кто-то гнался (сорвавшаяся с фронтона кариатида); и бухающий тяжкокаменно «по штатиштичешким данным» сосед, И. И. Янжул (он так выговаривал) рос мне из темных углов по ночам Янжулом бухнуло прямо в меня в гостиной:

— Бу... бу... у-у-у... штатиштичешким...

Бука пришел изо рта И. И. Янжула:

— «Бу... бу... бу... бу...»

Как из бочки: ужасно!

И тотчас же я закричал по ночам.

Вероятней всего: я вскричал от эмпирики быта; как, — это есть жизнь? Наша жизнь? Моя жизнь?

А тогда, — как же с этим:

«Но гордись человека названьем
Ты, кто мыслил, любил и страдал.»

И еще пугали слова об «абелевых интегралах»: что есть интеграл? Кто есть Абель? И — то же: профессорша *УХ* собирается, бросив мужа, бежать с богачом, умирающим *X*, чтобы он превел состояние на имя ее; вдова *Н*, багровая толстуха и коротконогая, с ужасным лицом, запылавши страстями к профессору *С*, его ловит и песни ревет: «Все вы, хлопцы баламуты». Профессор *С* — нуль внимания: видит какие-то корни (не огородные — греческие); лукавые *З* и *Т*, приглашая их, вместе с тем приглашают — на них, чтобы полюбовались страстями пылающей *Н* и корнями профессора *С*; *Н* ревела у нас: «Баламуты!». Я думал про *С*:

— Баламут,— чего мучает; ведь изревелася *Н*.

И — полубред начинался:

«Ты, кто мыслил, любил и страдал».

Как же так?

А с другой стороны, то и дело я слышал:

— Мы, мы...

Соль земли, или — светочи мы: мы — Москва, соль России (то — знал от отца); в Петербурге — чинуши, да «лоботрясы»; профессора знают все;

им подай лист бумаги и дай карандаш, жизнь мгновенно же урегулируется на листе этом в правилах высшего света; и — вот они: борьба за существование у животных — у нас, у людей, есть гуманность прогресса, а форма ее — конституция; правительство и дурной городовой — не дают конституции; в церкви поп проповедует отсталые истины, кадя «угодникам», вместо которых когда-нибудь вмажутся Спенсер, Огюст Конт; тогда «жрец», иль поп, убежит; по ступенькам амвона к изображению Конта взойдет иной «жрец», научный: М. М. Ковалевский во фраке, неся шапокляк (не евангелие), чтобы провозгласить:

— Консти-ту-ци-я!

Певчие рявкнут тогда «Gaudeamus», которое знал я уже; папа наш перевел его.

И это есть тост, иль спич!

Уверяю читателей: переворот к «интеграции» Спенсера так мной прочитывался; конституция представлялась не столько мне в определеньях посредством понятий, сколь в выездах Муромцева, Ковалевского, Чупрова, Иванюкова во фраках: с какой-то трибуны сказать нечто витиеватое, что говорилося у Стороженок и что говорилось М. М. Ковалевским у нас за обедом, над ростбифом; после он взял на живот меня (мягкий); М. М. был ведь шафером матери; годы парижские связывали с отцом его.

Знал еще: в крайнем случае будет не царь, — президент; и тогда даже В. И. Танеев, который, понюхав махровую розу у ананасной теплицы в именьи своем, проповедывал всеизбиение крестьянами бар и помещиков,— угомонится; и, фрак свой надевши, куда-то поедет; и что-то там скажет.

Так воспринимал я слова.

Повторяю: основы конституционного строя и позитивистического мировоззренья восприняты были мной, как и цепкохвостая обезьяна, до мига, когда я сказал себе твердо:

— Я — я!

Я всосал это все в себя еще с карачек: на то «мы» — профессорский круг, чтоб младенцы у «нас» не так ползали, как у всех прочих, а конституционно и позитивистически.

Вообразите же весь кавардак в голове моей: удивительная предупредительность, даже подшарк пред прислугой отца (от души); и крик матери на нее; высочайший пафос моральной фантазии у отца; и все сплетни круга.

Вот одна картина, которая вызвала ночной кошмар мой. Другая: кариатида-профессор — изваян в веках; если б мне прочитали «в начале бе слово», то я бы поправил: университет, а не слово; и после уже шли «слова» в нем: М. М. Ковалевского, Муромцева-красавца; и — прочих; слова — на фронтоне, где кариатиды изваяны: с кафедрами; тяжковесно надвисли — превыше всего: И. И. Янжул, М. М. Ковалевский, Н. И. Стороженко; превыше их — усовский нос, прорисованный академиком Кушелевым в центре купола Храма христа спасителя: нос Саваофа; я — знал: нос-то — Усова!

В усовский нос верил я, потому что превыше всех — Усов: превыше ценимый отцом: его друг, «папа крестный» мой; прелестью сиплых слов

С. А. Усова я упивался; я им восхищался; и видом, и словом, и смехом, и трубкой его, и его бородавками; и мне казалось: наружность профессора Усова так же прекрасна, как и саваофова; если бы был он седым, то возлетело б под купол лицо, все лицо, а не нос один; и раскидался б руками над всею Москвой, выше всех С. А. Усов: Иванову колокольню поставь под тот купол,— уместится; это я знал; в Храм спасителя водили с бульвара меня: я гулял на Пречистенском.

Вот — две картины.

Они не увязывались в сознании.

Кариатидность, каменность, неизменная косность портала жизни; все, что менялось,— менялось когда-то, при Александре втором; при Александре третьем сплошное «во веки веков» водворилось Я это уж слышал. Но водворившееся, обставшее,— непонятно; ни «штатиштические шведенья» Янжула, ни «шекспиризм» Стороженки, мне зримые в виде каменных гирлянд, обивающих нависнувшие над миром кариатиды; под ними — багровая *Н* все ревет «баламутов» своих.

Результировать ставшее, навеки обставшее, я не сумел; а меня уже звали: стать там, где они все стояли — на веки веков; и профессор подмигивал:

— Вот, погоди, брат,— профессором станешь!

И старый Я. Грот прислал книгу младенцу; и надписал: «Б. Н. Бугаеву»; старик Буслаев кормил пастилой: на бульваре Пречистенском; и Н. И. Стороженко, Н. В. Склифасовский (хирург), И. И. Янжул с охотою игрывали с нами, детьми; мне бы с девочкой, с Танечкой, на-руки, чтоб прямо снесли нас в редакцию «Русских Ведомостей».

Николай Ильич Стороженко

Стороженковские воскресники — «файф-о-клок», стол гудит разговором; и фрачник приехал: сидит в белом галстуке; дети, мы, — ерзаем: стибриваем со стола леденец, или бублик, иль хвостик бумажный стараемся к фалде пришпилить; возможно здесь все; Николай Ильич нас поощряет к проделкам; на нас повернет толстый, сизый свой нос; и склонивши огромную лысую голову, напоминающую мне кулич, обрамленный каштановой, почти черной, курчавою бородою, по бородавке ударит пальцем; и после подщелкнет мне:

— Ах, ты, кургашка! Ах, ты, бранкукашка!

У Николая Ильича «бранкукашка» ведь все: дети, дамы хорошенькие: что понравится, то — «бранкукашка-кургашка»; не страшно мне,— весело у Стороженок; я очень люблю Николай Ильича; глазки малые, карие, мне добродушно подмигивающие, если бы даже шалить не хотел, спровоцировали бы ему самому хвост бумажный пришпилить; его он, нащупавши, лишь пробормочет:

— Кургашка!

И даже, привставши, сутулый и грузный, средь нас он отплясывать будет, помахивая синей курткой кургузой, с которой свевается хвостик бумажный, и петь грубым басом средь визга довольных ребят:

— Ша-ша-ша́: антраша́!

Эти «шаша́-антраша́» знаю я (тоже «словечки»); мы, бывало, повизгиваем; Николай Ильич, пересекая столовую из кабинета со свечкой в руке, пробирается; на толстый нос нацепил он пенснэ; лента черная свисла, проходит средь нашего визга, вполне машинально поревывая «шашаша́-антраша́». Походка — подпрыгивающая; точно на спину под куртку мешок запихал: пресутулый; и есть что-то мне в Николай Ильиче от рождественского, добродушного дедушки (возрастом тоже скорее мне «дед»).

В «бранкукашках» ходили мы у Стороженок — я, Коля, Маруся и Саша, почти до студенчества; Коля и Саша поздней обозначились, как «бранкукашки» бедовые; уж и «делов» натворили (сквернейших!); лучше бы не были мы «бранкукашками», чтобы старик этот, уж перед смертью заброшенный и одинокий, не лил бы слез, дверь притворив в кабинет; гости не видели слез уважаемого «апостола» гуманизма: видела дочь.

Это все началось, когда Ольга Ивановна мать «бранкукашек», скончалась; весь дом был на ней; с ней считались; высокая, очень красивая, стройная и порывистая, мне сочетаньем являлась она темпераментных увлечений со строгостью, здравого смысла и бурных стремлений.

Она умерла; «бранкукашки», из деток, из крошек, в отчаянных безобразников переродились; Маруся одна оставалась Марусей; кабы не она, что бы сделалось с Николай Ильичем?

В 84-м году он казался уютным и сказочным; в 94-м — уже он казался мне тряпкою; в 96-м вспомнил я выраженье отца; «Болтуны!» Но чем был и остался навеки: добрейшим, мягчайшим, ни на кого не сердящимся, иронизирующим; дар иронии был в нем; иронизировал он над гостями, над собственным домом, над... собственной позою.

Да, он — позировал!

Он был среднею равнодействующей либералов-словесников; и его «николай-ильичевское» слово имело особенность выглядеть статистическим выводом мнений других, преподносимым ходульно, закрученно, убежденно; он долго молчал; и выслушивал; выслушав, хитро итог подводил; подведя же, нансировал; скажет, — и Гольцев, Чупров, Милюков, Веселовский, Максим Ковалевский, имеющие несогласья друг с другом (лишь в частностях), с ним согласятся; с воскресника слово «крылатое» распространится:

— Сказал Стороженко!

— Вы слышали, что Николай Ильич выдумал?

Вовсе не выдумал, — выслушал; выслушав, сообразил и учел, дообезличил до «в общем и целом»; и Гольцеву, Иванюкову, Якушкину — Гольцева Иванюкова, Якушкина ловко вернул, щекотнув самолюбие каждого; этот процесс обезличения шел под флагом высказывания «великого» Стороженки.

Безвольный, как тряпка, весьма легковесный, но хитрый и да — остроумный порой; в отношениях личных — невинный и добрый.

Понятно, что он — возглавлял, обезглавив себя (может нечего было безглавить); мое впечатленье позднейшее: книги почтеннейшего Николай Ильича суть «безглавица» неплодотворная, но добродушная; уже позднее на книгах двух «львов», Стороженки и Веселовского, выучился я тому, как не надо писать, как не надо осмысливать явления литературные; в этом, действительно, многому я научился; надолго они деформировали во мне потребность в «Истории литературы»; теперь лишь стираю с души я следы недоверия к спецам-словесникам; и соглашаюсь, что — переборщаю я в страхе своем; теперь пишутся истории литературы иначе; теперь и полезно весьма отмечать их значение в виду засилия формалистических методов; но впечатление от пустоты, доброты, абсолютной никчемности фраз Стороженки так сильно (пронзен на всю жизнь!), что я все еще вижу тот призрак, в который вперялся все детство, всю юность: ведь было же время, когда Алексей Веселовский, Н. И. Стороженко и критик Иванов собой заслонили все подлинное, что писалось, что писано было до них: три кита!

И Москва повисала на них.

Н. И. «влиял» у себя на воскресниках; Николай Ильич, «пастырь», пасом был общественным мнением; с видом быка был он в сущности только овцою невинною; пересекая своей статистической «средней из всех» этих всех, «всеми этими» выбран был гетманом некоей воображаемой Сечи словесного отделения филологического факультета; вручили бунчук ему; слабо держался бунчук этот в слабых руках; Стороженку не мыслю я без бунчука на воскресниках; сидит Николай Ильич, стол возглавляет торжественно; дикие споры: сцепился отец с И. Ивановым; оба вскочили; и брызжут слюной друг на друга:

— Позвольте-с!

— Нет,— сами позвольте-с!

Сидит Николай Ильич с гетманским видом, подмигивая на отца, на Иванова, шуточкой сыплет (ее и не слышат отец и Иванов), но слышат два-три тихих чтителя стороженковской мудрости); рука поднята, как бы с бунчуком («бунчука»-то и нет: это — «царское платье» Москвы девяностых годов); весь «бунчук» — тарахтящая и безобидная шуточка; протарахтит, точно пуговицы роговые на пол разроняет:

— Тарáх-тахтахтáх!

И — оглядывает своих чтителей тихих: смешно? Успокойтесь,— смешно; и — доволен, что шуткою с будто бы мудростью, вложенной в шутку, от спора ответственного отвертелся; и вместе с тем: гетманское достоинство — соблюдено; и у Янжулов, у Веселовских, у Иванюковых расскажут:

— Вы знаете, как отозвался на спор Николай Ильич?

Нет, Стороженку любил я совсем за другое: за пляс добродушный его: шашашá-антрашá! В «шашашá-антрашá» изживала себя незатейливо так юмористика украинская; хуже, когда «шашашá» выступало во фраке: с ответственным словом; тогда начинались иные истории, — например: отвергали для Малого театра «Дядю Ваню» и провозглашали Потапенко наследником Толстого и Салтыкова; пустенькие водевильчики Щепкиной-Куперник пока-

зывали... в пику Чехову; «шашашá-антрашá», — удел детской, не кафедры!

Конечно, на лозунге вполне либеральном, вполне безобидном нельзя было много проехать, как на палочке; и «палочка» не фигурирует ныне нигде; удивляюсь, что ездили-таки на «палочке» лет этак 20; и думали: делают дело, в то время как в Харькове, вовсе никем не отмеченный скромный профессор Потебня «книженки» пописывал; и Александр Веселовский работал:

— Как... как... Александр? «Алексей» — вы хотели сказать: Алексей Веселовский!

Эту реплику слышу я из 80-х годов; могли допустить: Алексей Николаевич раздвоился: одною рукою строча в Петербурге, другою в Москве строчит; но чтобы был еще Веселовский какой-то, — сочли б за невежу меня: Николай Стороженко и Алексей Веселовский» — омега и альфа; вот чем надышался я в детстве, резвясь в стороженковском доме. Сплошной юбилей. «Общество любителей российской словесности» — место, где все юбилеи справляют (и я, когда выросту, справлю) — расширенная стороженковская квартира; когда я теперь Оружейным иду, останавливаюсь перед тем же я домом (он даже не перекрашен, — такой же стоит он краснокоричневый), где я резвился, где шли юбилеи сплошные, — мне чудится: в окнах мелькнет нос Иванова критика; выглянет из-за окна Линниченко; и — пальцем поманит меня.

Впечатление о потрясающей знаменитости и гениальности Стороженки ребенку, мне, явно сложилось в квартире известнейшей «Байдаковского» дома; конечно же,— под впечатлением тихих чтителей, и — всех домашних:

— Папин поклонник!

— Папа наш знаменит!

Это все «бранкукашки» твердили; и их гувернантки, и няни, и тети, и многие личности, здесь заседающие; во-вторых: половина гостей, здесь бывающих, — гении и знаменитости; здесь-то кафедра, окаменевши, мне выросла в столб; здесь профессор мне кариатидой, увенчанной лаврами, стал; повторял я лишь то, что твердилось; твердилось мне здесь: Алексей Веселовский есть памятник собственной жизни; и здесь же мне памятник рухнул; и «кафедра» — испорошилась; но — светопреставленья (представьте же удивленье!) — не произошло никакого.

Четверть века сюда я ходил; перевидал рои лиц: А. Ф. Кони, Мечников, Боборыкин, Толстой, Поль Буайе, Соловьев, — здесь маячили; помню: резвимся мы в белой столовой, с огромнейшим грохотом стол отодвинув; а из гостиной, обняв Николай Ильича, Лев Толстой к нам выходит; и пристально смотрит, как мы хулиганим; иль: Владимир Соловьев сидит в красной гостиной, весьма удивляя брадой и власами; а мы напряженно стараемся хвостик ему прицепить. В 84—90-х годах постоянно встречал здесь Якушкина, Веселовского, Янжула, Иванюкова, Танеева, тяжелого Самоквасова; шутиком вертится, бывало, не потрясая меня остроумием, В. Е. Ермилов; в том обществе он подавался, как номер эстрадный; а из-под ног (под Стороженкою

жил) появляется нами любимый И. А. Линниченко (тогда — не профессор); Иван Иваныч Иванов, когда ни приди, — все витийствует здесь; и — обедает здесь; а после обеда мы, дети, с'импровизировав в детской «театр», отхватываем половину гостиной, завешиваем ее; и требуем, чтобы гости смотрели на нас; и Федотова — смотрит, похваливает. Помню: здесь ослепил Боборыкина магнием я (у него болели глаза); впрочем, это — не я, а «бранкукашка», Коля:

— Ты, Боря, ему в глаза!

Боборыкин так даже подпрыгнул, а Николай Ильич — ничего.

Одно время придумали номер: придет к Н. И. «чтитель», являемся мы к Николай Ильичу в кабинет с грозным требованием:

— К нам, папа, к нам, Николай Ильич, — на сеанс спиритический!

Бельский, учитель гимназии наш, двойки ставящий, у Стороженок вполне в нашей власти; Н. И. не посмеет перечить он, а Н. И. прибран нами к рукам; Н. И. тащит Бельского в темную комнату, где приготовлена нами засада; мы сядем за стол, в темноте; и подушкою припасенною Бельского бьем (не мы — «дух»); исколоченный нами, уходит отсюда: за двойки в гимназии здесь ему — страшная месть.

В тот период мне нравится очень студент-репетитор «кургашек»; веселый и умный; затеивающий то интересную беготню, то сидящий, пенснэ нацепив, за столом, очень слушающий, даже в споры вступающий, — Дмитрий Иванович Курский (позднее «наркомюст»); после он появлялся лишь: репетирует брат его, Владимир Иванович; Фриче сидит здесь, Бальмонт.

Поздней познакомился у Стороженок с профессорами: М. М. Покровским, с Матвей Никаноровичем Розановым, с Саводником, с Мельгуновым с профессором Бороздиным (тогда — студентом), с профессором Фельдштейном (тогда — гимназистом), с писательницею Р. М. Хин; и со сколькими прочими. Люди менялись в годах; не менялся лишь тон, задаваемый мужем маститым, а после уже дряхлым старцем: довольно пустой; та квартира мне служит уроком: и кариатиды легко... покрываются мохом!

Водили меня гулять на Пречистенский, где встречались все те же, знакомые наши: Федор Иванович Маслов, с которым Танеев дружил, пока Маслов не выписал «Нового Времени», переменив орьентацию; там Самуил Соломонович Шайкевич, известный Москве адвокат, с одноокой супругой бродил; и Владимир Иваныч Танеев порой проносился стремительно; и профессор Александр Карлович Эшлиман, посещавший нас, сидя на лавочке, предобродушно подманивал: Николай Платонович Шрамченко, инспектор женских гимназий, являлся сюда со своей дочкой, Надей; но ждал я не их, а огромную шубу и воткнутый нос в воротник; из мехов два очка мне проблещут (ни носа, ни белых усов, — только шапка, очки, да огромная шуба); и я, вырываясь из рук, мчусь под шубу, в меха, с громким криком:

— Вот — друг мой идет!

И в об'ятиях мягких и теплых тону; и из меха головка седая и старческая вылупляется: мягко шамкает мне: это — Федор Иваныч Буслаев; встречаемся с ним каждый день на бульваре, свидания назначая друг другу и

передавая друг другу последние новости; после же я от него получаю кусочек рябиновой пастилы с неизменным подшептом: от птички узнал он, что я — на бульваре; и вот он — пришел ко мне.

Этот район населен профессурой; куда нос ни сунешь, — профессор: так с нами дверь в дверь живет Янжул; под Янжула в'ехал историка Соловьева сын, М. С. Соловьев; коли носом просунешься в окна из нашей квартиры, то в окна уткнешься; за окнами теми давно обитает профессор Иван Александрович Угрюмов; и рядом же Селиванов живет; на Сенной обитает профессор Владимир Григорьич Зубков; против — сверт в Оружейный; и там — Стороженко, и там — Линниченко.

Очерчена, замкнута жизнь: тесновато! В Арбатском районе томлюсь; сюда выжаты сливки Москвы, или — целой России; и столкнуты и дверями и окнами здесь все традиции славные стаи славной; казалось бы, радоваться.

А тяжелая грусть, безысходная грусть охватила меня, переходя просто в дикую мрачность; тринадцатилетним переживал я буддистом каким-то себя, а не отроком; мрачность перерождалася в бунт открывания «форточек»: в жизнь; у Николая Васильевича вырос сын декадентом; и сказка про серого козлика, от которого остались рожки да ножки, себя повторила: жил-был «Боренька», пришел волк «Белый»; и — «Бореньку» с'ел он.

И Николай Ильич, певший девочке — «Танечке» дифирамбы, на Бореньку не сердито (добряк!) стал коситься, пока... не усвоил... чего-то...

То было пред смертью его, когда он, совершенно разбитый болезнью, повис головою в грудь, свешиваяся с огромного кресла, высматривая исподлобья хитрейшими, украинскими глазками; был одинок: «бранкукашки» (и Коля и Саша) — перебранкукашили так, что он плакал от них; у себя на квартире, дочитывая курс свой последний последнему слушателю: И. Н. Бороздину (препохвальное претерпение!). Выдавал дочь он замуж; унылая свадьба; из университетских один лишь Иван Иваныч Иванов, закатывающийся... в Нежин (да в церковь явившаяся размягченная и поседевшая кариатида-Янжул, уже академик, с большим поправеньем); помнится купчик, седой и подвыпивший на этой свадьбе (со стороны жениха); грустно было на свадьбе подруги; и грустно висел Николай Ильич в кресле; глаза наши встретились; пальцем меня подманил он к себе; и когда я склонился к нему, с мрачным юмором, с истинно-героическим юмором, глазками ткнув на «веселие» и на купца красноносого, вытарахтел свирепою скороговоркою он:

— Козловак!

— Что такое? — не понял я.

— Не правда ли, говорю, — «козловак!»

И еще раз ткнул глазками перед собою.

До этого мы о «симфониях» моих — ни звука: из чувства такта (что мог он сказать о них, кроме жестокого осуждения мне?); а тут вдруг — «козловак» (словечко из «Северной симфонии»); стало быть — прочитал; и стало быть — усвоил; не так уже непонятны, стало быть, словечки «Бе-

лого», коли, когда случилось обстоятельство, соответствующее словечку, то выскочило и словечко у отрицателя моих «словечек».

Да и как не понять «козловака»: там, там, где Максим Ковалевский закатывал спич, Алексей Веселовский же вздергивал ногу Бруно в зарю возрожденья, — ни спичей, ни мужей науки: линяющий Иван Иваныч Иванов, уж где-то в газете хвальнувший меня, говорит что-то о Метерлинке на свадьбе (horribile dictu!), да купчик подвыпивший (откуда взялся он?) подкозловачивал; козловачил всем видом своим — Тубенталь — адвокат.

Да, козловак!

Это было последнее слово, мне сказанное Николай Ильичем: напутственное, прощальное слово, взывающее к сочувствию; и я его понял.

Скоро стоял я над гробом его, переживая действительную скорбь, что утратил этого прекрасного добряка, незадачливого профессора и незлобивого человека; и кто-то из словесников, показывая на прах, дернул ужаснейшим «козловаком»:

— Вот, вдохновитель: и на похоронах «воспойте» нам его.

Я посмотрел на словесника и подумал: «И дернуло же?»

Только средь «апостолов» гуманности возможны подобные «задопятовские» безвкусицы.

Картина среды мне наляпана крупными пятнами красок, действовавших на воображение; анализировать эти пятна я мог лишь отчасти; противопоставить им (быту быт) я не мог; мне ведь сравнения внешнего не было; и все «мое» изживалося немо, подпольно, без слов и без образов; знай я рабочих, крестьян, иль богатых купцов, иль священников, или художников, я бы мог противопоставить; из противопоставления нечто учесть.

Но мне подан университет — с примечанием: все, что я вижу, — единственное «так надо».

Компания позитивистически настроенных либералов — одно пятно нашей среды; забеспокоило рано оно меня: неискренностью позы и нечеткостью идеологии; поза не соответствовала содержанию; честный вид не вполне соответствовал безукоризненности всех поступков и их плодов; брак позитивизма с либерализмом легко вырождался в оппортунистическое шатание; а витиеватая фраза Веселовского, очищенная от аллегорий, вводных и придаточных предложений, оказалась нулем; осточертели мне разговоры о власти идей без материальной и художественной базы слова, едва я прикоснулся к урокам Льва Ивановича Поливанова, учившего ощупывать слово; после первого поливановского урока, до всяческого модернизма — погиб Стороженко, погиб Веселовский; фрак, кляк, кафедра — оказались картонными.

Владимир Иванович Танеев

Владимир Иваныч Танеев — талантливый адвокат и личность весьма замечательная в своем времени; он двояко противопоставлялся: как сумасброд, полусумасшедший позер; и как умница, смельчак и представитель недосягаемой левизны в нашем круге, поклонник Фурье, прекрасно начитанный в социологической литературе, знаток Сен-Симона и Луи Блана, лично

переписывавшийся с Карлом Марксом, он для профессорской Москвы 80-х годов—опасен во всех отношениях; за общение и за опасные фразы Танеева могло влететь не Танееву, а например, любому профессору, с ним тесно общающемуся — тем более, что этот небоявшийся слов человек организовал ежемесячные обеды в Эрмитаже и много лет рассылал приглашения сливкам нашего круга; и там, за обедом, высказывал сногсшибательные сентенции о том, что надо не оставить камня на камне на нашем строе.

Не сомневаюсь в искренности ужасно красных речей, потому что уверен в безусловной правдивости этого человека; но факт оставался фактом: Танеева не трогали, предоставляя свободу потрясать основы и в Эрмитаже и в парке собственного имения, куда «помещиком-Танеевым» посторонние люди не допускались; стало быть: пропаганды в собственном смысле и не было; к танеевским потрясеньям полиция привыкла, зная, что «красные ужасы» котируются даже друзьями Танеева, как барское чудачество; оставалось непонятным, как разрешались обеды в Эрмитаже; высказывалось предположение, что шпикам они на-руку, ибо выявляют реакцию Ковалевских, Иванюковых и Муромцевых на приглашение предать все огню и мечу. Знали: сам Танеев меча не обнажит и красного петуха не подпустит под собственную кровлю.

Опасность Разина, Пугачева не угрожала.

Правда, одно время боялись Танеева в качестве председателя Совета присяжных поверенных, но, как оказалось, — более, чем полиция, боялись Танеева присяжные поверенные, в скором времени забаллотировавшие его, после чего он, бросив адвокатуру, переехал в деревню и оказался самоарестованным в собственной усадьбе своей.

В этом положении он был смешон.

Повторяю: хочется подчеркивать его всяческую порядочность; и признавать остроту им наводимой критики; но ведь он сам был об'ектом этой критики; устраивалось харакири: фурьеристом Танеевым барину Танееву, развивающему в усадьбе чисто самодержавную власть.

Говорил же он воистину ужасные вещи (для своего времени); его идеалами были: Робеспьер и Пугачев; он собрал ценную коллекцию изображений Пугачева; одно из них, увеличив, повесил, как икону, у входа в свой собственный библиотечный зал; и всякого, вводимого в зал (это был ритуал), останавливал перед «иконой», прочитывая лекцию; и после, отвешивая нижайший поклон, не то Пугачеву, не то собственным словам о нем, припевал плачущим, громким голосом, напоминающим голос Толстого:

— Вот самый замечательный, умный, талантливый русский человек!

И еще нежно любил он Сен-Жюста.

Его постоянною поговоркою было упоминание всем и каждому, как некое memento mori:

— Это будет тогда, когда мужики придут рубить головы нам...

И ужаснув либерала, порывающегося итти в народ во фраке и в шапокляке, весьма довольный, он... нюхал... розу.

По его мнению: давно пора рубить голову: туда и дорога нам; это мнение его распространялось на весь круг друзей и знакомых: удивительно, что у них головы на плечах; еще сто лет тому назад следовало бы начать головорубку; и как жаль, что Робеспьер — не дорубил.

Все это произносилось с мрачно сантиментальным вздохом; его серые, задумчивые глаза и сизокрасный, перепудренный (оттого синий) нос, напоминающий помесь носа ворона и индюка, вперялись в какую-то ему одному видную точку, а пальцы руки судорожно сжимались; и, глядя на него в эту минуту, нельзя было сомневаться в том, что пальцы сжимают ему одному зримый топор, которым он в следующую минуту ему одному ведомым способом снесет голову: себе самому. Когда указывалось, что его жизнь не соответствует его социальным взглядам, он грустно вздыхал и тонким, плачущим голосом (не то насмехающимся) заявлял:

— Что же я могу сделать?

— Сумасшедший! — раздавалось вокруг.

— Чудак!

— Фразер!

Он не был сумасшедшим, ни позером только, хотя поза и заостряла в превосходную степень его кровавые афоризмы; двуногий афоризм, ходячее противоречие, — он сам осознал себя:

— Как поживаете?

— Ах, пора меня к чорту!

И тут же нравоучительно прибавлялось:

— Когда я умру, — напомните моим близким, чтобы поскорее убрали они с глаз долой падаль!

«Падаль» — труп Танеева.

Он был убежденным материалистом, хотя я видел его скорей сенсуалистом; и он же до всякого «эстетизма» был первым московским эстетом своего времени; так: еще в 70-х годах, насчитывая у Пушкина лишь с десяток формально безукоризненных стихотворений, он провозгласил первым поэтом гонимого и непризнанного Фета; но, поклоняясь поэту, ненавидел «крепостника»; когда Фета признали и стали справлять его юбилей, то среди пены похвал речь Танеева Фету прозвучала едким уколом.

Он и сам писал стихи, антологические, в духе Фета.

Сенсуалист, анархо-социалист, эстет, был он не просто безбожником, но и хулителем, проклинателем бога, высказывая истины, от которых чуть ли не падали в обморок: в ответ на вопрос, как примиряет он в себе собственные социальные противоречия, он неизменно отвечал, что его ответ — огромное, социологическое исследование, которое он всю жизнь пишет, но которое будет обнародовано лишь после смерти его; он умер: не знаю, было ли написано обещанное исследование; оно ему представлялось ценным; многие утверждали, что его и нет вовсе, и что ссылка на исследование — слова.

Что было ценностью, так это его библиотека; она была трояко ценна: социологический отдел был едва ли не наиболее богато представленным среди всех библиотек; он, насколько я слышал, стал стержнем библиотеки

Коммунистической академии; ценна была коллекция гравюр, посвященных французской, великой революции; наконец, ценность представляло собрание редких, роскошных изданий; как только где-нибудь выходило издание в нескольких экземплярах, Танеев не успокаивался, пока из Лондона, Парижа, Берлина, Вены не получал он своего экземпляра; библиотека являла и богатую библиографию: помнится, лукаво поглядывая на меня, он предлагал мне назвать любого автора, которого портрет и библиографический материал о котором я желал бы иметь под руками сию минуту:

— Не может оказаться автора, портрета которого у меня не было бы: ну, называйте.

Я назвал Сар-Пеладана, руководствуясь мыслью: Танеев и Сар-Пеладан, что общего?

Походив от одной полки к другой и полистав какие-то книжечки, он подкатил лесенку, влез и скоро спустился с серией томов Пеладана и с его портретом.

— Может быть, вы еще кого-нибудь хотите увидеть?

Но я, убежденный во «всепортретности» библиотеки, отказался ее экзаменовать.

В библиотеке, как в темном дне жизни Владимира Ивановича, в годах утонуло все прочее: жажда рубить головы, деньги, имение, социализм, барство, собственная жизнь; библиотека до основания разрушила бытие Танеева; и в последние годы — полубольной, без гроша денег, т. е. без возможности скупать книги, он являл собою какую-то мрачную помесь из Плюшкина и Иоанна Грозного: заходя к нам в эпоху 1904—1906 годов (во время наездов в Москву), он, уставившись в новую книгу, которой у него не было, начинал странно и жадно дрожать; я, что мог, предлагал ему, и он, обладатель ценных гравюр и баснословно дорогих изданий, с благодарностью брал у меня ненужное книжное дрянцо; в этом прибирании чего угодно, как угодно изданного и ему ненужного почти книжного хлама я видел черты уже настоящей болезни.

Да, книжная паутина оплела танеевский меч для снесения голов; и в сырости огромного, необитаемого здания, где расставилась библиотека, была гарантия, что красный петух не пожрет томы; из огня и холодной сырости поднимался этот странный туман, все более и более заволакивающий Танеева; идеология Танеева — непроницаемый туман, в чем я убедился уже в 1910 году, когда провел месяц в его Демьянове; гуляя в парке, заговорили мы о психологии и теории знания; и я чувствовал, что происходит нечто странное; я говорю и вкладываю в понятие «теория знания» общефилософский смысл, меняющийся в направлениях, но меняющийся вокруг, так сказать, исторического стержня самого образования понятия; Гегель мог так понимать термин; Кант иначе; Маркс опять-таки иначе; но нечто от термина оставалось в вариации понимания: а то, что разумел Танеев, было непроницаемо; наконец, когда он сформулировал свое понимание, я быстро замолчал; и уже никогда с ним на философские темы — ни слова, ибо он

сформулировал... просто галиматью; надеюсь, что его социология была выкроена у него в голове не из этой материи.

Да, ходил он в тумане; и из этого тумана он утверждал:

— Все люди сошли с ума.

Или он утверждал:

— Все люди делятся на жрецов, убийц, хамов и рабов.

Особенно утонченна была градация хамов; в ней, например, была подрубрика: хам эстетический; к ней относились: всякие художники (и кисти и слова) и...проститутки.

Последние года теорию срубления голов стала вытеснять теория уничтожения европейского материка монголами.

В последний раз я виделся с чудаком летом 1917 года; он расхаживал с Климентом Аркадьевичем Тимирязевым, жившим на даче у него, в белом балахоне, с угрюмым видом Иоанна Грозного, замышляющего казнь всем, и с огромной палкой, напоминающей жезл Грозного; постоянно вдвоем бродили в парке старики; Климент Аркадьевич прихрамывал (последствия паралича); и из груди его вырывалось уже пламенное сочувствие делу Ленина; Танеев молчал, как могила, по адресу Ленина; изредка вырывалось лишь по адресу Керенского:

—Чудовищная тупица!

Временное правительство было для него собранием идиотов.



Книга выписывалась Танеевым отовсюду; книжные магазины Готье, Ланг и Кнебель работали для него; все отцовское состояние и весь личный заработок эта книга с'едала; чтобы обрамить картину из тысячей томов, понадобился огромный зал; для зала понадобилось перестраивать старый, каменный старинный домина, доставшийся вместе с купленным Демьяновым; Танеев, эстет, перестраивал этот дом, руководствуясь принципами высшей книжной эстетики, — в ряде годин: перестройка с'едала все средства; и полугодиями дом стоял в развороченном виде; средств не было.

Наконец, через много лет дом был окончен, но уже семейство Танеевых не жило в доме, где некогда было так хорошо и просторно; Танеевы переехали в боковую дачу; перестроить старый дом в новый было и трудней, и дороже, нежели, если бы он был разрушен до самого основания; если бы его Танеее предал огню, он бы скорее отстроился; годы шел раззор и себя и домашних; с ужасом рассказывалось и женой и детьми, как под дом подводится центральное отопление, взывающее к топке, с'едающей сажень в день; больше ни одной печки! Топить дом было невозможно.

И Танеев, перебравшись в деревню, жил в новом доме не более 2½ месяцев в году, прочие 9½ месяцев ютясь кое-как, в двух комнатушечках; зимой в библиотеке даже нельзя было работать в теплой одожде; такой там стоял сырой холод. И этот холод не протеплялся до конца даже летами.

Но в расстановке книг, полок, в выписке специальных приспособлений, в приготовлении гипсовых копий с античных статуй, в развеске портретов проходили долгие месяцы, если не года; были в библиотеке и прилавки и ка-

кие-то выдвижные, полувыдвижные и невыдвижные столики, пюпитры, откидные доски для работ стоя, сидя, ходя, полулежа: предполагалось, что обладатель будет тут проводить 24 часа 12 месяцев, а не 2½ месяца в году; но к сентябрю уже Танеев уползал из своего сырого великолепия в бедную, ничем не обставленную, нору; библиотека-то и была огнем и мечом, которыми Танеев истребил в себе для Плюшкина и фурьериста и сибарита.

Сибаритством некогда была переполнена жизнь этого барина, которому со свирепой мрачностью он отдавался; сыны его рубили дрова, запрягали телеги, не вылезали из поддевок и смазных сапогов, работая, как настоящие мужики с мозолистыми руками; надо было работать и хоть на чем-нибудь с'экономить: ананасную, персиковую теплицу, грунтовой сарай для испанских вишен и прочие затеи надо же было содержать; сдавали дачи и повышали ценность земли маленького именьица с гигантским домом, с гигантским парком, с царственными аллеями.

Сибаритство Танеева «омужичивало» семью; сыновья и дочери выглядели скромными, ко всему привыкшими спартанцами; и одно время были притчами во языцех для всех: мчатся телеги; на них с криком, с подсолнухами сидят рослые парни и девки в сарафанах:

— Из какой деревни,— спрашивали непосвященные.

— Что вы, это — Танеевы!



Помнится мне, ребенку, маленький танеевский особняк в Обуховом переулке; долгое время в нем жили два брата: композитор, Сергей Иваныч, и адвокат, Владимир Иваныч; вынося за скобку общую чудаковатость, поразному проявляемую, они были полной противоположностью друг другу: худой, бледный, русый, мрачный, злопамятный Владимир Иваныч и полный, розовый, почти чернобородый, незлобивый и рассеянный весельчак Сергей Иванович, ушедший в музыку, которую брат ненавидел: не мог выносить. Брату Сергею надо было играть на рояли; но от звуков рояля брату Владимиру делалось дурно; и Сергей Иваныч завел беззвучную рояль; и на ней упражнялся — в нужных ему, как пьянисту, нажимах пальцев.

О композиторской и директорской деятельности (С. И. одно время был директором Консерватории) Владимир Иваныч был самого невысокого мнения, но учил брата, как надо дирижировать, т. е. как не махать руками и не валять дурака, ибо нет ничего глупее ломающегося дирижера, а они все — ломаки; и С. И. с испугом дирижировал, пряча руки и помахивая палочкой себе под носом; Сергей Иваныч сильно побаивался крутоватого и его не щадившего брата, пока не перебрался от него в Гагаринский переулок, где я у него позднее бывал, где он и умер; крутоватый брат ходил по Москве и плачущим голосом утверждал:

— Нет никого глупее музыкантов!

И эти заявления делались в лицо друзьям композитора, т. е. Рубинштейнам, Чайковским, Гржимали и прочим музыкальным корифеям.

Однажды, когда у брата сидели эти корифеи, в комнату вошел Владимир Иванович и, плача голосом и кланяясь русой своей бородою и синим

носом, попросил композиторов ответить ему на вопрос, который-де его мучает: что есть музыка? Поднялся спор; В. И. предложил основательно вырешить этот вопрос и ему доложить; и — вышел из комнаты; спорили часы; и вот что-то вырешили; послали за В. И. Он — входит; ему докладывают; тогда он, так же плача и так же кланяясь носом, назидательно замечает, что определить сущность музыки — сущая бессмыслица, ибо эта сущность неопределима; весь опыт с корифеями — лишняя демонстрация их идиотизма.

Совершенно ясно: «братцы» должны были раз'ехаться; рознь их шла по всему фронту; например: Сергей Иваныч — друг дома Толстых, почитатель Льва Николаевича; Владимир Иванович питал к Толстому совершенно исключительную ненависть, имел с ним сходство (в глазах и в тембре голоса); моя мать, поклонница Толстого, все распространялась об обаянии, которое разливает вокруг себя Лев Николаевич; Танеев гордился, что при общем круге знакомых, ему удалось элиминировать встречу свою с этим «неграмотным и тупым фарисеем», не раз желавшим завязать с ним знакомство; однажды, встретясь с матерью, Танеев ей говорит:

— Ну вот: и я наконец увидел вашего Толстого.

— Быть не может: где?

— В центральных банях,— задумчиво проплакал Танеев.

— Ну и что же? — непроизвольно вырвалось у матери.

— Ах, как он безобразен!

Танеев был сторонник античной красоты и физкультуры; «безобразие» толстовского тела было для него важным фактором, уличающим Льва Толстого; сам Танеев был весьма безобразен, напоминая не раздутого индейского петуха, а обтянутого индейского петуха; перепудренный длинный нос его вывисал, как мягкая часть, свисающая у индюка с носа: и формой и цветом (синеватосизым от пудры); в старости он стал вылитым Грозным.

Он был помешан на чистоте; он уродливо перемывался, утрами выбегая в умывальную, где стоял ассортимент ведер всяких вод (от ледяной до кипятка), так или иначе расположенных; не отдавшись двухчасовому перепромыванью и перепротиранью себя, он не мог сесть за рабочий стол; тайну комплекса ведер, щеток и полотенец ведала нянюшка «братцев», Пелагея Васильевна, отдать которую брату он на этом основании не мог (никто не одолел тайны приготовления умывального аппарата); в Пелагее Васильевне и заключалось соединение жизней столь различных братьев; оба без нее жить не могли.

Наконец, Сергей Иваныч таки похитил, как Прозерпину, Пелагею Васильевну из царства Плутона; этого В. И. брату простить не мог, утверждая, полушутливо, полуозлобленно:

— Сергей Иваныч — хитрец и плут.

Понятно: после Пелагеи Васильевны Танеев уже ни разу в жизни не домывался; он мылся утонченно (и кушал утонченно); вытирая мокрую голову свою, он едва ли не сдирал с себя кожу; вообще: жизнь его — сплошное эпикурейство; помнится, как сквозь сон, его московский кабинет (до

переселения «библиотеки» в деревню); поражали в нем не столы, а книжные прилавки, на которые он, стоя за прилавком, разбрасывал свои гравюры и роскошные переплеты; и, помнится, сидит его друг, присяжный поверенный Минцлов (отец позднее небезызвестной в Москве теософки, странно исчезнувшей); из кабинета вела едва ли не потайная дверь в дедовский винный погребок, откуда угодившему гостю приносились ценнейшие, едва ли не столетние вина; Танеев лет 20 выпивал погребок свой; и оттого, вероятно, его кончик носа сизел и синел; угодившему посетителю предлагался стакан столетнего мозельвейна; не угодившему — дарилась книга; не угодить Танееву в 80% означало: посадить невидную царапину или оставить пятнышко на показываемом роскошном издании, которое превращалось в «опоганенный» хлам, иронически даримый «поганцу»; тайны подарка «поганец» не понимал; и с удивлением принимался благодарить хозяина, над ним издевавшегося.

Танеев был крайне честен; однажды, в бытность его адвокатом, к нему явился известнейший миллионер, прося взяться за дело, которое и стал излагать; Танеев слушал с добродушным хладнокровием; дело — изложено; Танеев молчит; молчит озадаченный молчанием миллионер; и вдруг раздается: короткое, отрывистое, негромкое:

— Пошел вон, скотина.

И миллионер, схватив шапку, молча исчезает.

Таких эпизодов немало с ним было; однажды, нуждаясь в деньгах, он отказался вести дело лишь потому, что клиент его назвал голубчиком:

— Я вам — не «голубчик»!.. Берите бумаги...

Клиент, перепуганный, кланялся.

— Нет, нет,— берите: я вам — не голубчик!»

Выше среднего роста, скорее худой, с бледноватым, бессонным лицом, обрамленным узкою, русою бородою, с мягчайшею шапкою русых волос, с лбом покатым, сбегающим и монументальным, весьма перепудренный нос сизосиний, с опущенными серыми пронизывающими мимолетом глазами, в лицо не глядящими, все подмечающими, вовсе не франтоватый (от безукоризненности «стиля» костюма), он тихо входил, будто вкрадываясь; делалось напряженно, неловко от мысли, что от тысячи мелочей он способен прийти в ужас: при виде пылинки, при обонянии недостойного запаха (переутонченное обоняние); молчаливое явление его стесняло свободу; не видывал я такого тирана, как он; не случайно он в старости имитировал Грозного: родись Грозный в XIX веке, как знать,— может быть фурьеристом он стал бы; и родись Танеев в XVI веке, он стал бы, как Грозный.

Его любимейший лозунг «нестесненья свободы» был самым ужасным стеснением; не верили, слыша диалог Танеева с сыном, Сергеем, рослым малым, воспитанным по системе Жан-Жак-Руссо, в поддевке, в смазных сапогах:

— Потрудись Сереженька, друг мой,— сходи ты туда-то...

— А ты сам пойди — огрызался сын.

И Танеев покорно плакал:

— Слушаю, мой друг.

И — шел.

Но никто не верил дерзенью кротчайшего, трудолюбивейшего Сергея Владимировича; и никто не верил в «кроткого» Владимира Ивановича, дачники испытывали «нестеснение свобод» настоящим рабством; система декретов Танеева, передаваемых устно, определяла: что можно и чего нельзя в парке, на даче; нельзя трогать цветов, бросать окурки, от вида которых он падал в обморок; одной дачнице он предложил в три дня выехать после ее заявления, что в ее даче сыровато (не сыровато, а — очень сыро)

— Нет уж, пожалуйста, уезжайте, а то вы простудитесь.

Его едва вымолили не гнать; так он карал за неосторожное выражение (между нами — за правду); в другой раз он тоже отказал от дачи вернув деньги:

— За что вы гоните меня?

— Вы не так обошлись с вашей прислугой.

В данном случае действовал он из принципа справедливости; но его принцип всегда протыкал, как меч, ударяющий из угла; грубый человек выпалит прямо в лицо,— «кара» Танеева настигает неожиданно, как государственная необходимость.

Одно время он запретил военным появление в парке; и не сдавал их дач на том основании, что они убийцы, носят саблю и всегда могут кого-нибудь зарубить; а он охраняет благополучие дачников (вернее — пасет их жезлом железным); сам-то он верил, что не стесняет свободы; видя как дети его висят кверх ногами с вершины березы, мать раз воскликнула:

— Ведь они оборвутся: что ж вы молчите?

— Я и сам боюсь,— нюхал розу он,— а что я могу сказать?

Не стесняя словесными запретами, он нагонял ужас жестами нестесненья свобод в семье; в доме его не вылезали из страхов, ибо он мстил жестом поступка.

— Где же В. И? — спросила раз мать.

На это один из сынов ответил:

— Папе Елена не так штаны сложила; он и уехал в Москву.

Однажды за столом, рассмеявшись, он поднял глаза к потолку и увидел: над головою его качается паутинка; молча он встал и исчез: из Москвы из Демьянова; жена сходила с ума; наконец — телеграмма... из-за границы «Жив, здоров».

Думаю, что «дыба», им устраиваемая семье, превосходила «дыбу» Грозного, ибо была утонченно проведена сквозь Жан-Жак-Руссо и Фурье. демонстрация Танеевым нестесненья свобод была пыткой для многих.

———

Моя жизнь

С. Подьячев

(Продолжени-) [1]

Стояли ясные, теплые, безоблачные дни все время, пока я шел до Мо-
:вы. Шел не торопясь и все больше проселками с тем расчетом, что здесь,
) деревням, в сторонке от большой дороги, скорее можно получить ночлег,
равно и пропитание.

Шел, повторяю, не торопясь (торопиться было не к жене на печку),
продолжительными «залогами», делаемыми где-нибудь на опушке леса,
овражке у ручья или около ржи в мягкой ароматной траве.

На ночлег всегда отводил десятский. Вставать приходилось рано, а на до-
)гу, почти каждый раз, хозяйка снабжала или куском хлеба, или вареной
ıртошкой.

Итти было хорошо, ибо стояла самая лучшая благодатная пора. Рожь
)лько что еще начинала колоситься, яровые густо зеленели, куковали ку-
/шки, по берегам речек и ручьев в кустах щелкали соловьи, а рано по
грам над полями на перегонки с азартом чирликали жаворонки. Особенным,
ıким-то радостно-ласковым, веселым шумом лепетала молодая, зеленая
ıства на кустах и деревьях. Разнообразные пахучие цветы пестрели в соч-
)й траве, и помню, случалось в полдень, когда особенно припекало солнце,
ернешь с дороги в кусты, куда-нибудь в тень, ляжешь в траву и отдохнешь,
)ислушиваясь к пению птиц, стрекоту кузнечиков и к шелесту листьев. На
/ше становится покойно и тихо, неохота подниматься и итти дальше, а яв-
ıется желание лежать вот так постоянно, слушать пение птиц и лепет
ıстьев.

В Москве после долгих мытарств, голодовок, безночлежья, нищеты уда-
)сь мне, наконец, поступить на дело: стеречь склады торфа на Рязанской
элезной дороге. О том, как я жил сторожем на этих складах, как начались
то время мои первые литературные шаги, жизнь у издателя журнала «Рос-
ия»,— обо всем этом я уже писал («Красная новь», январская книжка
929 г.) и теперь начну повествование свое с того времени, как после по-
ıра и несчастия с издателем журнал прикрылся и мне пришлось уйти.

Жизнь моя пошла по новому руслу.



[1] См. №№ 3, 4, 5, 6 и 7 «Красной нови».

Мне, набаловавшемуся на хороших харчах и на легкой жизни у издателя журнала, снова и почти сразу пришлось хвататься за тот же грязный конец веревки, за который я уже держался, вися над пропастью жизни раньше.

Живя на месте, кружась среди каких-то, в большинстве легкомысленных и много пьющих людей, я приучился и привык пить. Водка в то время была дешевая. Полбутылка самой лучшей, № 21, какой-то «двойной очистки», знаменитой в то время фирмы «Петра Арсентьевича Смирнова у Чугунного моста», стоила двугривенный, а фирмы какого-нибудь Шустова двенадцать — пятнадцать копеек. Была водка и еще дешевле (картофельная) — копеек по восемь за «половинку». На каждом шагу торчали трактиры с продажей питей распивочно и на вынос, пестрели вывески ренсковых погребов и портерных. Словом, «питейного» добра было, как сказали бы теперь, «до отказу».

Покинув место, к которому хорошо привык, поселился я в меблированных комнатах «Ялта» на углу Живодерки и Садовой, заняв небольшую и недорогую комнату. Меблированные комнаты находились во втором этаже углового здания, выходившего одной стороной на Живодерку, другой на Садовую.

Внизу, в нижнем этаже, под меблированными комнатами, был трактир с продажей вина и портерная-пивная. Из меблированных комнат был туда ход, и там, особенно по вечерам, шел постоянный «дым коромыслом».

С Живодерки (теперь, кажется, она называется по-другому), в те времена грязной, вонючей, узкой, плохо освещенной, часто неслись по ночам отчаянные вопли: «Ка-а-раул! Гра-а-бют!»

Ко мне, в мою меблированную комнату, часто приходили приятели, которых я приобрел, живя на месте. Народ хотя и молодой, но в большинстве уже, так сказать, «бывшие люди». С ними я пил и гулял.

Девушка-портниха, с которой я близко сошелся, жалея меня, терпела мое беспутное поведение и, стыдно признаться, содержала меня в надежде, что я в конце концов исправлюсь, поступлю на место, женюсь на ней и мы заживем, как все «порядочные люди», тихо и хорошо. Но надежды ее не оправдались. Вместо того, чтобы жить как «порядочные люди», я окончательно свихнулся, «сбился с правильной пути», как поется в песне, и в конце концов мы с ней разошлись, или, вернее сказать, она меня бросила. В это же время меня выгнали и из меблированых комнат за неплатеж. Приютился я у знакомого столяра, которому тоже вскоре хозяин дал «ращет», т. е. уволил.

Столяра звали Андреем Васильевичем. Это был молодой здоровенный веселый человек. Он был женат. Жена проживала в деревне вместе с его отцом и матерью. Я близко сошелся с ним, и вот однажды мы,— а дело было зимой, после Рождества,— задумали покинуть Москву и уехать в... Баку. Ему ли или мне, хорошо не помню, но только кто-то наговорил, что там, в Баку, житье «дальше ехать некуда» и что там «живо» можно заработать большие деньги. У Андрея Васильевича из имущества было: гармоника, пара белья и немного (пустяки) деньжонок. У меня тоже добра было немного.

В общем, с обеих рук, собрали сколько-то денег, сумму конечно, небольшую и вот, выпив на прощанье с Москвой на Дьяковке бутылку и захватив таковую же с собой, отправились на Рязанский вокзал, выправили до Рязани билеты («а там видно будет») и, как сейчас гляжу, поздно вечером выехали из Москвы.

Вагон, в который мы попали, был переполнен народом. Огарки свечек, в фонарях, висевших над дверями по ту сторону вагона и по эту, тускло мерцали в каком-то окружавшем их тумане. За окнами чернела непроглядная тьма, а в дверь, когда ее отворяли, врывался холод вместе с сухим колючим снегом. Сплошной несмолкаемый гул человеческих голосов царил в вагоне. Было много пьяных. Пели песни. Кричали. Ругались.

Мой Андрей Васильевич заиграл на гармошке, чем еще больше оживил вагон. Собрался около нас народ. Стали петь под гармошку разные песни, играть которые Андрей Васильевич был мастер. Потом мы с ним пили водку, снова он играл, а я вместе с другими кричал песни, ругался, шумел, пока не свалился.

В Рязани, выйдя из вокзала, остановились, не зная куда итти и зачем собственно мы здесь.

— Купцы! Ваши степенства! Пожалуйте!— крикнул нам стоявший неподалеку извозчик.— Куда прикажете?

Мы подошли к нему.

— Свезу, что ли? — спросил он.

— А куда ты нас повезешь?— сказал Андрей Васильевич.— Мы здесь ничего не знаем. Из Москвы мы. На постоялый бы нам где подешевле.

— Вам что же, ночевать, что ли?

— В роде этого.

— В номерок не желаете?

— Дорого небось?

— Дешевле пареной репы. Всего три гривенника в сутки. Покой и чистота-с. Все двадцать четыре удовольствия. Угодно, и девочки найдутся, для курьеза-с!

— А далеко? Сколько возьмешь довезти?

— Гы! Сколько? Всего один пятиалтынный. Эна, дом-то,— махнул он рукой,— отседа видать. Садитесь, ваши степенства, господа купцы.

Мы сели в санки. Он хлестнул лошадь кнутом, заорал: «Но-о-о, дьявол!» вскачь подвез нас к парадному какого-то длинного двухэтажного облупленного здания.

— Пожалте,— сказал он, соскочив с козел,— приехали!

Мы отдали ему пятнадцать копеек и вошли в «гостиницу».

Какой-то длинный нескладный человек встретил нас и, подозрительно окинув глазами с ног до головы, сердито спросил:

— Вам чего?

— Номерок бы нам не из дорогих,— сказал Андрей Васильевич,— на одну ночку.

— А пачпорта есть?

— Найдем.

— Двое вас?

— Двое.

— У нас правило: денежки вперед.

— А ты говори цену-то!

— Вам как — подешевле?

— Да уж, знамо. Мы не господа.

В конце концов, для нас нашелся «номерок», хуже которого очевидно не было во всей не только гостинице, но и во всей Рязани. Для нас, впрочем, это было не особенно-то важно, ибо ведь остановились мы здесь не на год, а на одни сутки.

Половой или, как его назвать, не знаю, взял наши паспорта, получил деньги и, прежде чем уйти, сказал:

— Ежели неравно выпить задумаете, мне скажите. У меня есть. Я держу для этакого случая.

— У тебя небось не укупишь. Дороже вдвое? — спросил Андрей Васильевич.

— Всего один пятачок беру лишку. Зато у меня и в полночь завсегда получить можно. Принесть, что-ли? Все равно не миновать брать!

Андрей Васильевич вопросительно посмотрел на меня и усмехнулся. Я, зная, что он хочет сказать, утвердительно кивнул головой.

— Ну что ж, принеси, коли не лень,— сказал он, обращаясь к половому.— Огурчика солененького не найдешь ли закусить? Мы, понимаешь, того-с... с похмелья!

— Все будет. Пожалуйте деньжонок. По торговой части изволили приехать?

— Да.

— Ну, дай бог!

Он вышел и скоро возвратился обратно и не один, а с тем извозчиком, молодым красномордым парнем, который привез нас сюда. Парень виновато ухмылялся и какими-то пустыми глазами прищурившись глядел на нас.

— Ты чего? — спросил у него Андрей Васильевич.

— Сами знаете,— ответил извозчик:— с прибытием-с!

Смутно помню, как этот извозчик, спустя некоторое время, выходил из нашего номера пьяный. Он долго не мог попасть в дверь. Его швыряло то в правую, то в левую сторону. Наконец он попал к двери, уперся сначала обеими руками в косяки, потом опустил руки, уперся в дверь, открыл ее тяжестью своего тела настежь, не удержался и покатился вниз по лестнице.



Поднявшись утром с налитыми свинцом головами, отправились мы, как какие-нибудь заправские туристы, осматривать город. Потолкались по базару, попили в трактире чайку и снова направились к себе в «номерок».

Здесь тот же вчерашний половой, не спрашивая уже нашего согласия, а очевидно руководствуясь своим опытом, принес бутылку, поставил ее на стол и сказал:

— Кушайте, господа купцы, на доброе здоровье!

— Да мы, отец, хотели обождать пить-то,— сказал Андрей Васильевич. — Дело у нас тут в Рузани в нашей не вышло. Ехать надо ни с чем в Москву. А наше дело коммерческое — каждая минута дорога.

— Огурчиков солененьких опять по-вчерашнему прикажете подать? — не слушая его, спросил половой.

— Да уж что же с тобой делать, давай! — сказал Андрей Васильевич и, когда половой вышел, засмеялся и крикнул: — Буду есть мякину, а форс не кину.

Не помню, каким образом попали мы на вокзал, как выправляли билеты почему-то до Козлова, как сели в вагон — ничего не помню! Проснулся ночью и с трудом сообразил, где я нахожусь.

Андрей Васильевич сидел в уголке напротив скамейки, на которой я лежал, и курил.

— Где это мы?— спросил я.

— Где?!. Едем!

— Куда?

— В город Козлов. Забыл, как билеты брали? Да, правда, ты дошел до дела — свету перед собой не видел. Драться ко всем лез.

— А зачем мы в Козлов-то? Нам ведь не туда надо... дальше.

— А где деньги-то? Забыл, кык вчера на вокзале гармошку солдату продали! Рубль шеть гривен всего-на-всего капиталу у нас осталось. До Козлова доедем, сделаем остановку, а дальше пешком пойдем. Там видать будет. А теперь — на-ка, похмелись.

Он достал спрятанную за спиной стоявшую на скамейке в уголке початую бутылку и подал мне.

— Поправься!

Я (противно вспомнить) стал «поправляться», тянуть из горлышка, а он глядел на меня и говорил слова песни:

Наши ужинать садятся,
Сумлеваются про нас:
А и где ж они, беспутные,
Шатаются у нас!

Добрались до Козлова. Слезли. Пошли в город. Все чужое, незнакомое, неприветливое. Денег осталось мало и дальше на езду в вагоне рассчитывать было нечего. Остановились где-то на окраине города на постоялом дворе в какой-то конуре-каморке, где стояла одна голая койка, приставленная к деревянной переборке, на которой сплошь, точно краской накрашены, были темно-коричневые пятна от раздавленных клопов.

Показавший нам эту каморку хозяин постоялого, короткий, бородатый, глазами волка мужик, сказал:

— Покойчик — государь-ампиратору жить.

— А цена?

— Один двугривенный за цельные сутки. А вы что же, по делам, знать, приехали?

— По делам, — ответили мы.

Деньги, как и водится, он получил с нас вперед, а паспортов не взял и даже не поинтересовался спросить, имеются ли они у нас.

— Живите,— сказал он, получив за двое суток, сорок копеек.— Покойчик, говорю, ампиратору жить. Останетесь довольны. А ежели понадобится вам, неравно, закусить али там, грешным делом, выпить — все найдется. Живите на здоровье!

В первую же ночь мы были разбужены криком за окнами на дворе:

— Ка-а-раул! Ба-а-тюшки, ро-о-димые, ка-а-раул!— вопил чей-то отчаяннейший голос.

А другой, злобный и хриплый, в свою очередь кричал:

— Стяжком-то ты яго! А ты стяжком-то огрей! Стяжком-то по ногам-то!

Оставшийся у нас рубль с несколькими копейками на другой же день мы (где наше ни пропадало!) прожили и остались без гроша.

— Что же теперь делать?— спросил я — Как быть?

— Наплевать! — ответил Андрей Васильевич, — эка штука, авось, не умрем. Христовым именем пропитаемся.

— Не дойти нам пешком до Баку, — сказал я, — далеко и время выбрали неподходящее. Какой дурак зимой ходит!?

— А где же ты раньше-то был, об этом молчал? Теперь уж, хоть не хошь, а итти надо!

— А не двинуть ли нам назад в Москву?— робко предложил я.

— А я только собирался тебе об этом сказать!— радостно воскликнул Андрей Васильевич,— да совестно было. Думал: обругаешь. Знамо дело, ворочать назад надо, пока целы.

— А дойдем?

— Дойдем — так дойдем. Люди ходят.

— Далеко нас с тобой нелегкая занесла-то,— сказал я.— Шутка сказать! Холодище, замерзнуть не хитрое дело.

— А что же делать-то? — спросил он.— И так нехорошо, и этак плохо. Сами виноваты. Никто нас не гнал. Ехать дальше не на что, а пешком — когда дойдем. Нет уж, друг, почудили — будет. Давай поворачивать оглобли назад ко дворам, а то, — засмеялся он, — «наши ужинать садятся, сумлеваются об нас: а и где ж они, беспутные, шатаются у нас». Авось, как-нибудь христовым именем доползем, пропитаемся. Свет не без добрых людей.

На этом и порешили.

Помню, вышли мы из Козлова перед вечером с той целью, чтобы, дойдя до ближайшей, первой по пути деревни переночевать и по утру уже по-настоящему двинуться в путешествие.

В этот день, когда мы вышли, в городе был базар, на который с'ехалось из окрестных сел и деревень много народу. К вечеру базарная площадь опустела, и подводы виднелись только кое-где у кабаков.

Выйдя за город в поле или, вернее сказать, в степь, расстилавшуюся белой скатертью перед нашими глазами, нам стало не по себе, стало страшно. Пугала эта голая белая скатерть, которой казалось, куда ни посмотришь, нет, нет ни конца, ни краю. След дороги узкой лентой убегал в серую таинственную даль. Было и холодно и ветрено. Дорогу передувало, и итти по ней было тяжело. Шли молча, подавленные тишиной и странным, незнакомым для нас, привыкших к холмистым видам северного уезда Московской губернии, видом этой голой мертво-пугающей степи.

Отошли версты три. Начало смеркаться, а деревни и вообще какого-либо жилья впереди не виднелось.

Наши ужинать садятся,
Сумлеваются об нас:
А и где же они, беспутные,
Шатаются у нас,—

запел вдруг тоненьким голоском свою любимую Андрей Васильевич.—Н-да, дела! И чорт нас, прости господи, понес, надоумил в Баку в эту! Нашли время два дурака, нечего-таки сказать. А сколько, примерно, как ты думаешь, от Козлова от этого до Москвы верст?

— Не знаю, брат?

— Верст двести будет?

— Больше, небось.

— Триста?

— Пожалуй, больше.

— Ах, мать честная! Н-да! Ну, скажем, триста. Во сколько же дней доберемся мы до Москвы? По скольку, думаешь, примерно, верст пройдем в день?

— А чорт их знает!

— По тридцать пройдем, а? Недели за две, за три осилим?

Я не отвечал. Позади нас послышался крик: «Н-но! Н-но, дьявол!» Мы обернулись. По дороге из города по направлению к нам вскачь бежала лошадь, запряженная в сани. В санях сидели три мужика. Все трое пьяные. Один из них стоял на коленках в передке саней, держал в левой руке вожжи, а в правой кнут и бил лошадь не кнутом, который очевидно оборвался, а кнутовищем. Лошаденка вся вытягивалась и с полоумными глазами, отчаянно махая хвостом, неслась вскачь, кидая копытами снег. Мужики, сидевшие за спиной правящего лошадью, качались, тыкались и кричали песни.

Мы посторонились. Лошадь поровнялась с нами, и в этот момент из саней на дорогу упал какой-то длинный, толщиной, примерно, в руку предмет. Сидевшие в санях пьяные не заметили его паденья и, промчавшись мимо нас, скрылись в серовато-туманной дали.

Андрей Васильевич подбежал и поднял упавший из саней предмет.

— Находка! — радостно закричал он.— Гляди-ка: пара гужей новых! Слава тебе, господи!

Поднятые гужи были новые, хорошие, смазанные дегтем.

— Говори слава богу,— кричал Андрей Васильевич,— кому не надо, деньги дадут! Айда, скорей назад в город, благо недалеко ушли! Продадим их там — и чаек и закуска...

Возвратившись в город, нам удалось на том же постоялом дворе, где останавливались, продать хозяину гужи.

— Где это вы взяли? — спросил он.

— Нашли.

— Гм! Много-ль вам за них?

— Давай трешку!

— Эк ты! Жирно крошишь, дьячка подавишь. Возьми целковый.

— Что ты, очумел!

— Ну, окончательно, получай полтора. Боле никто не даст.

Получив с него деньги, ночевать остались в том же «покойчике».

На другой день, прежде чем уйти из города, зашли на базарной площади в харчевню, торговавшую, между прочим, тут же «распивочно» сивухой. Дешевизна была в этой харчевне удивительная: за восемь копеек, по четыре копейки «с рыла», подали нам огромную чашку щей, которую мы при нашем волчьем аппетите не могли одолеть. Хлеб не шел в счет. Вонючая сивуха черпалась из посудины, похожей на ушат, каким-то «крючком», за который мы платили пятак.

— Что же, — сказал по окончании нашего пиршества Андрей Васильевич,— спасибо этому дому — пойдем к другому. Трогай, белоногий! Все одно,— так ли, сяк ли, сколько ни сиди здесь, а уходить надо.— И засмеявшись, добавил:— Благо итти недалеко.

Эту путину от Козлова до Москвы не забыл я, да и не забуду до смерти. Погода все время стояла морозная, ветреная, с метелями, с заносами. Шли и по шпалам, и по шоссе, и проселками. Подавали плохо. Отделывались словами: «бог подаст», а в некоторых местах просто-на-просто гнали, говоря: «Эх, вы, прохожие толсторожие, работать-то вам, чертям, лень — вот и ходют, православных обжирают! Идите, бесстыжие, откуда пришли».

Случалось, что шли ночью, и один раз чуть было не нарвались на большую неприятность. Произошло это незадолго до конца нашего пути и уже в Московской губернии.

Шли ночью и, не помню уж,— от луны ли или просто от снегу, но было сравнительно светло для того, чтобы не сбиться с дороги. Проходили в одном месте, как сейчас гляжу, по опушке елового леса, и вот вдруг там, где дорога делала крутой поворот, увидали стоявшие в сторонке воза с бревнами, увязанными верёвками и очевидно приготовленными куда-то к отправке. Лошади смирно стояли, изредка пофыркивая. Людей не было.

— Что за оказия!— потихоньку сказал Андрей Васильевич и, сейчас же сообразив в чем дело, добавил: — Молчи... пойдем скорее... воруют.

И только мы тронулись, как точно из-под земли появилось четверо мужиков с топорами в руках и остановили нас.

— Вы что за люди?— напустились они.

— Прохожие,— робко ответили мы.

— Куда идете?

— В Москву.

— Откуда?

— С Козлова.

— С какого такого Козлова! Что вас черти по ночам носют! Про-о-хожие! Жулье вы! Воры, а не прохожие! Порядочные люди об эту пору по ночам не ходют. Нас-то испугали, дьявола, до смерти! Говорите слава богу, что целы остались. Мы думали, об'ездчики графские идут. Счастлив ваш бог! Чорт по ночам носит, а? Нашли время! Беспачпортные что-ли?

В конце концов дело обошлось благополучно. Мы покурили с ними и пошли дальше.

— Сами воры, а нас за воров сочли,— сказал Андрей Васильевич.— Чудно! Чудеса, сосновые колеса и котются, и котются...

Добравшись до города Ряжска,— не знаю, как теперь, а в те времена — плохой уездный городишко,— мы в железнодорожной будке продали сторожу две рубашки и пустились искать в городе харчевню-обжорку. Найдя таковую, как наголодавшиеся волки набросились на еду, благо еда эта — щи, хлеб — была по своей дешевизне нам по карману.

В обжорке было тепло, сухо. Нам, нахолодавшимся, наголодавшимся, место это, по выражению Андрея Васильевича, показалось «раем пресветлым», из которого не хотелось уходить на мороз, а хотелось сидеть здесь, дремать, наслаждаться сытостью и теплом.

Но сидеть в таком блаженном состоянии долго не пришлось. Какой-то человек, как сейчас вижу его, длинный, худой, бритый, с бельмом на глазу, плохо и грязно одетый, подошел к нам и грубо вызывающе спросил:

— Вы что за типы? Откуда взялись?

— А тебе какое дело! — сказал я.

— Стало быть дело! — еще грубее сказал бритый.— Повторяю вопрос: что за Робинзоны? — И, видя, что мы молчим и не хотим отвечать ему, воскликнул:— Вы, следил я за вами, поели, попили, а господа поблагодарили за это, а? Перекрестились, как подобает христианину, а? Нет! Я глядел на вас, нет! Кто же вы, а? Татары? Жиды?

— Отстань, солдат, мелких нет! — сказал Андрей Васильевич.— Чего пристал? Крестись, коли охота, а мы крещеные!

— Гм! Та-ак! Та-ак! Отлично! Превосходно! — И, обернувшись к хозяину обжорки, крикнул:— Вукол Игнатьевич, распорядитесь, пошли за Глебычем, скажи: «Подозрительные люди у меня в заведеньи сидят». Скажи: «Сыцеолисты! Жрут, а не крестются». Распорядись, пошли Ваньку.

— Отстань! Ну тебя к матери под подол! — ответил хозяин.

— Смотри, Игнатьич, ответишь! — крикнул бритый.— Может, они государственные преступники, может, против властей идут, может, страшно выговорить,— против священной особы помазанника божия, а? Как ты, дурак, думаешь?

— Да тебе-то что за забота! Люди сидят, тебя не трогают. Пристал банный лист. Тьфу! И зачем только ты ко мне ходишь, смутьян.

— Я — охрана. А если за вами, чертями, за такими вот дураками, как ты, не смотреть, вы что наделать можете, сволочи, а?!

— Тьфу, собака! Сам-то ты сволочь! Вот чорт-то, не нашего царя, навязался на мою шею, не стряхну никак!

— Дурак ты, даром что пузо отрастил. Молчи, а то и тебе, как укрывателю преступных элементов, попадет. И тебя у меня не долго, к Глебычу стащу.

— Ребята,— обратился к нам хозяин,— ступайте-ка от греха куда идете. Поели, попили — и с богом. А с ним свяжешься, не рад будешь. Мой совет: уходите.

— Да у нас паспорта есть,— сказал Андрей Васильевич.— Погляди, коли надо. Нам бояться нечего. Не из Сибири беглые. Не из тюрьмы разбойники. Рабочие мы, мастеровые.

— Оно и видно, что мастеровые! — усмехнувшись, сказал бритый.— Бродяги вы, а не мастеровые. Мастеровые без дела не шатаются. Кому-нибудь другому скажи, а не мне.. Ну какой вот он мастеровой? — задал он вопрос, указав на меня.

— Какой, какой! Наборщик он, вот какой!

— А ты?

— А я — столяр.

— Сто-о-ляр?! Как же, оно и видно! Жулик ты! Оба вы жулики...

— Отвяжись, сволочь! — крикнул Андрей Васильевич обозлившись.— В морду дам!

— Дай, дай! Ну, дай, дай! — напирая на него, завопил бритый.— Дай!

— Уходите! Уходите! — закричал хозяин.— Уходите от греха!

— Нет, погоди,—вопил бритый,— погоди уходить. Будь свидетель: они меня бить хотели, изуродовать. В полицию пойдем, к господину старшему пойдем! Я так этого дела не оставлю. Не-ет, не оставлю!

Мы поспешили уйти, а он вслед нам с крыльца посылал всевозможные ругательства.

— За что, спроси, лается? — сказал Андрей Васильевич и добавил, помолчав: — Вот что значит чужая-то сторонка: лают тебя, а ты молчи. В Москве случись такое дело — пришиб бы на месте, а здесь, на чужой стороне, поклонишься и барану.

От Ряжска пошли по шпалам, свертывая перед вечером куда-нибудь на проселочную дорогу, и, пройдя по ней до первой попавшейся деревни, шли к десятскому, чтобы он отводил на ночлег. В большинстве случаев на ночлег отводили с руганью и насмешками: «прохожие толсторожие». Питались плохо. Обовшивели. Мечтали о том, как бы добыть деньжонок, проехать по железной дороге. Справлялись по селам и деревням, заходя в хорошие с виду дома, относительно работы.

Андрей Васильевич, как хороший столяр, предлагал свои услуги, и вот однажды, зайдя в каком-то большом селе в трактир, нашли здесь работу.

Хозяин трактира и мелочной лавки, худощавый, небольшого роста мужик, выслушал обратившегося к нему Андрея Васильевича и приятным ласковым голоском спросил:

— Значит по столярному все можешь сделать?

— Могу-с!

— Рамы мне нужно зимние сделать, четыре штуки. Можешь?

— Помилуйте-с!

— Ну что же, оставайся. Струмент мой.

— А цену как-с ваша милость положит?— спросил Андрей Васильевич, стараясь, как это было видно, говорить как можно вежливее и заискивающе.

— Не обижу. Паспорта-то у вас имеются?

— Имеются.

— Куда идете-то?

— В Москву.

— Та-ак. Оба значит мастеровые. Ты — столяр, а энтот,— обернулся он ко мне,— по какому делу? Тоже столяр?

— Нет-с. Он по другому. Печатник он. Наборщик-с.

— Та-ак, та-ак. Ну мне печатника не надо.

— Может найдется, ваше степенство,— сказал Андрей Васильевич,— и для него какая-нибудь работенка на то время, пока я рамы делаю?

— Да какая же работенка? Зима ведь. Кабы лето, другой бы разговор.— И обернувшись ко мне, спросил: — С лошадью управляться можешь? То-ись, запречь, отпречь, поехать?

— Могу.

— Ну, ладно. Будешь с работником, с Васькой, камень подвозить на дорогу Камень-то еще летом набран по ручью в овраге. Его вот и будешь подвозить. Одет-то ты плохо. Рукавицы тебе надо. Эх, вы, мастеровые глядеть-то на вас, ребятушки, слезы! Пропились, знать?

Мы молчали.

— Ну что же, я не осуждаю. Спаси христос, осуждать! На ком греха нет. Все люди, все человеки. Оставайтесь со христом. Ну знамо, пить-есть готовое будете, то-ись на моих харчах. В тепле, в сухоте. На что лучше! А я не обижу. Я бога помню. Грамотные, небось, хорошо оба? Священное писание знаете ли, читаете ли?

И, видя, что мы молчим, продолжал.

— Эх, заблуждаетесь вы, ребятушки, не зная писания. Погрязли во грехах. Ну, христос с вами, христос с вами! Я не осуждаю... так это я, к слову. Оставайтесь, работайте!

Мы остались.

Андрею Васильевичу работать «в тепле, в сухоте» действительно было не плохо, а мне тяжело и плохо. Хозяин постоянно сам будил нас на работу «чем свет», и сейчас же мы с работником запрягали лошадей и ехали,

не взирая ни на какую погоду, за камнем версты за две в овраг. Хозяин подрядился, и очевидно за выгодную цену, поставлять его на дорогу. Камень этот, и мелкий и крупный, накладывали мы в сани и отвозили на место. Наложив первые воза, ехали домой завтракать. Позавтракав, отвозили камень на дорогу и снова ехали накладать. Работать на холоду, накладать в сани холодные, скользящие камни было и неспоро и тяжело. Хозяин дал мне рукавицы, так называемые «голицы», без которых работать было нельзя. Кормил он нас неплохо и иногда «подносил» по небольшому стаканчику водки.

Спал я вместе с Андреем Васильевичем на полу, на стружках в каком-то чулашке-избенке с одним окном. Помещение это хозяин отвел для работы рам. Работал здесь Андрей Васильевич и по вечерам с огнем. Хозяин, окончив свои дела, приходил сюда и, усевшись где-нибудь в сторонке, начинал своим ласковым голоском «поучать» нас, как надо жить «по-божьи, по-хорошему». А то приносил книжку в зеленом переплете, на лицевой стороне которого золотыми буквами было вытиснено название книги: «Избранные молитвы и песнопения», и читал нам из нее псалмы.

Как сейчас вижу эту картину. Горит жестяная висячая лампочка. Андрей Васильевич, засучив рукава, строгает брусок. Я лежу на полу, на стружках. Хозяин сидит под лампой и читает. За окном слышно шумит ветер, где-то за дверью в сенях жалобно, тихонько мяучит, просится в тепло кошка. Я лежу, закрыв глаза, дремлю и слышу, как хозяин монотонно бубнит какой-нибудь избранный псалом. «Та, та, та! бу, бу, бу», слышится мне. Открываю глаза, стараюсь понять и разобрать слова. «Уподобихся неясыти пустынней,— разбираю я и стараюсь вслушаться дальше.— «Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Колена мои изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елеа ради. Слезами моими постелю мою омочу. Яко обыдоша мя пси мнози, сонм лукавых одержаша мя.... Та, та, та! Бу, бу, бу!» — опять вместо слов слышу я, как бубнит он, и дремота одолевает меня.

— Хо-о-роший человек! — говорил Андрей Васильевич, когда хозяин уходил к себе.— Ду-у-ша! Сразу видать хорошего человека! Другой на его месте торговаться бы стал, прижимать, а он прямо говорит: «не обижу». Зашибем копеечку у него — господами до Москвы доедем!

Но... но «господами» доехать нам до Москвы не пришлось. Случилось вот что.

Работа моя тяготила меня, надоела, и я с нетерпением ждал, когда Андрей Васильевич кончит рамы, и мы, получив «ращет», не пойдем, а поедем в Москву. Наконец время это подошло. Рамы были окончены и сданы хозяину. Дело это было перед вечером, в сумерки.

— А уж завтра вы, ваше степенство,— говорил Андрей Васильевич сдавая работу,— нас отпустите: пора нам, дома ждут.

— Что же, с богом, ребятушки, с богом! Идите, я вас не держу. Не-ет не держу! С богом! Завтра вот, господь даст, встанете, умоетесь, богу по-

молитесь и со христом в путь! Далеко вам итти-то, жалко мне вас. Холод на дворе стоит, стужа!

— Да мы поедем,— сказал Андрей Васильевич.

— А-а-а, поедете! Что ж, это на что лучше! Ехать, не пешком итти. А я думал, пойдете. Ну, дай вам господи, счастливо дойти до дому... то бишь, доехать... Рады вам будут, ах рады! Ложитесь теперь, усните, а завтра попьете чайку и в путь-дорожку на машину, а машина — она живо вас довезет. «У-у-у» — закричит и живо. Ну, христос с вами, спокойной ночи!

— Вот это человек,— говорил Андрей Васильевич, когда хозяин оставил нас,— лучше отца родного, ей-богу! Ты заметь: паспортов и то у нас не спрашивал. Поди-ка, другой на его месте первым делом — «паспорта давай», а он — почем он нас знает, какие мы люди,— ни разу не заикнулся насчет паспортов. Вот это человек! Господь нам его за наше страданье послал. Издыхать бы дорогой, кабы не он! А теперь получим денежки, поедем господами! То-то вот и оно-то! А все я, ты без меня пропал бы...

И весь переполненный радостью запел:

Нас и хают и ругают,
А мы хаены живем,
А мы хаены, отчаянны
Нигде не пропадем!

На другой день мы поднялись в добром, веселом настроении рано утром и сидели в трактире близ буфета, то и дело поглядывая на обитую клеенкой дверь, через которую должен был выйти в трактир хозяин.

Наконец он вышел, помолился на икону с неугасимой лампадкой и, прищурившись, посмотрел на нас. Мы встали и поклонились.

— А-а-а! — как-то особенно радостно-ласковым голоском воскликнул он,— ребятушки, здравствуйте! А вы еще здесь? Словно вы вчера говорили мне: «уедем утречком на машине в Москву». Раздумали, знать а?

— А мы, ваше степенство, вас ждем,— сказал Андрей Васильевич,— ращет нам позвольте-с за наш труд-с.

— Это какой же, сынок, ращет вам, не пойму я? — самым кротчайшим голоском спросил хозяин.

— А за работу-с!

— Что ты, сынок, что ты, христос с тобой! Опомнись! Я вам ничего не должен, в ращете мы. Я вас не звал. Пришли вы ко мне, неизвестно откуда, неизвестно кто вы. Пожалел я вас, призрил, поил, кормил, обогрел, худому вас не учил, а наставлял слову божьему. Думал: опомнются ребяты, а вы же за мою за хлеб за соль деньги требуете! Нехорошо, ребятушки, грех. Взыщется с вас за это на том свете.

Мы, пораженные его словами, молчали.

— Чайку-то попили ли? — продолжал он,— а то попейте на дорожку-то. Сиверко нынче, знать, на улице-то студено! Как вы, горюны, пойдете-то! Ну, да авось, господь даст, до станции-то доползете, а там в вагон сядете, на машину — по-шел! засвистит, закричит, только вас и видел...

— Что же, так, стало быть, и не дашь ращет? — каким-то охрипшим голосом спросил Андрей Васильевич.

— А я с тобой, сынок, не рядился. Нет, не рядился. Иди-ка с богом. Пора вам, а то, спаси бог, на машину опоздаете.

— Сво-о-лочь! — прохрипел Андрей Васильевич.

— Сволочь! — повторил за ним и я.

— Ва-а-ня! — закричал вдруг тоненьким, совсем каким-то другим голосом хозяин, обращаясь к бородатому красному половому, — сбегай-ка, родной, к Собачкину, стражнику, кликни его, скажи — я велел. Скажи: какие-то, мол, бродяги мною задержаны, шумят, мол, в трактире. Беги, родной!

Говоря это, он смотрел на нас, и по тому, как смотрел, видно было, что нам, самое лучшее, надо скорее уходит. Что и сделали.

Когда мы, пройдя селом, вышли в поле навстречу холодному, жгучему ветру, Андрей Васильевич голосом, в котором дрожали слезы, крикнул:

— Убить его, дьявола, мало!

— А ты говорил: «хороший человек, отец родной», — сказал я.

— А ты чего молчал?

Слово за слово, и мы, переполненные жгучей обидой, бессильной злобой, поссорились, поругались и едва не подрались.

Озлобленные, грязные, обовшивевшие, после долгих мытарств добрались, наконец, до Москвы и сразу увидали и поняли, что попали из «огня да в полымя», и что Москва «слезам не верит».

(Продолжение следует)

О совхозе

Четырежды громко сломалась строка.
Помарок в тетради без счета.
О, как мне сегодня строка нелегка,
Как много в ней соли и пота.
Я знаю как песню о милой сложить,
О горькой внезапной разлуке,
Как в шелесте питерских красных знамен
Как вдаль простиралися руки,
Как лавою с гиком летел эскадрон,
Как славой покрылся не скрою,
Как в шелесте питерских красных знамен
Эпоха идет над землею.
Но как рассказать о победе простой
(где кровь заменяется потом) —
Над дикой землею, над бурей степной,
О страдной бессонной работе.
Где ястребы с клекотом кружат,
Сегодня раскинуты пашни,
На десять столетий, где жизнь замерла,
Встает она мощью всегдашней.
Нам надо века наверстать, нам вперед
Лететь через годы и ночи.
В три смены работа над полем встает
Привычною хваткой рабочей.
О. трудно об этом строкою греметь —
В работу стихом лишь впрягаться,
Как старых монет здесь стирается медь
Обыденных аллитераций.
И как рассказать мне, что в дикой степи,
Где ястребы с клекотом кружат,
Растут полукружья смолистых стропил
И степь призывают к оружью.
Как сельский в степи вырастает завод
Сам-сто урожай — награда,
Как пахарь на тракторе песню ведет,
Что вел он в цехах Ленинграда.

РСФСР

Как кочуют тучи кучевые —
Пашни истомленные поя —
Проходила предо мной Россия,
Громкая республика моя!
Потускневшей луковицей церкви —
Крутояром, ивой и сосной —
Проходила предо мной Россия,
Волгой, Камой, Свирью и Шексной.
Ты навстречу сплав гнала и пела,
Бурлакам такая песнь с руки,
И в четвертом классе в перепрелом
Смраде засыпали мужики,
На мешках переселенец пыльный
Про Сибирь с другим беседу вел.
Берега шли, и у лесопильни —
В упряжи жевал ленивый вол.
Перелески, плесы, перекаты,
Крышею соломенной шурша,
Нищетой несчетною богаты
Проходили душу вороша.
Я смотрел на сморщенные лица —
На рыбачью латанную сеть,
И казалось — чем бы мне гордиться,
Что любить и для чего гореть?
Как кочуют тучи кучевые —
Пашни истомленные поя —
Проходила предо мной Россия,
Громкая республика моя!
Ливнями стучала у причала
И вставала вдруг совсем иной —
Огоньками Сормова мелькала,
Шла баржею нефтеналивной.
Ты сверкала сталью у мартенов,
Поездом гремела по мостам,
Ты летела током переменным,
Судьбы расставляя по местам.
Ты с листов газет передовицей
Проходила к стуку верстака —
И восторгом загорались лица
И сильней работала рука.
В заводском угрюмом кабинете
Диаграммою светилась ты,
И в любой, скупой и скудной смете
Видел я любимые черты.

Друг мой немец, языка не зная,
Руки простирал над гладью вод:
«Вот — он говорит — страна родная
И она к себе меня зовет.
Я рожден во Франкфурте у Майна,
Там весна закатами красна —
Только то родство оно случайно —
Родина трудящихся одна!!!
И по тракту тракторов колонна
Грохоча пылила и плыла —
И сгущалась над землей зеленой
Летней ночи грозовая мгла.
Молнии летели голубые,
Песнь переселенцев затая,
И я видел — бывшая Россия
Тронулась в небывшие края.
И читая молодые лица —
Как симфоний черновых тетрадь —
О, я видел — есть мне чем гордиться,
Нужно петь и стоит умирать!

1929 г.

Партитура

По испещренной партитуре
Хор и оркестр должны уметь —
Вступать, итти, смолкать, и в бури
Вдруг превращать простую медь.
Она уже гремит и плачет,
Уже занесена — и вот
Ты слышишь каждый голос — значит
И партию свою ведет.
Пусть тонок он, но если точен,
Свой ход вплетает в хор — свой тон —
Своею гаммой озабочен —
Он в общей песне вознесен.
Мой друг, в ночную смену снова
Корпя у ткацкого станка,
Когда как дождь корпит в основе
Летучий навык челнока.
Ты помни, что в работе мелкой,
Как в хоре голос твой идет,
И в окончательной отделке —
Земным обильем он встает.
И я веду свой голос проще —
Читая партитуру дней —
Чтобы играл он с песней общей —
Весомой песнею своей.

Геннадий Фиш

Захват КВЖД и политика СССР

Г. Войтинский

Вопрос о КВЖД стал бесспорно крупнейшим вопросом международной политики.

Пресса всего мира живо обсуждает этот вопрос, придавая ему исключительное значение.

Каждый день приносит сведения, подтверждающие, что империалисты, главным образом, американские, с нетерпением ждут момента для активного вмешательства с тем, чтобы, ввязавшись в «разрешение» конфликта, уже не отвязаться. И в то время как «таинственная» нота Стимсона от 25 июля еще продолжает оставаться за кулисами официальной дипломатической арены, военные и морские атташе империалистических стран в Китае шныряют по КВЖД, знакомясь со стратегическими и военно-материальными возможностями выступления против СССР под китайским флагом.

Снова подняли головы остатки русской белогвардейщины, выброшенные 10 лет тому назад, после разгрома колчаковщины, хорватовщины, меркуловщины, семеновщины и пр., из страны Советов.

Наглые бандитские вылазки их со стороны КВЖД на границы приморья и Забайкалья все чаще начинают иметь место, а нанкинское правительство, заранее страхуясь от подозрений, информирует «всех, всех, всех», что «выступление белых против своих красных врагов осложняет создавшееся положение». И в то же самое время министр иностранных дел Ван-Чен-тин требует от своего аппарата активности в деле фабрикации сведений о насилиях над китайскими гражданами в СССР, чтобы противопоставить хоть какие-либо «факты» неслыханным насилиям китайской военщины над русскими рабочими и служащими, живущими десятками лет в полосе Китайско-Восточной жел. дороги.

В общем, картина как будто достаточно ясная: 10 июля происходит налет на управление КВЖД в Харбине, и по всей линии, от станции Манчжурия до Пограничной, русская часть управления насильственно устраняется, а все вообще советские служащие дороги либо арестовываются, либо изгоняются, либо поставлены в условия, вынудившие их уйти; всему этому предшествует разгром профсоюзов по всей линии жел. дороги, а также разгром клубов, кооперации и печати.

В ответ на ноту советского правительства о созыве китайско-русской конференции для обсуждения создавшегося положения, но с тем, чтобы в основу обсуждения легко status quo ante нападения, манчжурские милитаристы и Нанкин отвечают устно, что готовы приступить к переговорам, а письменно излагают свой отчет так, что переговоры должны вестись, исходя из уже создавшегося положения, т. е. требуют от советского правительства легализации нападения и аннулирования договоров, заключенных с Китаем в 1924 году.

Советское правительство не может, конечно, на это пойти и отзывает своих представителей, одновременно прекратив всякие экономические сноше-

ния с Китаем. Китайские милитаристы во главе с нанкинскими заправилами «угрожают» обратиться к другим «иностранным державам» для вмешательства в конфликт.

На этом пока история вопроса кончается. Картина, повторяем, ясная. События протекают почти по плану: нападение китайцев, наглое отклонение единственно возможного разрешения вопроса, а затем... обращение китайского контр-революционного правительства за помощью к империалистам против СССР.

Однако не так изображает дело международная социал-демократия и ее «левое крыло».

В их освещении вопрос выглядит следующим образом:

а) советская страна хочет пользоваться царскими привилегиями на китайской территории, отстаивая права на участие в управлении КВЖД;

б) китайская буржуазия в лице нанкинского правительства, осуществляя национальные интересы страны, борется против всех империалистов и также против СССР за свой суверенитет и независимость;

в) из-за этого спора между двумя странами, совершившими революцию, возможна война, что нанесет вред обеим;

г) социал-демократы предупреждают поэтому рабочие массы, что в этом споре не прав СССР и призывают общественное мнение международных рабочих масс повлиять на СССР в сторону отказа от своих притязаний в Китае.

Мы суммировали здесь кратко основные мысли различных вариантов, выставляемых международной социал-демократией в освещении конфликта на КВЖД.

Разумеется, что социал-предатели облекают свои аргументы в изощреннейшие демагогические формы, то соболезнуя китайскому народу, представленному, по их словам, Чан-Кай-ши, то, наоборот,— заявляя устами левых из «Кляссенкампф» от 1 августа, что «международный рабочий класс всегда будет готов защищать пролетарскую Россию, когда она ведет свою политику в интересах пролетариата и когда защищает основы социализма».

Последний аргумент, как известно, является теперь уже не только орудием социал-демократии в их борьбе против СССР, но стал уже давно орудием и троцкистов и брандлеровцев. Троцкий еще летом 1926 г., настаивая на разрыве коммунистов с Гоминданом (хотя эта партия тогда еще боролась против империализма), одновременно требовал отдачи китайским милитаристам (как известно, в то время в Манчжурии властвовал Чжан-Цзо-лин, боровшийся на стороне империалистов против Гоминдана) КВЖД, что об'ективно означало бы оказать поддержку северным милитаристам и империалистам в их борьбе против кантонского правительства.

На упомянутых выше аргументах социал-демократов необходимо остановиться, ибо, если открытые выпады социал-фашистов против СССР вряд ли будут иметь влияние среди рабочих масс, то более открытая клевета, не уснащенная явной ненавистью к стране Советов, а наоборот, облеченная в форму «сочувствия», может еще иметь влияние среди беспартийных и социал-демократических рабочих.

Первый аргумент: отстаивание советским правительством своих прав на КВЖД.

В ответ на этот аргумент, имеющий принципиальное значение, необходимо раньше всего поставить следующий вопрос: должен ли был пролетариат бывшей царской России, установив свою диктатуру, использовать все экономические и стратегические возможности, «унаследованные» от старого строя, для закрепления своих позиций или нет? Такой вопрос, надо полагать, не может вызвать двух ответов. Каждый рабочий на него ответит утвердительно. И только те, кто заинтересован в поражении советской власти, могут ставить

вопрос так, что русскому пролетариату нужно было немедленно после своей победы пренебречь опасностями, отмахнуться от всяких «исторически унаследованных» вопросов путем простого отказа от разрешения их и надеяться на идеализм международного империализма, на миролюбие русской контрреволюции и на ортодоксальный марксизм социал-предателей из II Интернационала.

Но история первых 3—4 лет существования советской власти показывает нечто другое. Международный империализм делал отчаянные наскоки на страну Советов, пытался вооруженной силой ее свергнуть. Русская контрреволюция под руководством и при непосредственной материальной помощи империалистов вела отчаянную борьбу, не раз угрожая самому существованию советской власти, разрушая промышленность и транспорт и окончательно разорив страну. А международная социал-демократия в то время «благородно» выступала на защиту угнетенных контр-революционеров, возмущаясь варварством большевиков, защищавших до последней капли крови свое социалистическое отечество.

И КВЖД сыграла колоссальнейшую роль в деле контр-революционных нападений на СССР со стороны мирового империализма и русских помещиков и капиталистов. В продолжение почти 4 лет КВЖД (начиная с осени 1917 г. и кончая 1921 г.) была основным стратегическим пунктом международной и русской контр-революции на Дальнем Востоке.

Причем следует еще и еще раз напомнить, что, начиная со времени русской революции и до 1924 г., КВЖД не была китайским предприятием, а все время служила интересам международного империализма. Колчаковщина, хорватовщина, семеновщина — все эти кровавые эпопеи гражданской войны непосредственно связаны с КВЖД, оттуда угрожала не раз смертельная опасность советскому Дальнему Востоку и Сибири.

И разве неправильно поступила власть советской страны, когда добивалась и добилась, несмотря на сопротивление империалистов, признания китайским правительством прав СССР на участие в управлении КВЖД и тем самым добилась в 1924 г., во-первых, того, что был положен конец открытым авантюрам против СССР из этого участка, и, во-вторых, что китайские милитаристы, вынужденные считаться с договором, не могли уже от имени Китая входить, за ту или другую мзду, в сделки с империалистами против СССР?

Не приходится также теперь доказывать, что участие СССР в управлении КВЖД подняло дорогу на невиданную раньше высоту как в смысле экономическом (доходность эксплоатации, правильное и своевременное обслуживание торговых интересов Китая и СССР), так и в культурном — в смысле условий для рабочих и служащих как китайских, так и русских. Даже представители влиятельных буржуазных газет вынуждены были это констатировать теперь в самом начале конфликта.

Самое же участие СССР в управлении КВЖД приняло по инициативе советского правительства форму исключительно коммерческого сотрудничества без малейших внеэкономических способов воздействия на Китай. В договорах 1924/25 г. не только не было речи о каких-либо привилегиях по отношению к советским гражданам или советскому правительству на территории КВЖД, но наоборот, еще раз был подтвержден полный отказ советского правительства от каких-либо привилегий, которыми пользовалось в Китае царское правительство и которыми продолжают пользоваться и сейчас все империалистические страны.

Таким образом, самый договор между Китаем и СССР был несомненно революционизирующим фактором, способствовавшим национально-освободительному движению в стране.

Именно так рассматривал этот договор и Сун-Ят-сен, приводивший политику СССР в качестве примера в своей пропаганде за уничтожение неравных договоров, навязанных Китаю империалистами. Сун-Ят-сен положительно рассматривал признание СССР правительством У-Пей-фу в 1924 г., хотя, возглавляя кантонское правительство и борясь с Пекином, во главе которого стоял У-Пей-фу, он, казалось бы, мог легко стать на путь отрицательного отношения к взаимному признанию СССР и Китая. Но Сун, будучи действительным борцом за национальную независимость Китая, прекрасно понимал, что самый факт присутствия на общекитайской арене советского дипломатического представительства является огромным фактором в деле борьбы революционного Китая против империализма.

И еще в 1924 г., проезжая из Кантона на север, Сун-Ят-сен в своем интервью в газете «Мингожибао» в Шанхае, отвечая на клевету контр-революционеров и правых гоминдановцев о захватнических, якобы, целях СССР в отношении Внешней Монголии, сказал, примерно, следующее[1]: «Монголия раньше всегда находилась под пятой китайских империалистов, а с 1918 по 1921 гг.— под непосредственным владычеством известного слуги японского империализма, Аньфуиста», «маленького Сю»; она, эта страна, была об'ектом империалистов и подвергалась грабежу и разбою. Монголия не могла существовать самостоятельно, так как была слишком слаба для того, чтобы не быть об'ектом империалистов и китайских милитаристов. Поэтому он (Сун) положительно смотрит на помощь СССР Внешней Монголии, ибо эта помощь помогает ей сохранять свою независимость от посягательства и китайских контр-революционеров и их господ — империалистов».

Весьма понятно, почему Сун-Ят-сен, будучи вождем националистов, занимал такую позицию, ибо только так и мог говорить человек, действительно готовый бороться против империалистов и китайской милитаристической реакции.

Сун-Ят-сен прекрасно понимал, что с освободившимся от империалистов Китаем не будет никаких территориальных и экономических споров у СССР. Поэтому он считал исключительно важным для дела китайской революции участие СССР в общекитайской политике.

И действительно, до тех пор, пока Гоминдан не стал партией контр-революции и не предал национальных интересов Китая, капитулировав перед империалистами и феодально империалистическими элементами страны,— никогда ни в прессе, ни в резолюциях с'ездов, конференций и собраний Гоминдана не раздавалось голоса о каких-либо притязаниях СССР. Наоборот, всегда и всюду подчеркивалась необходимость тесного союза со страной Советов перед лицом международного империализма. И можно с уверенностью сказать, что именно эта позиция Гоминдана мобилизовала в свое время под ее знамена миллионные массы рабочих, крестьян и городской мелкой буржуазии.

Но изменилась ли политика СССР по отношению к Китаю, как к стране, после измены Гоминдана национальной революции? Не пыталась ли советская власть после неслыханно наглых нападений на ее дипломатических представителей в Китае, после убийства советских граждан (в Кантоне), после заключения в тюрьмы (Пекин, Ханькоу, Шанхай) стать на путь угроз и попыток вернуть себе те «права», от которых она отказалась, как только смогла снестись с Китаем (1920 г.) после очищения Дальнего Востока от белогвардейских банд?

---

[1] Этой газеты, к сожалению, нельзя теперь было достать, но за верность общего смысла интервью ручаюсь.

Всем известно, что нет. Советская страна всеми силами стремилась с хранить status quo даже после этих наглых и провокационных действий к тайской контр-революции.

Совершенно очевидно, что изменение политики шло со стороны Кита со стороны Гоминдана и Нанкина.

И надо сказать, что ничего удивительного в этом нет, ибо влиян империалистов на китайское правительство с лета 1927 г. все больше укр плялось и увеличивалось. Гоминдановское правительство быстро эволюци нировало на своем пути превращения в оружие международного империализ против СССР.

Только под этим углом зрения и следует рассматривать настоящи конфликт на КВЖД, подготавливавшийся, как стало теперь известно, еп с апреля месяца.

Аргументация социал-демократии поэтому еще раз в новом свете вы являет их роль рупора, пропагандиста, агитатора интересов международног империализма.

А подпевающие им троцкисты и брандлеровцы разоблачают свое де ствительное отношение к СССР, их тактика в вопросе о КВЖД указыва на их общее направление в сторону контр-революции.

Нужно отметить, что неправы также те товарищи, которые сводят в прос о КВЖД к вопросу о нарушении Китаем договора об «общем коммер ческом предприятии». Формально это так, но об'ективно, т. е. по существ речь идет не о том, что у СССР отбирают право на участие в управлен КВЖД, а о том, что акт 10 июля есть начало наступления на СССР со ст роны империалистов, и что конфликт на КВЖД чреват дальнейшими соб тиями в этом направлении.

Столь же лживо и другое утверждение социал-демократов, что нанкин ское правительство, выступая против СССР, борется за суверенитет и неза висимость буржуазного Китая.

Если верить социал-демократическим идеологам, политикам и журнали стам, то теперешнее нанкинское правительство есть правительство побе дившей буржуазной революции в Китае, отстаивающее свое право на суще ствование против всех внешних врагов, в том числе и против СССР.

Но позволительно спросить, когда это победила буржуазная революция в Китае?

Повидимому, это знаменательное событие произошло в тот момент, когда Гоминдан, войдя в соглашение с империалистами и создав блок с феодалами и милитаристами, обратил свое оружие против рабочих и крестьян. Оче видно, в результате этих событий нанкинское правительство было призна империалистами национальным правительством Китая, а социал-демократы поспешили принести свое признание победившей буржуазной революции в Китае.

И как было не признать? Ведь «победа» буржуазной революции ознаме новалась столь близким сердцу социал-демократии массовым истреблением коммунистов, вождей рабочих профсоюзов, крестьянских революционных организаций, революционных студенческих об'единений и т. д. Ведь «побе доносная» буржуазная революция через Гоминдан начала подавлять анти империалистическое движение в стране и вести злостные кампании против СССР, натравливая милитаристов на советские представительства.

В защиту этой «революции» социал-демократия выступает теперь со всем пылом своей предательской души. Социал-демократия теперь постави ла китайский вопрос на очередь дня, занимаясь им, как никогда раньше.

Но вот в 1925 г., когда в Китае поднялась волна национально-освободи тельного и революционного рабочего движения, социал-демократия никак не

могла разглядеть и разобрать, что происходило в Китае. Социал-демократическая пресса долго не могла «понять», кто же в кого стрелял в Кантоне, Шанхае в мае и июне 1925 г.: безоружные ли китайские рабочие и студенты в империалистов, или последние, вооруженные до зубов, в китайцев?

Амстердамский Интернационал долго не отвечал тогда на обращение Профинтерна по поводу совместных выступлений против империалистов, а когда, наконец, ответил Профинтерну, то сказал, что до выяснения положения в Китае воздерживается от каких-либо действий.

Социал-демократическая пресса вообще, как известно, замалчивала огромное всемирно-историческое движение миллионов китайских рабочих, крестьян и трудящихся масс, начавшееся с кровавых событий 30 мая 1925 г. и неуклонно подымавшееся до начала 1927 г., когда стало перерастать в аграрную революцию.

Если судить по тогдашней социал-демократической прессе, то в Китае революции не было, как и не было империалистической интервенции в виде снабжения оружием контр-революционных китайских милитаристов и высадки иностранных десантов во всех портовых городах Китая.

Словом, период от 1925 по 1927 г., период китайской революции, социал-демократия не «заметила». Правда, в марте 1926 г., когда Чан-Кай-ши перед северным походом пытался сделать переворот в Кантоне, социал-демократия немедленно встрепенулась, и сам Отто Бауэр вдруг стал говорить о конце революции в Китае, призывая международный пролетариат «снять шапки перед трупом китайской революции». Голос Отто Бауэра не звучал одиноко, он раздавался в общем хоре империалистической прессы, радовавшейся тогда, как оказалось потом, преждевременно началу китайской контр-революции.

Затем после мартовских событий и во все время китайской революции, когда рабочие захватывали концессии империалистов, когда весь Южный и Центральный Китай бурлил крестьянскими восстаниями и когда в Шанхае в продолжение нескольких месяцев произошли три восстания, социал-демократия не говорила рабочим массам о революции в Китае и о необходимости поддержать ее перед лицом угрожающей опасности со стороны империалистов.

Но теперь, когда китайская контр-революция временно победила при прямой помощи империалистов, социал-демократия усиленно занялась Китаем и защищает Нанкин от «посягательств» СССР.

Тактика социал-демократии в отношении конфликта на КВЖД служит прообразом ее тактики в подготовке империалистами войны против СССР. Она будет всевозможно изощряться в подыскании доводов, чтобы доказать виновность СССР и неизбежность войны против него по его же вине.

Став на путь защиты контр-революционного гоминдановского правительства, социал-демократия умалчивает о фактах сдачи этим правительством империалистам всего того, что успели завоевать революционные массы в период наивысшего под'ема революции.

Империалисты, которые устами даже консервативного английского правительства вынуждены были в декабре 1926 г. декларировать готовность пересмотреть свои отношения с Китаем в смысле уступок по вопросам о неравноправных договорах, уже весной 1927 г., видя раскол в Гоминдане, в связи с начавшейся изменой Чан-Кай-ши, направляют тяжелые орудия на китайские города, наглея с этого времени все больше и больше. И империалисты вскоре действительно добились возвращения им концессий в Ханькоу, Цзюцзяне и Тянцзине. Японские же империалисты тогда снова повели открытую политику вооруженной поддержки всевозможных милитаристов на севере и в Шандуне, устроив в Цинанфу и Циндао в мае 1928 г. кровавую бойню китайскому населению.

Одновременно американские империалисты, признав Нанкин, стали на путь «активной политики» в Китае, форсируя войну Чан-Кай-ши с гуансийцами, которых в свою очередь поддерживали японцы и англичане.

И, наконец, угрожавшая война между Нанкином и Фын-Юй-сяном и Ен-Си-шаном в начале лета этого года, приведшая пока к вооруженному перемирию, не является разве выражением борьбы между империалистами в Китае, действующими через нанкинское правительство и через контр-революционный лагерь китайской военщины вообще?

Словом, период от 1925 по 1927 г., период китайской революции, социал изображают социал-демократы, разрешило хоть в малейшей степени основной вопрос буржуазной революции,— вопрос об'единения страны? Все факты и события, начиная с 1927 г., говорят об обратном.

И разве могло быть иначе, раз Гоминдан и нанкинское правительство, став на путь контр-революции, возложили все свои надежды на тех, кто заинтересован в дальнейшем подчинении Китая международному капиталу?

И если в данном случае, в конфликте на КВЖД, об'ективно спросить: из каких это национальных интересов Китая потребовалось теперь напасть на управление дороги и порвать договоры 1924/25 г., то не будет другого ответа, как тот, что — решительно из никаких. Ибо в то время, когда все основные жел.-дор. магистрали в Китае находятся в руках империалистов, распоряжающихся ими на основе «прав», вытекающих из неравных договоров, и когда власть империалистов еще больше закрепляется в этом отношении планами насчет централизации руководства дорог в руках американцев, и когда японцы продолжают упорно настаивать на своем праве строить новые дороги в Северной Манчжурии и во Внутренней Манчжурии,— при всех этих условиях захват КВЖД, единственной в Китае дороги, на которой действительно соблюдается суверенитет Китая и откуда ни малейшей опасности стране не угрожало, еще больше подчеркивает, что акт 10 июля, совершенный китайскими руками, служит интересам, враждебным Китаю, интересам тех, кто стремится превратить эту страну из полуколонии в колонию.

И очень характерно, что именно теперь империалисты во главе с Соед. Штатами Америки грубо отклонили просьбы нанкинского правительства об отмене экстерриториальности. Нет сомнения, что одним из мотивов отказа будет служить ссылка на беззаконные действия китайцев по отношению к советским гражданам в полосе КВЖД, что еще резче подчеркнет всю наглость империалистов по отношению к их лакеям — нанкинским заправилам.

Китайская буржуазия не только не в состоянии осуществить действительного об'единения страны и добиться политической независимости, но с каждым днем, вынужденная все больше обращаться за помощью к империалистам против собственных рабоче-крестьянских масс, отказывается от целого ряда других задач, стоящих перед ней в настоящее время.

Так, на происходившем в марте с. г. III с'езде Гоминдана, где была изложена программа китайской буржуазии, ясно выявилось, что нанкинское правительство отказывается от разрешения аграрного вопроса, и вопрос о земле не был затронут. Смехотворная комиссия Ху-Хан-мина, которая занимается изысканием чудодейственного способа, как удовлетворить крестьян, не наделяя их землей, является ловушкой, в которую вряд ли кто-нибудь из собственников или из крестьян попадет. Обещание же кулачеству и зажиточным слоям деревни провести самоуправление не имеет решительно никакого значения перед лицом все более усиливающихся грабежей и распр[illegible] над населением со стороны милитаристов, над которыми Гоминдан также властен, как, скажем, над стихией.

Вопрос о развитии народного хозяйства изложен был на с'езде в виде 50-летнего (!) плана, в котором тяжелой индустрии не уделено места, что

же касается легкой индустрии, то ее место в плане выражается 5 млн. китайских долл. в год. Весь же план народного хозяйства за 50 лет потребует 25 миллиардов долларов, и из них 21 миллиард уйдет на жел. дороги, тракты и водные пути сообщения, т. е. на то, что при отсутствии собственной промышленности требуется от Китая, как от хинтерланда для империалистов. Финансы даже для этого плана китайская буржуазия надеется получить в основном у империалистов. Так, из 500 млн. руб. в год 200 млн. составят заем у «иностранных держав», 200 млн. должны притекать из государственных доходов и 100 млн. — от внутреннего займа. Но так как государственный доход китайского правительства, пока не уничтожены неравные договора, в основном зависит от империалистов, то $^4/_5$ этого «грандиозного» плана народного хозяйства Китая зависит от этих последних.

Вот как выглядит пресловутое «национальное» правительство с его борьбой за независимость и планами капиталистического развития в свете действительных фактов, а не в том розовом тумане, который напускает международная социал-демократия в целях поддержки китайской контрреволюции.

Конфликт на КВЖД вытекал из всего внутреннего и внешнего положения контр-революционного нанкинского правительства.

Уже к марту события развивались неуклонно в сторону решительного конфликта между Нанкином и Фын-Юн-сяном. В двадцатых числах апреля Фын декларировал, что идет на войну против Гоминдана, прося империалистов сохранить нейтралитет и, обнаружив при этом большую осведомленность о том, насколько Нанкин будет снабжен оружием, аэропланами одной «иностранной державой». Причиной своего выступления Фын назвал факт узурпации нанкинскими лидерами власти в Гоминдане на III с'езде, декларируя, что поэтому он свою армию теперь называет «армией спасения отечества».

Одновременно стали поступать сведения, что фыновские войска взрывают мосты по Лунхайской и Пекин — Ханькоуской ж. д. Официальные же сообщения Нанкина говорили в это время о количестве более двадцати взорванных мостов.

Решительные шаги Фына против Нанкина, всегда действовавшего в роли третьего, радующегося, вызвав большое удивление как в Китае, так и за границей, свидетельствовали, что за его спиной стоят иностранные силы, борющиеся против усиления власти Нанкина.

Нанкин, однако, с войной не спешил, хотя и об'явил Фына изменником, исключив его из Гоминдана на специальном пленуме ЦК, разжаловал от всех должностей и издал приказ об его аресте.

Однако после этого началась политика, направленная к разрешению назревшего конфликта не путем войны. Нанкин явно взял инициативу в этом направлении. Но мирным путем (путем откупа) изолировать Фына не удалось, ибо Ень-Си-шань, представляющий теперь основную силу на севере, на это не пошел, а Чжан-Сюэ-лян, воспользовавшись создавшимся положением, послал войска из Манчжурии к югу с тем, чтобы «помочь» то одному, то другому, в зависимости от перевеса сил. И положение продолжает оставаться таковым и до сих пор.

Но что все это в конечном счете значит?

Это означает, что соотношение сил Нанкина и других военных клик таково, что Нанкин не может подчинить их себе без большой войны. Маневрирование пока не удалось. Вести же большую войну Нанкин избегает как вследствие непосредственной угрозы в военном смысле, так и потому, что война может вызвать новый под'ем рабоче-крестьянских масс, создав революционную ситуацию в стране.

Другие же военные клики не идут в наступление, во-первых, потому, что не могут создать надежного единого фронта для решающей войны, и, во-вторых, что стоящие за их спиной империалисты считают еще несвоевременным давать решительный бой. Последнее, конечно, относится также к Нанкину и к его американским покровителям.

Итак, вместо большой войны в Китае получилось пока вооруженное перемирие. Но не только это. Результатом кризисной обстановки в Китае, могущей в любое время развязать все противоречия между империалистами и противоречиями внутри китайского контр-революционного лагеря, вызвав мировую войну, явилась репетиция этой будущей войны — захват КВЖД китайским сатрапом, получившим на это разрешение за какую-то услугу в улажении большого конфликта.

О роли империалистов в подготовке конфликта на КВЖД социал-демократы считают наиболее полезным умолчать. Вмешательство же Америки, становящееся все более и более ясным теперь, ее предложения об интернационализации КВЖД, долженствующей завершить первый этап на пути наступления на СССР, углубляя одновременно противоречия между Соед. Штатами Америки и Японии, приближая момент международной войны, социал-демократы изображают как попытку незаинтересованной третьей силы уладить конфликт.

Но в свете всех фактов недавнего прошлого в Китае и в свете новых фактов, имеющих место каждый день и разоблачающих действительную роль империалистов в подготовке конфликта на КВЖД, социал-демократическая ложь будет становиться все более и более прозрачной. Международный рабочий класс, его революционный авангард уже 1 августа демонстрировал свою волю против войны и в защиту СССР. И в этом отношении вопрос о КВЖД сыграл значительную роль.

Дальнейшая политика СССР, ее пролетарская выдержка и вместе с тем решительная защита интересов рабоче-крестьянского государства и международной революции будет мобилизовывать все больше и больше симпатий рабочих масс всего мира.

Международное обозрение

Обсервер

1. Манчжурский конфликт

Манчжурия — страна с 30 млн. населением и территорией, равной площади Германии и Франции вместе взятых, — уже с конца XIX века стала об'ектом вожделений со стороны империализма царской России. В 1896 г. царскому правительству удалось получить концессию на постройку железной дороги, пересекающей всю северную Манчжурию и составляющей кратчайшее соединение между Читой и Владивостоком. Одновременно царскому правительству предоставлялась необходимая для этой постройки «полоса отчуждения», переходившая в ведение русской юрисдикции. В 1897 г. постройка была начата и к 1903 г. в основных чертах закончена. В результате возникла так называемая Китайско-Восточная железная дорога, охраняемая на всем своем протяжении русскими войсками и ставшая исходной точкой русской экспансии в Манчжурии. Царское правительство не ограничилось, однако, постройкой лишь одной КВЖД. В поисках «незамерзающего порта» оно обратило свое хищное внимание на Ляодунский полуостров, составляющий южную оконечность Манчжурии, и в 1898 г. заставило Китай сдать себе «в аренду» на 25 лет две гавани — Порт-Артур и Дальний, которые тремя годами раньше тщетно пыталась захватить Япония. Порт-Артур царское правительство превратило в грозную крепость, а Дальний — большой и быстро развивающийся коммерческий порт. В 1901 г. царское правительство построило железнодорожную линию Харбин — Порт-Артур, — тем самым КВЖД была соединена с вновь «арендованными» владениями, а Манчжурия прорезана рельсовым путем с севера на юг. Таким образом, царское правительство не без основания могло уже мечтать о полном «освоении» Манчжурии в ближайшем будущем.

Но тут счастье ему изменило. Едва закончив постройку манчжурских железных дорог, царский империализм столкнулся с только-что подымавшим голову японским империализмом и в войне 1904—1905 г. потерпел жестокое поражение. В результате царскому империализму пришлось сильно умерить свои аппетиты. Порт-Артур и Дайрен попали в руки японцев, им же была передана вся Южно-Манчжурская железная дорога, начиная от Чан-Чуня, а царское правительство осталось лишь при КВЖД (включая сюда и южный отросток этой линии Харбин — Чан-Чунь). В результате японский империализм стал твердой ногой в Манчжурии, и с тех пор Три восточных провинции (другое название Манчжурии) распались на две «сферы влияния»: на севере через КВЖД господствовала Россия, на юге через ЮМЖД — Япония.

Приблизительно около этого же времени на манчжурской арене впервые появился и американский империализм. Он выступил в лице «железнодорожного короля» Гарримана, который за неделю до подписания Портсмутского мира 1905 г., закончившего русско-японскую войну, высадился в Иокогаме

и от тогдашнего японского премьера графа Кацура получил согласие на передачу в руки американского синдиката эксплоатации только-что полученной от России ЮМЖД. Около соглашения Гарриман-Кацура в Японии возгорелась острая борьба, в результате которой американскому миллиардеру пришлось отказаться от своих империалистических намерений. ЮМЖД стала государственным предприятием Японии. Однако, Соед. Штаты не сложили оружия. В 1910 году американский министр иностранных дел Нокс выдвинул план «нейтрализации» всех манчжурских железных дорог путем покупки у России и Японии КВЖД и ЮМЖД и дальнейшей передачи их Китаю. Деньги для покупки должны были быть доставлены в форме займа крупнейшими империалистическими державами. План Нокса вызвал резкую оппозицию со стороны России и Японии, заключивших даже 4 июня 1910 г. специальную конвенцию, исключающую вмешательство третьих держав в манчжурские дела. Так как Англия не обнаружила желания поддержать Соед. Штаты, то инициатива Нокса так и отцвела, не успевши расцвесть[1].

Мы не можем здесь подробно останавливаться на дальнейшей истории КВЖД и ЮМЖД, игравших роль станового хребта империалистической экспансии России и Японии в Манчжурии. Достаточно будет сказать, что с начала мировой войны русское влияние стало ослабевать, а японское — наоборот, чрезвычайно усиливаться. Революция в России еще более склонила чашу весов в сторону Японии. Щупальцы ее стали все дальше протягиваться в северную Манчжурию и, не встречая должного противодействия, подкрадываться даже к самой КВЖД. Белые русские правительства, неизменно гнездившиеся в «полосе отчуждения» этой последней, представляли собой слишком слабую помеху для японской экспансии. В эпоху Колчака только присутствие на Дальнем Востоке Англии, Франции и особенно Соед. Штатов помешало японскому империализму окончательно с'есть КВЖД. Весьма характерно, что в этот период американцы опять подымали вопрос об «интернационализации» этой важнейшей железнодорожной магистрали.

Однако, разгром белых армий и окончательная победа советской власти в России радикально изменили положение дел на КВЖД. В 1924 г. между СССР, с одной стороны, и Китаем, с другой, были заключены два соглашения — пекинское и мукденское, — которые отныне должны были регулировать судьбу этой дороги. Соглашения, о которых идет речь, коренным образом отличались от тех договоров, с помощью которых царская Россия получила право на постройку и эксплоатацию КВЖД. Из новых соглашений решительно были выброшены все элементы империалистической экспансии. Согласно договорам 1924 г., КВЖД превращается в «чисто коммерческое предприятие», совместно владеемое и эксплоатируемое СССР и Китаем. «Полоса отчуждения» возвращается в лоно китайской юрисдикции. Русские власти, суды и войска из пределов «этой полосы» исчезают. Управление дорогой организуется на следующих основаниях. Во главе всего предприятия стоит 10-членное правление, 5 членов которого назначаются СССР, а 5 членов — Китаем. Председателем правления является один из китайских его членов, вице-председателем — один из советских его членов. Все решения правления принимаются большинством минимум в шесть человек, т. е. фактически путем соглашения между китайской и советской сторонами. Управляющий дорогой назначается советским правительством. Он имеет двух заместителей, из которых один должен быть советским, а другой — китайским гражданином. Во всех отделах дороги устанавливается такой порядок, что если заведующий отделом является советским гражданином, то его заместителем непременно должен быть китаец, а если заведующим является

[1] A. Kinnosuke — «Manchuria», 1925, New-York, стр. 80—81 и 95—103.

китаец, то его заместителем непременно должен быть советский гражданин. Равным образом принцип паритета в меру возможности проводится и среди всего остального персонала дороги. Прибыль делится поровну между обеими сторонами. В случае возникновения каких-либо конфликтов, которые не могут быть улажены внутри правления дороги, спорные вопросы передаются на разрешение «правительств договаривающихся сторон», т. е. китайского правительства и правительства СССР. Иными словами, такого рода конфликты регулируются уже дипломатическим путем. Концессия царского правительства была взята на срок 80 лет, соглашение 1924 года сократило этот срок до 60 лет (т. е. до 1956 г.), после чего КВЖД должна безвозмездно перейти в руки Китая. Впрочем, Китаю предоставлено право досрочного выкупа дороги, при чем условия этого выкупа должны быть определены на специальной конференции представителей обоих государств.

Такова основная суть тех соглашений, которые СССР заключил с Китаем по вопросу о КВЖД. В установленных ими рамках дорога обнаружила быстрое развитие, несмотря на целый ряд политических затруднений, о которых речь будет ниже. Действительно, по данным 1927 г., КВЖД имела общее протяжение 1 727 километров, при чем ценность ее определялась почти в 400 млн. рублей. Число паровозов достигало 517, число вагонов — 13 тыс. На железной дороге было занято 22 тыс. рабочих и служащих. Грузооборот достигал 5 млн. тонн, а количество перевезенных пассажиров составляло 4 млн. Чистая прибыль КВЖД за минувшее пятилетие колебалась в среднем между 15—20 млн. рублей. Тесно связан с дорогой был целый ряд вспомогательных и подсобных учреждений — электростанции, телефоны, речная флотилия на Сунгари и Амуре, угольные копи в Чжалай-Норе, крупные лесоразработки, многочисленные школы, больницы, курорты, театры, кино и т. д. Можно без преувеличения утверждать, что такие города, как Харбин, Цицикар, Хайлар, и другие жили и питались около КВЖД [1].

Одновременно, однако, росла и укреплялась ЮМЖД, искусно пользуясь всеми теми выгодами, которые для нее представляло долгое отсутствие «хозяина» в северной Манчжурии. Постепенно это железнодорожное предприятие обросло огромной массой всякого рода промышленных, торговых, банковских и других «интересов», превративших его в одно из наиболее ярких воплощений мирового империализма. Чтобы составить себе некоторое представление о ЮМЖД, достаточно привести хотя бы следующие данные.

Общая длина рельсовых путей ЮМЖД в настоящее время достигает 1 100 километров. Фактически оплаченный капитал равняется 365 млн. иен [2], из которых две трети принадлежат японскому правительству. Ежегодная прибыль дороги за минувшее пятилетие составляет в среднем 35 млн. иен. С ЮМЖД тесно связаны еще две железнодорожных линии — Гирин-Чаньчунь и Сыпингай-Цицикар, построенные японцами в течение минувшей четверти века.

Далее, ЮМЖД владеет большими угольными копями в Фушуне и Ентае с годовой добычей свыше 7 млн. тонн, железными рудниками в Аншане с добычей в 500 тыс. тонн в год, металлургическими заводами в Аншане и Пенсихху с выплавкой 200 тыс. тонн чугуна в год и, наконец, недавно открытым производством сланцевой нефти, имеющим весьма широкие перспективы [3]. ЮМЖД затратила также большие средства на превращение Дайрена (бывший Дальний) в громадный порт, оборудованный по последнему слову тех-

---

[1] См. «Статистич. ежегодник КВЖД», Харбин, 1927.

[2] 1 иена равняется 93 коп.

[3] По подсчетам японских инженеров, в районе Фушуна имеется минимум 4-5 миллиардов тонн нефтеносных сланцев, которые в состоянии дать до 200 млн. тонн нефти.

ники: в 1927 г. общая водоизместимость вошедших и вышедших судов достигла $14\frac{1}{2}$ млн. тонн [1].

Немаловажное значение для Японии имеет также ее торговля с Манчжурией, основным проводником которой опять-таки является ЮМЖД. Так, например, в 1926 г. общий оборот японо-манчжурской торговли составил 361 млн. иен (японский экспорт — 168, японский импорт — 193 млн. иен). Торговля с Манчжурией составляет сейчас около $\frac{2}{5}$ всей японской торговли с Китаем.

Общая сумма японского капитала, инвестированного в Манчжурии, достигает $1\frac{1}{2}$ миллиарда иен, т. е. почти $\frac{3}{4}$ всех японских инвенстиций за границей. При этом весьма характерно, что 95% японского капитала вложено в южной Манчжурии.

Само собой разумеется, что японская экспансия в Трех Восточных Провинциях носит чисто империалистический характер. Япония владеет на праве «аренды» сроком на 99 лет Квантунгской областью с городами Порт-Артур и Дайрен, а также «полосой отчуждения» ЮМЖД [2]. На названных территориях действует японская юрисдикция, и стоят японские войска. В управлении ЮМЖД китайцы не играют никакой роли, она является целиком японским предприятием. Зато японцы охотно предоставляют китайцам право умирать с голоду в качестве чернорабочей силы, обслуживающей нужды железной дороги. Так было и так есть на ЮМЖД вплоть до настоящего дня.

Как мы видим, на протяжении минувшего пятилетия китайцы получали на территории Манчжурии весьма наглядный урок политграмоты: на юге чисто-империалистическое предприятие — ЮМЖД, на севере — чуждое всякого империализма, основанное на принципе полного равноправия советско-китайское предприятие — КВЖД. Противопоставление было яркое, резкое и поучительное. При таких условиях, казалось, что китайцы должны были чрезвычайно дорожить соглашениями 1924 г. с СССР. Казалось также, что отныне исчезли всякие причины для каких-либо конфликтов на КВЖД, что дальнейшее развитие дороги должно совершаться в атмосфере дружеского сотрудничества между СССР и Китаем.

Действительность, однако, жестоко разочаровала эти ожидания. Пятилетнее существование соглашений 1924 г. было историей бесконечных трений, раздоров и столкновений между обоими государствами, в основе которых лежала длинная цепь самых гнусных провокаций со стороны Китая.

В чем же дело? Как об'яснить это, на первый взгляд, непонятное явление?

Об'яснение в сущности очень простое. Вся беда в том, что в Манчжурии в течение всех этих 5 лет, а во Внутреннем Китае в течение последних двух лет нам приходилось иметь дело не с национальной китайской революцией, а с китайской контр-революцией. В годы под'ема революционно-национального движения между Китаем и СССР существовали самые дружеские и доверчивые отношения. Китай 1925/26 г. умел понимать и ценить соглашения 1924 г. о КВЖД. Но даже и в тот период волна революции, катившаяся по Внутреннему Китаю, не захлестывала Манчжурию. В Трех Восточных Провинциях даже и тогда, под защитой японских штыков, отсиживалась самая черная генеральская реакция, олицетворявшаяся Чжан-Цзо-лином. А она, по вполне понятным соображениям, относилась с ненавистью к СССР и, совершенно не задумываясь над политическими последствиями своего поведения, на каждом шагу нарушала соглашения

[1] См. «Financial and Economic Annual», Tokyo, 1928.

[2] H. Gowen — «An outline history of Japon», 1927, New-York, стр. 350 и след.

1924 года — этот первый «равноправный договор», заключенный Китаем с великой иностранной державой. Когда же в 1927 году контр-революция в лице нанкинского правительства захватила власть в свои руки и во Внутреннем Китае, положение еще более обострилось. Отныне провокации манчжурских властей на КВЖД стали еще более гнусными, еще более нахальными, еще более систематическими, чем раньше. И, наконец, в июле текущего года, с ведома и благословения Нанкина, мукденские сатрапы попросту захватили КВЖД, арестовав и разогнав тысячи советских служащих и рабочих этой дороги. Тем самым соглашения 1924 г. были сорваны и грубой рукой брошены под стол.

Манчжурские события с необыкновенной яркостью осветили истинное лицо китайской контр-революции — кровожадно-свирепое, гнусно-черносотенное, тупо-близорукое. Политический идиотизм контр-революции поистине изумителен. Ибо захват КВЖД должен был иметь и действительно имел два чрезвычайной важности последствия.

Во-первых, он оттолкнул от Китая СССР, т. е. единственную великую державу, которая все время искренно и бескорыстно поддерживала дело национального раскрепощения огромного 400-миллионного народа. Мы не смешиваем, конечно, бандитов китайской контр-революции с широкими массами китайских рабочих и крестьян. Мы питали и питаем самые дружеские чувства к этим последним. Однако действия Чан-Кай-ши и Чжан-Сюэ-ляна до чрезвычайности затруднили СССР активную помощь Китаю в борьбе с империализмом.

Во-вторых, тот же захват КВЖД дал в руки империалистических держав поистине безценной важности аргумент в борьбе с притязаниями Китая на полную самостоятельность. Он дал возможность их практикам и теоретикам утверждать, что Китай не понимает принципа равноправия, что успешный разговор с ним возможен только на языке винтовок и броненосцев, и что об отмене экстерриториальности и иностранной юрисдикции на территории Китая сейчас не может быть и речи.

Как быстро меняются декорации! Еще каких-нибудь три года назад передовые рабочие Европы и Америки устраивали манифестации в честь побед и достижений китайской революции. Сейчас те же передовые рабочие Европы и Америки устраивали манифестации протеста против гнусных безчинств китайской контр-революции, против ее попыток спровоцировать СССР на войну.

И одновременно — с какой четкостью и определенностью те же манчжурские события обрисовали истинное лицо советского правительства! Мы всегда были и до сих пор остаемся сторонниками мира. На протяжении 12 лет нашего существования мы дали десятки доказательств нашей искренней любви к миру. Но, пожалуй, до сих пор еще не было случая, когда наше миролюбие и наша глубокая преданность принципу самоопределения народов подвергались бы такому жесткому испытанию, как в последние месяцы в Манчжурии. И все-таки СССР устоял перед лицом этого испытания! Данный факт будет иметь огромное, поистине всемирно-историческое значение. Он явится сокрушающим ответом всем тем, кто до сих пор продолжает еще болтать о «красном империализме» и о волке, переодевшемся в овечью шкуру. Он несомненно окажет могущественное влияние на чувства и мысли рабочих всех стран. Не так давно орган английской рабочей партии «Дэйли Геральд» писал:

«В прежнее время весь мир считал бы, что насильственный захват КВЖД китайцами является законным поводом к войне, и держава, интересы которой были бы затронуты в такой мере, как сейчас затронуты интересы СССР, немедленно прибегла бы к защите их путем войны. Не подлежит сомнению,

что СССР легко мог бы прогнать китайцев с КВЖД, но он не поддался искушению, несмотря на свою правоту и на обеспеченную заранее победу. Мы поступили бы неблагородно и несправедливо, если бы не воздали должное советскому правительству за то, что оно доказало этим на практике искренность своих неоднократных заявлений о стремлениях к миру»[1].

Так говорят люди, которых мы не имеем основания заподозрить в излишней симпатии к СССР.

Вокруг КВЖД поднялась бешеная свистопляска империалистических хищников. Справедливость требует сказать, что империалистические хищники не дремали и раньше. Как ни гнусна и ни преступна китайская контр-революция, было бы все-таки ошибкой относить манчжурские события исключительно за ее счет. За спиной всех этих Чан-Кай-ши и Чжан-Сюэ-лянов стояли и стоят различные империалистичские группировки, которые в сильнейшей степени определяют действия и поступки контр-революционных бандитов. Так, с полной несомненностью можно утверждать, что крупнейшую роль в захвате КВЖД сыграла Англия, подготовившая и благословившая нанкинских и мукденских сатрапов на их преступное выступление. Известную активность проявила также Франция. Наоборот, Япония обнаружила в данном случае, значительно больше сдержанности из опасения, что захват КВЖД может послужить весьма опасным прецедентом и отразиться также на судьбах ЮМЖД. Соединенные Штаты, в свою очередь, с загадочной пассивностью смотрели на постепенно созревавший в Манчжурии переворот и теперь всемерно стараются использовать его в своих интересах.

Действительно, наиболее характерными событиями, последовавшими сразу же после захвата КВЖД, были дипломатические выступления Вашингтона и Парижа. Акция Парижа, выразившаяся в официальном предложении посредничества для урегулирования конфликта между СССР и Китаем, имеет легко об'яснимые причины. Сильнее всего здесь сказывается влияние акционеров бывшего Русско-Азиатского банка, давно уже пытающихся пред'явить фальшивые претензии к КВЖД. Французское правительство нашло, очевидно, момент подходящим для того, чтобы оказать услугу этим акционерам, а заодно уже бросить семена своего влияния на полях Манчжурии. Впрочем, едва ли можно думать, что французское выступление носит серьезный характер.

Иначе обстоит дело с акцией Соед. Штатов. Мы уже знаем, что американский империализм еще в эпоху Русско-японской войны пытался протянуть свою руку к Манчжурии вообще, к КВЖД в частности. Мы знаем также, что в последующие годы он носился с мыслями о «нейтрализации» манчжурских железных дорог. Американский империализм давно уже облюбовал себе район трех восточных провинций, как одну из возможных сфер своего влияния, и вот сейчас он снова делает попытку приблизиться к осуществлению своих целей. Действительно, уже через 5 дней после захвата КВЖД американский министр иностранных дел Стимсон «обратил внимание Китая, СССР, Англии, Японии и Франции на то обстоятельство, что как СССР, так и Китай присоединились к пакту Келлога, и что, хотя Соед. Штаты не имеют официальных сведений о теперешнем конфликте, однако, судя по сообщениям прессы, претензии обеих сторон явно имеют характер претензий, подлежащих судебному рассмотрению, и могут быть переданы на третейское разбирательство»[1]. Стимсон, однако, этим не удовлетворился. Спустя еще неделю он обратился с секретной (ставшей известной Советскому правительству) нотой к Англии, Франции, Италии, Японии и Германии, в которой он предлагал создать «примирительную комиссию» из

[1] «Daily Herald» от 25 июля.
[1] «Известия» от 21 июля.

представителей этих государств, дабы расследовать причины конфликта, а также наметить пути к предупреждению подобных инцидентов в будущем. На время работы названной «комиссии» управляющим КВЖД должен быть назначен иностранец, не являющийся ни советским, ни китайским гражданином[1]. Дальнейшие планы Стимсона касались вопросов «международного контроля» над КВЖД, что на практике означало бы установление американской гегемонии в Северной Манчжурии. Как видим, правительство Соед. Штатов и на этот раз шло в фарватере тех планов империалистической экспансии, которые американская буржуазия выдвинула уже четверть века тому назад.

Однако американская инициатива наткнулась на упорное сопротивление со стороны Японии, которая, по вполне понятным соображениям, отнюдь не желает утверждения Соед. Штатов на КВЖД. Эта инициатива встретила довольно прохладное отношение к себе также и в Англии, не склонной ссориться с Японией и облегчать американскому империализму завоевание новых позиций. Мало того, сами бандиты китайской контр-революции были, видимо, немало перепуганы американскими проектами, не без основания видев в них угрозу захвата Северной Манчжурии могущественной империалистической державой. Поэтому они торопливо стали распространять по всему миру ложные в то время слухи, что между СССР и Китаем ведутся переговоры о ликвидации конфликта, что положение КВЖД в самое ближайшее время будет окончательно урегулировано, и что, стало быть, для вмешательства каких-то «третьих сил» нет ни места, ни оснований.

В настоящее время конфликт ликвидирован. Нанкинское правительство пошло на уступки. Благодаря своей твердой и в то же время миролюбивой политике СССР добился восстановления своих прав и создал на КВЖД такое положение, при котором справедливые интересы трудящихся Советского Союза не пострадают.

2. Проблема морских вооружений

Судя по многим признакам, проблема морских вооружений в ближайшие месяцы вновь станет актуальной. Театрально-дипломатические разговоры Макдональда с Дауэсом, происходившие в первые недели после прихода к власти «рабочего правительства», дали толчок к новому обсуждению этого «проклятого вопроса» сначала в Англии и Соед. Штатах, а затем и в Японии, Франции и Италии. Дело не ограничивается только обсуждением,— усиленно говорят о подготовке еще одной конференции «морских» держав, которая-де под «умиротворяющим» руководством британского премьера должна, наконец, отыскать разоружительную «квадратуру круга». Мы не станем сейчас останавливаться на оценке весьма сомнительных перспектив английской инициативы, а попробуем вкратце осветить проблему морских вооружений в ее послевоенной постановке.

Исходным пунктом тут является знаменитая **Вашингтонская конференция** 1921—22 гг. Происхождение этой конференции тесно связано с последствиями мировой войны. До 1914 г. Англия, бесспорно, являлась единственной владычицей морей. В основу ее системы обороны был положен принцип, что британский военный флот должен быть, по меньшей мере, равен сумме флотов двух крупнейших после Англии морских держав. И этот принцип строго соблюдался вплоть до начала мировой войны. Однако события 1914—18 гг. резко изменили соотношение сил на международной арене. Германский империализм был разбит и временно выведен из строя. Француз-

[2] «Правда» от 6 августа.

ский империализм колоссально усилился и стал гегемоном Западной Европы. Чрезвычайный под'ем испытал также японский империализм. Наоборот, британский империализм, хотя и оказавшийся победителем, вышел из войны сильно ослабленным и в послевоенные годы встал на наклонную плоскость медленного, но неудержимого увядания. Однако настоящим триумфатором из великой международной бойни поднялся северо-американский империализм, сконцентрировавший в своих руках величайшие капиталы и ставший решающим фактором мировой политики. В этой новой обстановке старый принцип британского адмиралтейства являлся уже анахронизмом, и наиболее решительную атаку на него повели Соед. Штаты. Американский империализм чувствовал себя уже достаточно сильным для того, чтобы ликвидировать британскую гегемонию на морях и вместе с тем заложить основы своего собственного господства на водах океанов. В результате, по инициативе правительства Соед. Штатов, в конце 1921 г. в Вашингтоне была созвана обширная конференция по вооружениям, которая под пацифистской маской борьбы с милитаризмом в сущности лишь открыла дорогу для победоносного наступления американского империализма.

Важнейшие решения Вашингтонской конференции по морским вооружениям сводилось к следующему.

На срок действия заключенного в Вашингтоне договора (т. е. до 31 декабря 1936 г.) все пять подписавших соглашение держав (Соед. Штаты, Англия, Япония, Франция, Италия) обязуются не превосходить определенной нормы тоннажа своих «линейных судов», т. е. судов свыше 10 000 тонн водоизместимостью или вооруженных орудиями калибра свыше 8 дюймов. Указанная норма была установлена в следующих размерах (ст. 4):

	Суммарный тоннаж	Индекс
Соед. Штаты	525 000	5,00
Англия	525 000	5,00
Япония .	315 000	3,00
Франция	175 000	1,75
Италия	175 000	1,75

Таким образом, Англия вынуждена была бросить за борт свой прежний принцип о равенстве британского флота флотам двух следующих за ней по силе держав и примириться с тем, что Соед. Штаты станут отныне оспаривать у нее господство на морях. В этом, ставшем впоследствии знаменитым, соотношении 5 5 : 3 нашло свое конкретное выражение то огромное изменение в соотношении мировых сил, которое явилось результатом великой войны.

Далее Вашингтонская конференция постановила, что «линейные суда» не могут превышать 35 тыс. тонн водоизмещения (ст. 5) и не могут вооружаться пушками калибра свыше 16 дюймов (ст. 6). Конференция также решила (ст. 7), что каждая из участвующих в договоре держав должна иметь свою определенную норму в отношении авиоматок (Соед. Штаты и Англия — по 135 тыс., Япония — 81 тыс., Франция и Италия — по 60 тыс. тонн суммарного водоизмещения), что авиоматки, как общее правило, не должны превышать 27 тыс. тонн водоизмещения, и что их вооружение не должно превышать 8-дюймового калибра. Наконец, конференция обязала все заинтересованные державы сохранить на срок дейтвия договора «статус-кво» в отношении укреплений и морских баз в большей части Тихого океана и прилегающих к нему территорий. Хотя Вашингтонское соглашение было заключено до 1936 г., однако, ст. 21 его «в виду возможности технических и научных усовершенствований» допускала созыв новой конференции через 8 лет (т. е. в 1930 г.) «для рассмотрения тех изменений, если они потре-

ются, которые должны быть внесены в трактат в связи с этими усовершенствованиями».

Чтобы покончить с Вашингтонской конференцией, необходимо отметить еще одну статью — 11, которая гласила, что «ни одна из договаривающихся держав не будет приобретать или строить, поручать строить или допускать в пределах своей территории постройку новых военных кораблей водоизмещением больше 10 000 тонн[1]. Тем самым постройка судов водоизмещением меньше 10 000 тонн оказалась ничем не ограниченной. Это обстоятельство сыграло поистине колоссальную роль в послевоенном развитии морских вооружений.

В самом деле, «гони природу в дверь, она влетит в окно». Пока существует империализм, совершенно неизбежна бешеная скачка вооружений, какие бы благочестивые резолюции ни принимали различные международные конференции. Это положение целиком подтверждается ходом событий за последние семь лет. Хотя, казалось бы, Вашингтонский договор должен был положить конец дальнейшему росту вооружений на море, на самом деле случилось как раз обратное. Флоты всех великих держав, а в особенности флоты Англии и Японии, в последовавшие затем годы продолжали с чрезвычайной быстротой усиливаться, становясь все более грозными и смертоносными. Производилось это следующим образом.

Во-первых, непрерывно возрастала мощь «линейных судов», т. е. как раз того типа судов, тоннаж которых регулировался постановлениями Вашингтонской конференции. Делалось это очень просто. Более старые и менее совершенные из наличных броненосцев выводились в расход, а на их место строились новые, гораздо более мощные и разрушительные. Так, на протяжении минувших семи лет Англия сдала в архив 4 старых судна и вместо них в 1922 — 23 гг. выпустила 2 гигантских дредноута «Родней» и «Нельсон», водоизмещением по 35 тыс. тонн каждый, вооруженных 16-дюймовыми орудиями. В свою очередь, Соед. Штаты отправили на слом 2 старых судна и вместо них спустили с верфи 2 мощных дредноута «Западная Виргиния» и «Колорадо», водоизмещением по 32 тыс. тонн каждый, с орудиями 16-дюймового калибра. Впрочем, справедливость требует сказать, что ни Япония, ни Франция, ни Италия после Вашингтонской конференции не построили ни одного нового «линейного судна», что, однако, как сейчас увидим, отнюдь не свидетельствовало об их миролюбии.

Во-вторых, до крайней степени использовалась та щель, которая была оставлена ст. 11 Вашингтонского договора. Так как постройка кораблей всякого иного типа, кроме линейных и авиоматок, никак не регулировалась, все империалистические державы немедленно же бросились на увеличение численности и мощи так называемых «вспомогательных судов», т. е. крейсеров, подводных лодок, миноносцев и т. д. И результаты получились поразительные.

Возьмем, например, самый важный вид «вспомогательных судов» — крейсера. Оказывается, что за период 1922 — 29 гг. Англия успела построить 7 новых крейсеров так называемого «вашингтонского типа» (по 10 тыс. тонн) с вооружением 8,8-дюймовыми орудиями и со скоростью 32 узла в час. А сверх того, у нее в настоящий момент находятся в постройке еще крейсеров того же рода. Япония за тот же период обнаружила еще большую энергию: она успела спустить 10 крейсеров разного типа (в том числе вашингтонских») и, кроме того, имеет в настоящее время в постройке 7 крейсеров. Франция за тот же период спустила 5 крейсеров (в том числе 2 «вашингтонских») и имеет в постройке еще 4 «вашингтонских».

[1] См. «Вашингтонская конференция», сборник материалов, Издание НКИД,

крейсера. Италия построила 2 «вашингтонских» крейсера и имеет на верфях еще 4 таких же крейсера. Единственное исключение составляют Соед. Штаты — они не построили после Вашингтонской конференции ни одного крейсера и в настоящее время имеют в постройке всего лишь 8 крейсеров. Кроме того, в 1928 г. ими принята новая строительная программа, предусматривающая на протяжении 1929—31 гг. постройку 15 «вашингтонских» крейсеров. Впрочем, все это еще «музыка будущего», т. к. вплоть до настоящего дня американский флот еще не обогатился ни одним новым крейсером.

Нечто подобное происходило и с другими видами судов. Так, в сфере подводных лодок Япония за 1922—29 гг. более чем удвоила количество своих сумбарин (с 37 до 71), а Франция готовится в течение самого ближайшего времени почти удвоить свой подводный флот: сейчас она имеет 52 сумбарины и в постройке находятся еще 40. Англия несколько сократила число своих подводных лодок путем списывания в расход более старых и несовершенных, но зато значительно повысила качество и боеспособность своих сумбарин. Наоборот, Соед. Штаты и здесь остались почти на точке замерзания.

Примерно такая же картина наблюдается и относительно миноносцев. Япония, Франция, Италия увеличили число миноносцев и имеют в настоящее время большое количество миноносцев еще в постройке. Англия, располагавшая и раньше громадным количеством этого рода судов, работала не столько над увеличением их численности, сколько над повышением их качества и боеспособности. Впрочем, и у Англии сейчас на верфях находится около двух десятков миноносцев. Только с Соед. Штатами и тут «неблагополучно»: численность их миноносцев несколько сократилась, а на верфях в постройке нет ни одного.

Мы не должны также забывать и об авиации, играющей сейчас такую крупную роль в морском деле. В этом отношении все империалистические страны на перебой старались перегнать друг друга, но, пожалуй, наибольших успехов достигла Франция.

Если суммировать все сказанное выше, то станет совершенно ясно, что результатом Вашингтонской конференции явилось не ослабление, а, наоборот, усиление морских вооружений великих держав, с той только разницей, что это усиление приняло несколько иные, чем раньше, формы в соответствии с изменениями в технике современной морской войны.

В настоящее время соотношение сил трех крупнейших морских держав Англии, Соед. Штатов и Японии представляет следующую картину:

	Англия	САСШ	Япония
Линейные суда	20	18	10
Авиоматки	7	3	5
Крейсера . .	53	31	34
Подводные лодки	52	59	71
Миноносцы и пр.	157	262	106

Эта таблица требует некоторых пояснений. Прежде всего, из нее с несомненностью вытекает, что реальное соотношение сил в «линейных судах» несколько отличается от вашингтонской «нормы» и притом не в пользу Соед. Штатов и Японии, особенно, если принять во внимание, что, как общее правило, британские суда несколько моложе американских и японских. Далее, цифры крейсеров. Они нуждаются в значительных поправках на возраст. В самом деле, крейсеров постройки не старше 1914 г. в английском флоте имеется 48, в японском — 23 и в американском — только 10. 19 американских крейсеров построены до 1905 года, а 8 из них даже до 1900 г. Наоборот,

все 23 японских крейсера спущены на воду после 1917 г. В отношении подводных лодок сильнее всего оказывается Япония, а Соед. Штаты и Англия стоят, примерно, на одном и том же уровне. Только в области миноносцев Соед. Штаты далеко превосходят обоих своих соперников. В итоге, таким образом, оказывается, что по мощи своего флота Соед. Штаты фактически значительно уступают Англии и, пожалуй, весьма немногим превосходят Японию, особенно, если вспомнить, что Японии приходится оперировать только в одном океане, а Соед. Штатам — в двух. Совершенно очевидно поэтому, что нынешнее состояние морских вооружений Соед. Штатов совершенно не соответствует аппетитам и размаху американского империализма. Англия все еще остается владычицей морей, а вместе с Японией она превращается в совершенно непреодолимую для Соед. Штатов силу.

Отсюда понятно, что американский империализм не мог равнодушно относиться к положению вещей, сложившихся после Вашингтонской конференции. Действительно, по инициативе Соед. Штатов, летом 1927 г. в Женеве состоялась конференция из представителей Америки, Англии и Японии, на которой был поставлен вопрос о регулировании тоннажа —«вспомогательных судов». Женевская конференция, продолжавшаяся с 20 июня по 4 августа, обнаружила крупнейшее противоречие между Англией и Соед. Штатами. Четыре главных вопроса оказались яблоком раздора.

Во-первых, общий размер тоннажа «вспомогательных судов»: Соед. Штаты стояли за его снижение против нынешнего положения, а Англия, наоборот,— за его повышение.

Во-вторых, метод ограничения тоннажа: Соед. Штаты настаивали на том, чтобы для каждой страны была установлена общая норма тоннажа всех вообще «вспомогательных судов», и затем каждой стране уже будет предоставлено самой определять, как она будет распределять свою долю между отдельными типами кораблей. Англия, наоборот, желала ограничения тоннажа по каждому отдельному роду судов. Чтобы понять причину этого разногласия, надо иметь в виду следующее. Соед. Штаты считают, что сейчас самый важный для них тип судов — это «вашингтонские» крейсера (10 тыс. тонн), т. к. они могут оперировать на больших расстояниях от морских баз, которых у Америки имеется мало. Поэтому Соед. Штаты хотят иметь максимально свободные руки в постройке именно этого вида судов, как наиболее приспособленных к их нуждам. Англия, наоборот, путем регулирования тоннажа каждого отдельного типа судов хотела бы поставить известные препятствия постройке Америкой более мощных «вашингтонских» крейсеров, т. к. сама она, при наличии большого количества морских баз в своих бесчисленных колониях, легко может обходиться крейсерами меньшего водоизмещения.

В-третьих, Соед. Штаты требовали права вооружать 8-дюймовыми орудиями суда меньше 10 тыс. тонн водоизмещением, а Англия категорически возражала против этого.

В-четвертых, наконец, Соед. Штаты настаивали на известных ограничениях для превращения коммерческих судов в военные, а Англия, располагающая величайшим в мире торговым флотом, требовала в этом отношении полной свободы.

Борьба между обеими державами на конференции велась с чрезвычайным ожесточением, и так как никакого компромисса не удалось достигнуть, то дело кончилось полным крахом. Конференция разошлась, не приняв никаких решений, и американское правительство реагировало на эту «неудачу» принятием в 1928 г. новой строительной программы, предусматривающей выпуск к 1931 г. 15 новых «вашингтонских» крейсеров, а также освежение и модернизацию целого ряда ныне существующих судов.

С приходом к власти в Англии «рабочего правительства» открылась новая фаза в англо-американском поединке за господство на море.

Одним из первых шагов Макдональда после назначения его премьером было обращение к знаменитому генералу Дауэсу, почти одновременно назначенному американским послом в Англию. Макдональд имел с ним ряд бесед по вопросу об ограничении морских вооружений и выдвинул план новой международной конференции, которая должна найти решение «проклятого вопроса». Макдональд, однако, не ограничился этим. Он выразил желание самолично поехать в Соед. Штаты и договориться по всем спорным между Англией и Америкой вопросам, в том числе и по вопросу о вооружениях, непосредственно с Гувером. В конце июля он пошел еще дальше и решил сделать демонстративно-пацифистский жест, а именно приостановить постройку нескольких военных судов, находящихся сейчас на английских верфях [1]. Весьма вероятно, что в ближайшие месяцы Макдональд еще не раз будет помахивать над головой белым флагом, с некоторой тревогой поглядывая по ту сторону океана.

Однако, инициатива британского премьера наталкивается на довольно сдержанное отношение со стороны Соед. Штатов. В американской прессе не раз уж давали понять, что заправилы ньюиоркской биржи несколько шокированы навязчивостью Макдональда. Вашингтонское правительство вовсе не хочет слишком быстрого развития событий в данном вопросе. Британскому премьеру лучше несколько выждать со своей поездкой в Америку. Ограничение морских вооружений — весьма сложная проблема, и прежде чем созывать конференцию, нужно проделать еще очень большую подготовительную работу. Генерал Дауэс, в конце июня выступивший с большой речью на банкете в Лондоне, совершенно определенно заявил, что какие-либо переговоры между Англией и Соед. Штатами по вопросу о вооружениях возможны лишь при непременном признании принципа «равенства их морской мощи» А «Нью-Иорк Херальд» весьма откровенно расшифровал это заявление большой статьей, в которой доказывал, что, несмотря ни на какие конференции и переговоры, постройка 15 крейсеров все-таки должна быть осуществлена, т. к. даже и в этом случае фактический тоннаж крейсерского флота Америки будет значительно отставать от такого же тоннажа Англии [3]

На этом мы можем пока поставить точку. Какой бы характер в дальнейшем ни приняли «разоружительные» начинания британского премьера, совершенно очевидно, во всяком случае, одно: он так же мало, как в свое время Вильсон, в состоянии нанести действительный удар чудовищу милитаризма, ибо «рабочее правительство» Англии не хочет и не может подрезать как раз те империалистические корни, которые питают и будут питать бешеную горячку вооружений.

«Известия» от 27 июля 1929 г.
«Manchester Guardian» от 19 июня.
«Известия» от 23 июля.

Из тюремных мытарств

(Воспоминания)

Я. Ганецкий

Тов. Л. был одним из выдающихся работников польской социал-демократии. Одно время он был членом ее центрального комитета.

Среди характерных черт его была одна, которая причиняла не мало хлопот ему и нам, его товарищам. Никто из нас так часто не попадался в тюрьму, как он. Но зато никому другому не удавалось так часто бежать из-под ареста, как ему. Когда происходили массовые аресты или когда устраивали облавы на улицах, мы всегда прежде всего опасались за него.

Однажды, в 1906 году, нам в Варшаву сообщили из Лодзи, что во время одного массового ареста был, конечно, взят и Л. Мы начали было обсуждать способы его освобождения, как вскоре приходит уже новая весть: Л. благополучно бежал из полицейского участка. Мы даем ему телеграфное предписание немедленно перехать в Варшаву. Но вместо него к нам приходит письмо: Л. арестован патрулем на улице и помещен в тюрьму. Так как по паспорту-фальшивке, который был при нем, Л. происходил из Калиша, то власти решили послать его в Калиш для установления личности.

Лодзинские товарищи засуетились и задумали сорганизовать его побег. Для этой цели с ним быстро была установлена связь. Ему предложили ходатайствовать перед администрацией о разрешении поехать из Лодзи в Калиш (всего несколько часов езды поездом) за собственный счет. Ходатайство это было удовлетворено под условием, чтобы арестованный оплатил также проезд сопровождавшего его тюремного надзирателя. В пути должен был произойти побег при помощи нескольких товарищей из боевого отряда. Для бо̀льшей конспирации мы решили послать отряд из Варшавы. Все было готово, и мы ждали лишь указания о том, когда отряду следует выехать. Однако, согласно телеграмме из Лодзи, отряду так и не пришлось выехать. Полученное через два дня письмо об'яснило причину: Л., правда, поехал в Калиш с надзирателем за свой собственный счет, но его увезли внезапно, и о времени его от'езда никто не знал. На извозчике они вдвоем направились на вокзал. До отхода поезда осталось около 1½ часа, и наши путешественники отправились в буфет. Л. заказал чай и спокойно истреблял бутерброды. Тюремный надзиратель, ничего дурного не подозревая, удалился в уборную. Л. воспользовался моментом и, не докончив чая, немедленно исчез с вокзала.

Тотчас же Л. решил исполнить наше постановление о его поездке в Варшаву. Он немедленно направился на другой вокзал и купил билет в Варшаву. До отхода поезда оставалось минут 20, и он решил заказать новый стакан чая, так как первый на Калишском вокзале по «непредвиденным обстоятельствам» не был использован. Л. и на этот раз не пришлось допить свой чай. Через несколько минут к нему подходит невольный его спутник, уже знакомый нам надзиратель, и спокойно говорит:

— Я сразу догадался, что вы сюда поехали. Кончайте кушать и не торопитесь, у нас еще достаточно времени.

Так Л. вместо Варшавы направился в Калишскую тюрьму.

Надоели Л. эти мытарства. В Калише легко установили, что паспорт не его. Он указал свою настоящую фамилию и, как уроженец Варшавы, был по всем правилам отправлен в этапном порядке на родину.

Большая партия арестантов, уголовных и политических, медленно шагала под усиленным конвоем, направляясь с вокзала в тюрьму. Я вместе с матерью и сестрой Л. явился на вокзал. Подойти поближе было опасно,— я был нелегальным; только издали я приветствовал его.

Меня удивило то обстоятельство, что маршрут арестованных не был направлен в полицейский арестный дом, куда обыкновенно водворялись такие партии. На следующий день мы выяснили, что в виду необычайной перегруженности арестного дома было создано временное его отделение в казармах уланского полка, находящихся на окраине города.

Через два дня мать и сестра Л. уже имели с ним свидание. Они рассказали мне, что начальник временного арестного дома — добряк и не придирчив.

Задумав вместе с ними отправиться на следующий день на свидание, я условился с ними, что сначала они будут беседовать с Л., а я с начальником, а затем мы поменяемся ролями.

Необычное впечатление произвела на меня эта своеобразная тюрьма. Арестованные сидели во внутреннем корпусе дома, в верхних этажах. Окна выходили на двор, решеток в них не было. Наружную охрану держали солдаты. И здесь бросалась в глаза чрезмерная плотность населения. В Польше было тогда военное положение. Арестовывали по малейшему пустяку и без всякого основания держали в тюрьме. Вот повар одного ресторана направлявшийся в мастерскую, чтобы дать в починку испортившуюся форму для мороженого. По пути на него наскочил патруль. Его обыскивают, находят подозрительный пустой металлический шар. И бедного повара продержали в тюрьме несколько месяцев. Ему никак не удавалось доказать, что у него нашли форму от мороженого, а не... бомбу... Богатая графиня-помещица приехала из своего имения в Варшаву. Собираясь вечером в театр, она заметила, что у нее нет... чистых перчаток. Ее лакей взял одну на образец и должен был купить новые перчатки в магазине, находящемся в соседнем с гостиницей доме. Но исчезли перчатки вместе с лакеем. Оказалось, его задержал патруль. А так как он не захватил с собою документов, то попал в тюрьму. Графский титул хозяйки помог ему выбраться на свободу только через несколько месяцев...

В окнах временной тюрьмы я заметил какие-то странные фигуры. В одном окне стояло несколько мужчин во фраках, в другом—женщины в бальных костюмах. В чем дело? Мне об'яснили, что где-то в городе праздновали свадьбу. Так как во время военного положения на каждое собрание необходимо получать разрешение, а свадьбу устроили без заявки, то всех гостей, во главе с новобрачными отправили в тюрьму...

Начальник тюрьмы «понравился» мне. По тюремной части он раньше не работал. Временное назначение не приводило его в особенное восхищение: кропотливая, неинтересная работа.

— Вы знаете,— говорил он,— нет минуты отдыха. Помощника у меня нет, я должен здесь торчать и днем и ночью. Только каждые десять дней у меня одни свободные сутки. Проклятая жизнь. Жалованье же—мизерное, еле сводишь концы с концами; а у меня большая семья — жена и трое детей.

Трудно было не «посочувствовать» начальнику и я решил ему... помочь. Я условился с моими спутницами, что по окончании свиданя я задержусь в тюрьме еще на несколько минут, а они подождут меня на улице.

Долго мы разговаривать не могли: неудобно мне было засиживаться в виду задуманного мною плана; при этом к начальнику постоянно заходили и мешали мне вести «деловой» разговор.

— Жизнь у вас невеселая, — говорю я. — Постоянная суета, кутерьма. Ваша тюрьма напоминает мне большую гостиницу, — десятки и сотни людей приезжают и уезжают. Всех нужно записать, занумеровать, проштемпелевать. Небольшое удовольствие держать людей взаперти, как диких зверей, вдобавок вы человек, не привыкший к этому; вероятно, бывает грустно и томительно.

— Ах, и надоело же мне это новое занятие. Я обычно работаю по речной охране, а сюда прикомандирован временно. Тяжело мне смотреть на этих развинченных людей. И из-за чего их держат? Ведь, все они приличные люди; понятно, есть и много профессионалов-уголовных. Знаете, многие из них сильно нуждаются, без копейки сидят. Охотно я бы им помог, но у самого жалованья нехватает.

— Да, помочь трудно, всем не поможешь. А вы бы лучше выпустили их, зачем зря держать.

— Уж я-то бы выпустил, но как это сделать? Ведь, потом отвечать будешь, — самого посадят.

— Вы согласитесь отпустить моего родственника. Можно так все обделать, что вы будете не при чем. И к тому же доброе дело сделаете.

— А вот интересно, как это можно проделать, чтобы быть «не при чем». Если действительно без риска, то я бы не прочь.

— Вы отпустите его на том же основании, какое полагается вообще для всех. Вот вы теперь отправили несколько арестованных. Расскажите мне, какие выполняются при этом формальности?

— Очень просто. Я получил вот это отношение от начальника полицейского арестного дома. Как видите, в отношении предписывается препроводить трех арестованных в полицейский арестный дом. Городовые, которые принесли это отношение, получают арестованных и на отношении расписываются в приеме их.

— Дайте мне это отношение. Завтра утром я его верну, а вечером завтра же придет полицейский с точно таким же отношением о переводе моего родственника. Если отношение будет не в порядке, вы его не отпустите.

После долгих сомнений, колебаний и обсуждения деталей начальник согласился и передал мне образец. Перед моим уходом он прибавил:

— Вот что, у меня будет к вам просьба. Раз вы уже хотите заготовить отношение для вашего родственника, заготовьте еще и для N. Это тоже молодой человек. Он производит впечатление весьма приличного человека. Он все просит, чтобы я его выпустил. Я не соглашался — не хотел рисковать. Теперь вижу, что ваш способ верный, и я готов ему также помочь.

Фамилия, которую назвал начальник, мне ничего не говорила. Но я не сомневался, что дело касалось кого-либо из политических, желающих выбраться из тюрьмы. Я охотно поэтому принял предложение, тем более, что такое непосредственное участие начальника в моем «злодеянии» давало мне большую гарантию, что он не устроит мне провокации.

Спустившись во двор, я еще раз окинул взором эти солдатские казармы. Тяжелое зрелище. Казалось, что это — дом для умалишенных. Окна в трех верхних этажах были раскрыты и битком набиты были люди. Каждый говорил с кем-нибудь, стоящим в другом окне того или другого этажа. Собеседники друг друга не видели, узнавали лишь по голосу. А так как одновременно беседовало несколько десятков людей, то один другого старался перекричать.

Мне казалось, что так громко и отчаянно могут кричать люди, спасающиеся с тонущего корабля.

Минут пять простоял я и с грустью присматривался к этой жуткой картине. Вдруг мне почудилось, что кто-то выкрикнул мою фамилию. Я ищу во всех окнах, но никого не замечаю. Зов нервно повторяется несколько раз. Наконец, я заметил одного бундовца, с которым мне приходилось иметь делю, как с представителем варшавского комитета Бунда. Я знал, что он проживает нелегально... У меня сразу же мелькнула мысль, что я мог бы подвести под мою амнистию и его. Но я не знал, под какой фамилией он сидит. Я кричу ему и спрашиваю фамилию. Он безнадежно машет руками, желая этим об'яснить, что он сидит под чужой фамилией. На мой повторный вопрос он назвал свою фамилию. Вдогонку он крикнул мне:

— В следующий раз, когда будете здесь, вызовите меня на свидание. Мне необходимо с вами поговорить!

— Завтра буду здесь и обязательно вас повидаю.

Я бы это сделал и без его просьбы, так как названная им фамилия оказалась той же, которую мне сообщил начальник тюрьмы.

В тот же день взялись мы за приготовление бланков. Я решил, что они должны в точности отвечать образцу. Но мы натолкнулись на большие затруднения. Бумагу мы легко подобрали, но зато чрезвычайно трудно было разыскать нужный шрифт. На бланке с левой стороны в заголовке было напечатано лишь несколько слов:

М. В. Д.
Обер-полицеймейстер
Арестный дом
гор. Варшава

Однако, слова эти были набраны тремя различными шрифтами. Лишь с большим трудом нам удалось подобрать как в наших нелегальных типографиях, так и других, где у нас были связи.

Наконец, все было готово. Пришлось только сфабриковать подпись начальника арестного дома Курякина. Тут на помощь пришел т. Кр., ныне пребывающий в Москве. После 15-минутных упражнений он так великолепно подделал подпись начальника, что никак нельзя было отличить поддельную от настоящей.

Вначале я думал было приготовить двух товарищей, которые переодетые полицейскими отправились бы в тюрьму за нашими двумя арестованными. Но приготовление соответствующей одежды и пр. заняло бы много времени. Медлить, однако, нельзя было, так как в любой момент Л. могли перевести в другую, уже настоящую, тюрьму.

Через два дня после моего разговора с начальником я явился к нему. Это было вечером часов в 7—8. Я под'ехал к тюрьме на извозчике. Сделал это сознательно, чтобы не пешком возвращаться со своими трофеями. У ворот меня задержал солдат-часовой. Увидев пакет из арестного дома, он меня беспрепятственно пропустил внутрь здания.

Направляюсь прямо в кабинет начальника. Я немного волновался и думал: «неужели же он меня спровоцировал».

Начальник был один в кабинете.

— Здравия желаю! Вот пакет для вас.

В пакете было два ордера на наших арестованных и один образец.

Начальник внимательно осмотрел документы и сличил подписи. После минутного молчания я раз'яснил:

— Извиняюсь, что запоздал с возвратом образца. Необходимо было дольше задержать, чтобы все вышло точно. Я не хотел запутывать лишних людей, поэтому не взял городовых и явился сам. А потом вы в случае чего

раз'ясните, что явился как всегда городовой... Сознаюсь, что я немного колебался относительно вашего протеже. Ведь я его не знаю, а вдруг он меня провалит. Но раз вы об этом просили, я не счел возможным в этом отказать: услуга за услугу.

Начальник восхищался документами:

— Ведь это настоящие бланки из полицейского арестного дома. А подпись по-моему самого начальника—Курякина! Скажите правду, сколько вы ему за это заплатили?.. Великолепно, теперь действительно все будет в полном порядке!

— Бланки настоящие, но подпись наша, — возразил я.

Я хотел хотя бы частично успокоить начальника и щегольнул тем, будто бланки не поддельные.

Когда он решительным тоном поручил тюремному надзирателю вызвать обоих арестованных в канцелярию «со всеми вещами», я, хотя и не был уверен в благополучном исходе моего визита, поблагодарил начальника за его хороший поступок и всунул ему... 50 рублей. Два четвертных билета не особенно обрадовали его и он сделал соответствующую гримасу.

— Видите ли, приготовление этих документов, как вы сами понимаете, стоило немало денег. Кроме того, вы получите деньги и от второго арестованного, а я помогу вам его выпустить. Вот почему вы должны быть довольны этой суммой.

Через несколько минут оба арестованных «со всеми вещами» были в канцелярии. Мне был выдан пропуск на трех. Я расписался в получении двоих, и мы втроем вскоре очутились за воротами и на дожидавшемся извозчике поехали вперед.

Сцена в канцелярии прошла быстро и молчаливо. Я сделал знак товарищам, чтобы они ничего не говорили и не канителились. Только на извозчике начались горячие рукопожатия и слова радости.

При первом же встречном извозчике мы распрощались с товарищем бундовцем. Л. я должен был увезти на приготовленную конспиративную квартиру. Однако я не мог отказать себе в удовольствии поехать с ним на короткое время к его семье.

Я позвонил, а он остался незаметным позади. Открывая дверь, мать его сказала мне шутя, несмотря на свое горе:

— Ну, что же, быть может, вы принесли хорошую весть о моем сыне?

— А что вы называете хорошей вестью?

— Понятно, только одно — его освобождение.

— Да, у меня имеются сведения, что он скоро будет освобожден.

— Что вы шутите надо мной? И что значит скоро, быть может, через год?

— Нет, не через год, а значительно раньше. Не исключена возможность, что даже сегодня. Если вы не верите, то тут дожидается один товарищ, который может все это подтвердить.

Я открыл двери, и Л. бросился в об'ятия матери и сестер.

Наша амнистия, однако, не положила конец арестам Л. Вскоре он опять попался, и у нас появились новые заботы.

В начале октября того же 1906 года Л. поехал по партийным делам за границу. Ему нужно было с'ездить в Берлин и Краков. Когда мы по истечении нескольких дней не получили сообщения о благополучном проезде его через границу, мы заволновались. На наш телеграфный запрос в оба города получился ответ, что его там нет.

Было ясно, что Л. опять арестован. Все говорило за то, что попался он на границе. Поехал он с германским паспортом. Фамилия была мне известна.

Я не знал, однако, куда он раньше поехал—в Берлин или в Краков. В виду того, что дела в Берлине были более срочными, я взял установку на пограничную станцию Александров. Я решил направиться туда и попытаться что-нибудь узнать об исчезнувшем.

В Александрове я никаких связей не имел и поехал без всякого наперед намеченного плана. Так как в это время за проезжающими через пограничную станцию производилось усиленное наблюдение, то я для большей конспирации взял в помощь себе одного высшего железнодоржного чиновника. Мы ехали (оба бесплатно) в отдельном купе 1-го класса. Всю ночь мы спокойно спали и нас никто не тревожил.

В Алёксандрове я начал действовать. У моего помощника были знакомые, работающие в транспортных конторах. Такие люди были всегда в «хороших отношениях» со всеми властями на границе. Через них он должен был узнать у железнодорожных жандармов, проезжал ли Л. через границу и что с ним случилось. После трехчасового томительного ожидания я получил от него сообщение, что жандармы, тщательно проверив все документы, категорически заявили, что Л. не проезжал через границу.

Такой ответ говорил за то, что Л. поехал, вопреки моим предположениям, в Краков. Я купил билет в другой пограничный пункт, в Границу, куда направился ближайшим поездом. До отхода поезда осталось несколько часов. Я все думал: а вдруг здешние жандармы спутали, и я зря еду в Границу, потрачу время, а нити невидимого клубка находятся здесь, в Александрове.

Тут «сам бог» как бы пришел мне на помощь. Бродя по улицам, я натолкнулся на одного моего дальнего родственника, который уже много лет проживал в Александрове. Я с ним почти никогда не встречался. Я знал по рассказам, что он считает меня «погибшим человеком». Рассказывали, что он всегда отзывался обо мне с большим уважением, но вслух не называл моего имени, так как опасался моей революционной деятельности. Увидев его, я тут же решил использовать его и через него еще раз навести справки. Сердечно поздоровался я с ним и с большой охотой принял его предложение отправиться к нему домой. Я чувствовал, что мое теплое отношение к нему льстило ему, — это как раз было мне на руку.

— Что вы делаете в нашем захолустье? Неужели приехали сюда революцию делать? Откуда вы едете и куда направляетесь?

— Приехал я из Варшавы. Здесь у меня имеются дела, хотя «революции делать» у вас не собираюсь. Вообще, что вы притворяетесь, будто издеваетесь над моей профессией. Я не сомневаюсь, что вы в душе с нами. Я удивляюсь, как вы, человек умный и интеллигентный, можете спокойно смотреть, как другие «делают революцию». А ведь в ваши студенческие годы какие-то грешки за вами числились. Неужели «мечты юности» исчезли безвозвратно, и вы теперь лишь добросовестно стараетесь увеличить капитал своего хозяина (он работал в какой-то конторе)... Я приехал сюда по одному делу, вы знаете, как мне, в моем нелегальном положении, трудно действовать, а вы могли бы мне очень помочь.

По глазам этого интеллигента я видел, что слова мои возымели свое действие.

— Теперь я должен отметить, что вы желаете надо мной издеваться. Вы коснулись моей глубокой раны. Революционная деятельность всегда была моей мечтой, но увы, обстоятельства сложились у меня так, что я вынужден был итти по другому пути. Уверяю вас, однако, что я с большой любовью отношусь к беззаветной революционной деятельности всех вас. Правда, с некоторыми вашими требованиями я не согласен. Вы слишком резки и односторонни в своих лозунгах. Неужели действительно можно отобрать все у капиталистов и передать рабочим? Что же разве по-вашему капиталисты не

работают? Я вам скажу, я наблюдаю их изо дня в день и вижу, как они трудятся. Я имею также близкое соприкосновение с рабочими и, наоборот, убедился, что среди них много лентяев... Революция, скажу вам, дело хорошее. Но нельзя быть такими прямолинейными и такими беспощадными, как вы — революционеры.

Подобные глупенькие мещанские разговоры были мне хорошо известны. Я нисколько не был заинтерсован в том, чтобы сагитировать моего собеседника. Время мне было дорого, и я хотел через него еще раз сделать разведку.

— Вы нас так критикуете, что я уже жалею о том, что с вами завел беседу. Вообще, быть может, лучше было бы к вам вовсе не заходить. Однако скажу откровенно, меня к вам всегда тянуло, мне все казалось, что именно вы нас понимаете.

— Нет, вы меня неправильно поняли! Я целиком вам сочувствую! Я верю, что будущее принадлежит вам! Но в настоящее время вы слишком идеалистичны и зря погибаете. Из-за этого мне и жаль вас... Но чтобы убедить вас, что я вам сочувствую, скажите, чем я могу вам помочь в вашем здешнем деле, и я по мере возможности все сделаю.

Я рассказал ему о своей заботе и спросил его, не может ли он что-нибудь выяснить.

— Если ваш товарищ задержан здесь, то он, во всяком случае, сидел или еще сидит в здешнем арестном доме. Тогда наш бургомистр должен об этом знать, так как арестный дом находится в его подчинении. С бургомистром я хорошо знаком, могу запросто к нему зайти и узнать все у него. Живет он недалеко от нас. Если хотите, подождите, я к нему сейчас зайду.

Через полчаса любезный хозяин вернулся и сообщил мне следующее:

— Да, оказывается ваш товарищ действительно был задержан при проверке паспортов. Ему уже был выдан паспорт и он поехал бы за границу. Но перед самым отходом поезда жандармский вахмистр обходил поезд, осматривал паспорта, и ваш товарищ показался ему подозрительным. Его сняли с поезда, арестовали и должны были установить его личность. Таких случаев, когда люди пытаются проехать через границу под чужим паспортом, у нас было много. Дело переходило к мировому судье, и он назначал небольшое наказание. Но ваш товарищ зря сказал, что он политический деятель; вследствие этого дело перешло в руки жандармов. Напрасно он это сделал, лучше было бы попытаться бежать, тем более, что арестный дом у нас весьма примитивный и особенно усиленного надзора здесь нет. Его отсюда через Нешаву отправил во Влоцлавск. В пути на пароходе он уговаривал сопутствовавшего ему тюремного надзирателя отпустить его. Результат, однако, получился такой, что надзиратель усилил наблюдение за ним и доложил по начальству, что тот хотел его подкупить. Здесь он значится во Влоцлавске, и если вы хотите что-либо о нем узнать, вам следует туда направиться.

Поблагодарив и попрощавшись с гостеприимным хозяином, я направился на вокзал и сел в поезд по направлению во Влоцлавск.

По дороге размышлял о том, как мне действовать в этом небольшом уездном городишке. Я вспомнил, что в 1902 году, организуя нелегальный путь для отправки литературы в гор. Торне, я заезжал во Влоцлавск, где нужно было создать базу. Я познакомился тогда с местной четой Г. Они оказались весьма отзывчивыми и искренно сочувствовали революционному движению. У них я устроил тогда явку товарищей, приезжающих из Варшавы за транспортом нелегальщины. К ним я направился и сейчас.

Прямо с поезда я заехал в гостиницу. Было, примерно, 9 часов вечера. Первым делом спросили паспорт. Я передал паспорт на имя Леона Бореля. Уезжая внезапно из Варшавы, я взял настоящий паспорт у случайно встретившегося мне на улице товарища. Ехать со своим нелегальным, по которому

я был прописан, я не хотел: в случае провала товарищи могли бы успеть очистить мою квартиру.

Осторожности ради я заявил в гостинице, что ночью еду курьерским поездом дальше в Варшаву. Этим я добился того, что мой паспорт не был прописан, и тут же возвращен мне обратно.

Оставив чемодан в гостинице, я зашел к Г. Они меня приняли так же радушно, как и четыре года тому назад. Я сразу рассказал им, какое неприятное дело привело меня во Влоцлавск и просил совета.

Первым делом нужно было во что бы то ни стало получить к утру свидание с Л. Я расспросил их про местные условия, просил указать мне хорошего адвоката, спросил о тюремном враче и др. Мысль моя работала в одном направлении: следует непремнно выручить Л.

Раз'яснения я получил далеко невеселые.

— Приехали вы в особенно неудачное время. Имейте в виду, что в «кровавую среду»[1] здесь убили полицеймейстера, уездного начальника и покушались на жандармского ротмистра; в последнего стреляли три раза, но он вышел цел и невредим. После этого введено было у нас военное положение, и пошли всякие строгости. Военным губернатором назначен командир здешнего полка. Говорят, он когда-то учился в университете. Но он типичный солдат, в политике не разбирается и решил «навести порядок». Прокурор нззначен новый, какой-то молокосос. Полицеймейстер тоже новый. Людей этих мы не знаем. Передают, что они трясутся перед военным губернатором и беспрекословно подчиняются его воле. Сейчас в нашем городе все сильно угнетены. Недавно вблизи города ограбили почту, ехавшую по шоссе в уездный городок Липно. После этого начались в городе поголовные аресты. Заведующий тюрьмой здесь всего полтора месяца, некий Пинчук. Приехал он к нам из Варшавы. О нем тоже ничего вам рассказать не можем.

Проболтав с ними час-другой, узнав адрес адвоката, который защищал политических, я попрощался и пошел в гостиницу спать. Долго не мог заснуть — все думал о плане освобождения.

В 3 часа ночи меня разбудили и предупредили, что скоро отходит поезд. Я пробормотал, что чувствую себя плохо и потому не уеду.

Утром я расплатился в гостинице, побрел по городу и, наконец, направился в тюрьму.

Начальника тюрьмы Пинчука я знал по Варшаве. Когда меня в 1903 г. арестовали и привели в следственную тюрьму «Павиак», Пинчук как раз был тогда дежурный и «принял» меня. Первая встреча с ним не оставила о нем хорошего впечатления. Чересчур усердно принимал он меня. Несмотря на то, что меня привел помощник пристава[2], делавший обыск на квартире, в которой я случайно находился, и заявил, что меня тщательно обыскивали и, что у меня «все отобрано», — Пинчук велел вторично добросовестно меня обыскать. Это заставило меня незаметно уничтожить мою записную книжку, которую мне удалось скрыть при обыске и в которой были записаны некоторые важные для меня заметки, правда, на условном языке.

Просидев 7 месяцев в Павияке (откуда меня направили в X павильон), я как-то не встречал Пинчука. Он занимал незначительную должность заведующего канцелярией, и мне не приходилось иметь с ним дела. При этом, вспоминая первое впечатление, я не доверял ему и старался его избегать.

---

[1] 15 августа 1906 г. (это было в среду) ППС сорганизовала убийство полицейских и жандармов. В разных городах Польши было убито несколько десятков; среди убитых оказалось только несколько человек высшего ранга; большинство рядовые городовые и жандармы. В результате много людей попало на виселицу.

[2] Некий Константинов, прославившийся своими зверскими подвигами в 1905-6 г. Впоследствии он был убит бомбой.

В 1905 г., когда я приходил на свидание к т. Гурцману[1], тот рассказывал мне, что Пинчук столует его и оказывает иногда мелкие «незаконные» услуги. На мое замечание, что с Пинчуком следует быть осторожным, добряк Гурцман возразил:

— Вы ошибаетесь, Пинчук по-моему приличный. Правда, кормит он меня за хорошую плату, но всякие «услуги» он делает безвозмездно. А ведь за это ему может здорово влететь. Очевидно, революция и на него повлияла.

Гурцман принадлежал к тем людям, которые стараются не замечать в человеке ничего плохого. Его слова поэтому не особенно меня убедили. И когда я на следующий год заходил в тот же Павияк к т. Тышко, меня вовсе не удивило, когда он выразил неудовольствие, что наше нелегальное свидание обнаружил случайно вошедший в комнату Пинчук.

— С этим человеком, — сказал он, — следует быть сугубо осторожным. Он ко мне часто подходит и прямо навязывается, но я его отшиваю. У меня впечатление, что он связан с охранкой и по ее заданиям следит за нами.

Опытнейший революционер Тышко правильно оценил Пинчука. С его характеристикой я был вполне согласен...

Очутившись во Влоцлавске, я вспомнил мою первую встречу с Пинчуком и отзывы о нем тт. Гурцмана и Тышко. Не очень-то хотелось иметь с ним дело. Но так как это все равно было неминуемо, то я убеждал самого себя, что в оценке Пинчука прав был Гурцман.

Так размышляя, я очутился перед железными воротами тюрьмы. На мой звонок привратник-надзиратель открыл форточку в воротах и спросил, в чем дело. Я об'яснил ему, что мне необходимо повидать начальника. Я был в затруднении, когда он спросил мою фамилию. Сказать настоящую мне как-то не хотелось: опасаясь, что Пинчук помнит ее, я не хотел также указывать фамилии, значащейся у меня в паспорте.

— Скажите, что приехал знакомый из Варшавы и хотел бы его повидать.

Привратник пошел доложить, а я ждал и присматривался к этому мертвому дому. Некоторые окна были завешены зонтами: здесь, очевидно, содержались «особо важные» преступники. Через маленькие окошки солнечный луч редко мог проникнуть в камеру. Камеры с зонтами были обречены на вечный полумрак. Оттуда с трудом можно было видеть небольшой клочок неба. Царившая в этих камерах сырость расправлялась с заброшенными сюда жертвами. Несмотря на то, что было около полудня, из тюрьмы не слышно было ни одного звука. Это придавало еще больше грозности холодному, суровому дому, испещренному толстыми железными решетками в маленьких окошках. Казалось, что брошенные в этот железный мешок люди заживо похоронены. Казалось, серые каменные стены этого дома говорили: «О, если бы мы могли, мы рассказали бы о тех ужасах, которые творятся здесь внутри...» Бесшумно расхаживали солдаты, караулившие тюрьму снаружи и с изумлением смотрели на меня, как бы желая сказать: «Что за странный человек, — сам добровольно лезет в тюрьму». Через несколько минут открылась форточка в воротах и показалась голова Пинчука.

— Здравствуйте, вы узнаете меня? — спросил я.

— Как же, хорошо помню, — возразил Пинчук.

— Можно с вами поговорить?

— Милости просим, очень буду рад.

---

[1] Гурцман—молодой инженер. Его арестовали вместе с известным т. Каспршаком в нелегальной типографии. При появлении полиции Каспршак стрелял и убил пристава и 2 городовых. Военный суд приговорил Каспршака к смертной казни через повешение, а Гурцмана к 15 годам каторги. Когда Гурцман перешел на поселение и готовился к побегу, он внезапно скончался от апендицита.

Двери в железных воротах открылись, и я очутился во дворе тюрьмы. Мы поздоровались, и я по его следам молча направился в его кабинет. На дворе царила тишина, слышны были лишь шаги солдат, охранявших тюрьму внутри. Мы поднялись вверх по небольшой лесенке; опять железные двери, решетчатые; опять защелкнул замок. Пройдя два-три коридора, мы зашли в тюремную канцелярию, а через нее в кабинет начальника.

Пинчук извинился преде мной, об'яснив, что должен просмотреть несколько срочных бумаг. Он сел и, облокотившись на стол, читал бумаги. Я присматривался к нему. По его жестам, по выражению его лица я старался установить, какой он, — кто был прав в свое время — Гурцман или Тышко?

Его бледное, покрытое веснушками лицо, зеленые маленькие глаза и рыжая бородка не внушали доверия. Быстро бегали глаза его по строкам лежавшей перед ним бумаги и, казалось, хотели выловить из нее какую-то крамолу.

Я был уверн, что Пинчук меня вовсе не помнит, но я воспользовался его «как же, помню» и фамилии своей ему не сказал ни настоящей, ни какой-нибудь иной.

Окончив свои дела, Пинчук спросил меня: «Чем могу служить?»

Я сразу приступил к делу.

— У вас сидит Л. Его задержали на границе, так как паспорт его был не в порядке. Парень он больной. Я хотел бы, чтобы его дело по возможности скорее выяснилось, чтобы он мог выйти из тюрьмы. По существующим законам такие дела разрешаются мировым судьей. Я сегодня же начну хлопотать, вас же попрошу оказать мне услугу и дать мне свидание с ним.

— Я как-то раза два видел его здесь. Производит он впечатление скромного и действительно больного человека... Сердце сжимается, когда видишь таких людей в тюрьме. Хотелось бы им помочь, но фактически мы почти не в состоянии что-нибудь сделать. Ведь мы только исполнители: мы должны делать то, что нам прикажут. Прикажут отпустить на свободу,— мы охотно это делаем... Что же, хотя я не вправе, но я сейчас вызову его сюда и вы сможете с ним переговорить.

Через несколько минут в кабинет Пинчука действительно вошел Л.

Как обыкновенно в таких случаях бывает, беседа носила немного сумбурный характер. Хочешь обо всем поговорить, перескакиваешь с одной темы на другую. Я информировал Л. о положении в партии, спросил о его здоровьи, настроении и т. п. Л. об'яснил мне, что до сих пор никто его не допрашивал, а потому он не мог назвать своей настоящей фамилии.

Скрывать фамилию не имело смысла, — все равно установят настоящую, что может потребовать лишь длительного времени. Между тем, важно так или иначе скорее двинуть дело и, таким образом, скорее быть на свободе. С другой стороны, не исключена возможность отделаться у мирового судьи денежным штрафом за использование чужого паспорта.

Л. согласился с моим предложением и готов был в этот же день сообщить свою настоящую фамилию.

Я раскрыл перед Л. мои планы, во что бы то ни стало попытаться освободить его. У меня было два плана. По первому — я предполагал действовать при помощи адвоката на мирового судью, чтобы тот ускорил слушание дела Л. и ограничился денежным штрафом. Согласно второму плану — Л. должен заявить себя больным и вызвать врача. Врач же установит, что Л. необходимо поместить в больницу. Попутно я выяснил, что тюремный врач весьма «сговорчив». Больница находилась на окраине города. На нее мало кто обращал внимания. Я установил также, что одна из фельдшериц, работающих в больнице, может в случае надобности оказать содействие.

Само собою разумеется, Л. не возражал против моих планов, и перспектива очутиться на свободе показалась ему весьма заманчивой. Мы условились, что я начну немедленно действовать и через несколько часов зайду к нему вторично и сообщу результаты.

Мы беседовали в кабинете начальника. Он был занят своими делами. То читал бумаги, то выходил в канцелярию. В наш разговор он не вмешивался. У меня, однако, сложилось впечатление, что он одним ухом подслушивает нас.

Пинчук был весьма любезен. Когда мы с Л., условившись обо всем, начали прощаться, начальник с удивлением сказал: «Чего вы спешите, можете спокойно беседовать».

Я, однако, сделал знак Л., чтобы он ушел. Мне необходимо было спешить, так как медлить нельзя было и нужно было действовать энергично. Я предполагал также позондировать почву у начальника, — нельзя ли его тоже использовать. Я знал, что он монету очень любит. Нужно было лишь должным образом втянуть его в мои планы. Когда Л. удалился, я завел разговор с начальником.

— Какая досада, — сказал я, — что он так глупо попался. Ведь фактически за ним никаких грехов не числится. Все его преступление состоит в том, что он пытался с чужим паспортом проехать за границу. Такие дела разрешает мировой судья, а наказание за это — небольшая отсидка или денежный штраф. Я условился с ним, чтобы он указал свою фамилию и потребовал к себе судью.

Пинчук сочувственно возразил:

— Он напрасно не сообщил раньше своей фамилии. Зачем молодому человеку томиться в тюрьме, — ведь он не разбойник. Попробуйте поговорить с судьей, быть может, все благополучно кончится. Я, однако, сомневаюсь в том, так как Л. где-то сообщил, что он революционер и об этом знает уже здешний жандармский начальник.

Раз'яснения эти неособенно меня обрадовали. Но отказаться от задуманного плана мне не хотелось. Я попрощался с начальником, прося разрешения зайти еще раз к Л. и принести с'естные припасы. Начальник охотно дал согласие.

Не теряя времени, я направился прямо к адвокату. Он был дома и сразу же меня принял. Обменявшись несколькими общими фразами, я понял, что имею дело с обыкновенным обывателем, большим трусом, который, однако, несколько считается с «общественным мнением». Пришлось поэтому соответствующим образом говорить с ним.

— Меня к вам направил варшавский комитет по политической защите. Я столько лестного слышал о вашей работе на этом поприще, что должен, во-первых, выразить вам свою искреннюю глубокую признательность. Я не сомневаюсь, что вы окажете мне всяческое содействие в деле, с которым я к вам пришел.

Рассказав ему детально все дело, я продолжал:

— Я поэтому очень прошу вас, чтобы вы сейчас зашли к моему товарищу в тюрьме, получили от него доверенность и начали действовать у судьи. Не буду перед вами скрывать правду. Сейчас за моим товарищем никаких «преступлений» не числится, но он известен варшавским жандармам как революционер. Если они пронюхают, что он попался, то в виду военного положения могут долго его держать. Вот почему необходимо действовать быстро.

Адвокатишка старался скрыть свое волнение и страх.

— Помилуйте, что вы говорите! Как это я могу так прямо зайти к арестованному в тюрьму. Ведь меня могут заподозрить в соучастии! Я вообще

удивляюсь, что вы приехали к нам и даже рискнули показаться в тюрьме. У нас сейчас очень строго. Недавно убили здесь нескольких высших должностных лиц. После этого была ограблена почта. В связи с этим пошли большие аресты в городе. Идет усиленная слежка, и вы сами также можете попасться. Советую вам, оставьте вашу затею и возвращайтесь в Варшаву... Таких дел ускорить нельзя. Если ваш товарищ и сообщит судье свою фамилию, то тот последний должен проверить ее в Варшаве, а это затянется... Далее, я вам должен сказать, что сейчас в тюрьме новый начальник, и я его вовсе не знаю.

Хотелось плюнуть этому трусу в лицо и уйти. Пришлось, однако, сдержать себя.

— Я согласен с вами, что здесь запутанное и трудное дело. Но с легким делом нечего было бы мне вас тревожить. Вот почему я и направился к вам, так как ваши коллеги в Варшаве указали мне именно вас, как вполне надежного, энергичного и идейного человека. Вы правильно указываете, что судья должен проверить в Варшаве заявление моего товарища. Но судья ведь вправе до суда освободить его под залог. Залог при таком пустяковом деле потребуется небольшой. Деньги я взял с собой, и задержки с этой стороны не будет. Что же касается вашего визита в тюрьму, то вы можете сообщить, что получили письмо от родственников моего тобварища, наконец, вы слишком известное в городе лицо, чтобы вам начальник делал затруднения. Если он дал свидание мне, то тем более даст вам.

Почтенный адвокат крутился, вертелся и, наконец, заявил, что отправится сейчас в тюрьму и просит его подождать. Не желая разгуливать по городу, я подождал адвоката у него на квартире. Вскоре он возвратился, но ничего утешительного не сообщил мне.

— Был я в тюрьме и беседовал с начальником. Он сказал мне, что ваш товарищ является революционным деятелем, и об его аресте знает жандармский начальник. Последний заявил начальнику тюрьмы, что будет вашего товарища допрашивать, хотя он официально еще за ним не числится. Начальник поэтому советовал мне, чтобы я с арестованным не виделся, так как это может стать известным жандармам, и вследствие этого у меня и у начальника могут быть осложнения... Вот, видите, ничего из вашего плана не вышло. Незачем мне сейчас обращаться к мировому судье, так как он все равно ничего не сможет сделать.

Очевидно, адвокат говорил правду. Мне все-таки вся эта история не нравилась. Почему Пинчук без всяких колебаний разрешил мне свидание? Почему он мне не отсоветовал и не указывал на могущие выйти неприятности для меня? Уже слишком неохотно собирался адвокат в тюрьму и со скрытым удовольствием доказывал мне, что не может ничего сделать в данном деле.

Я ушел. Настроение у меня было неважное. Какое-то минутное уныние овладело мной. Подозрительным показалось мне поведение Пинчука и адвоката. Отказаться, однако, от моей идеи освобождения Л., пока все средства не были использованы, я не хотел.

Нужно было использовать тюремного врача и при его помощи перевести Л. в больницу, а уже в больнице сорганизовать побег. Я и направился на квартиру врача.

Увы, во Влоцлавске мне не везло!

Врач оказался дома, но никак нельзя было с ним повидаться. В этот день он праздновал двойной праздник — 25-летнюю годовщину своей свадьбы и свадьбу своей старшей дочери. Приемная была битком набита пальто, свидетельствующими о присутствии большого количества гостей. Из соседних комнат слышны были неразборчивые голоса веселой компании.

Тщетны были мои попытки уговорить открывшего мне двери лакея вызвать хотя бы на минуту хозяина.

— Помилуйте, господин, что вы говорите! У нас сегодня такое большое торжество — как я могу тревожить в такой момент доктора! Он меня прогонит немедленно со службы! Приходите затра, я вас первым впущу на прием.

С досадой захлопнул я за собой двери и подумал: «Фу, ты, чорт, не мог он другого времени выбрать для свадьбы своей дочери — как только день моего приезда».

Но другого выхода, очевидно, не было, и пришлось подумать о больнице. К врачу можно зайти на следующий день утром, а пока надо сделать другие приготовления.

Вместе с Г. я пошел осматривать больницу. Небольшой одноэтажный дом стоял, не выделяясь среди других домов, на окраине города. Позади больницы был садик; расположение было весьма подходящее для побега. Фельдшерица, которую мне рекомендовал Г., жила в больнице, что тоже было положительным фактором.

— Как вы, собственно говоря, предполагаете реализовать ваш план? — спросил меня Г.

— Очень просто, у вашей фельдшерицы будет заготовлена одежда, так как одежда Л. будет у него отобрана при приходе его в больницу. В первую же ночь после прибытия Л. в больницу должен состояться побег. Л. может без особых затруднений добраться через окно в сад, а там придется все приготовить, чтобы он немедленно исчез из города.

Я купил кое-какие мелочи из с'естных припасов и направился в тюрьму. Нужно было информировать Л. и как-нибудь «смягчить» Пинчука. Для меня было ясно, что без его, хотя бы пассивной, помощи могут рухнуть мои планы.

Меня сразу пустили в тюрьму. Пинчук был в своем кабинете. Увидев меня, он сказал:

— Хорошо, что вы зашли, а то мне нужно сейчас уйти. Я уже оставил распоряжение, чтобы вам дали свидание, если меня не будет.

Эта любезность и внимательность не столько тронули, сколько удивили меня.

— Благодарю вас сердечно за вашу внимательность. У вас столько работы, а вы обо мне не забыли. Я вас очень благодарю за это... А вот, если вы поможете ускорить формальности и освободить товарища, я вам этой услуги никогда не забуду... Знаете, я все думаю о нем. Тяжело мне будет уехать отсюда без него. Человек он больной, сидит зря в тюрьме вместо того, чтобы заниматься, учиться. Он ведь студент... Вы человек опытный, укажите, как мне действовать.

— Скажу вам искренне, тяжело мне говорить на такие темы. Вы не имеете понятия, как я томлюсь на этом проклятом посту. Хотя я только исполнитель чужих приказов, но сознаю, что именно я держу людей под замком. Всякий человек жаждет свободы, простора, а тут его загнали в клетку. У нас теперь сидит много политических. Представляю себе, как они ненавидят меня. Психологически я их понимаю. Но это обидно мне, тем более, что многое, многое сделал бы я для облегчения их участи. Однако одних пожеланий мало. Необходимо иметь возможность для проведения в жизнь этих пожеланий. А этого я лишен... Знаете, я неоднократно здесь в кабинете думал о том, как моя судьба искривила мне жизнь. Совсем молодым человеком я женился, обзавелся семьей. Никакого особенного полета у меня тогда не было. Я шел по линии наименьшего сопротивления. Надо было прокормить семью, и я искал работы. Случайно мне предложили работу

в канцелярии тюрьмы. Я, не подумав, сразу согласился. Работаю я уже по тюремной части 14 год. А вот теперь, когда вся Россия заговорила о свободе, когда каждого тянет к чему-то новому, у меня нет выхода, и я должен прозябать за этими решетками и честных, идейных людей держать под замком... Вы хотите, чтобы я вам помог, а вот вы помогите мне выбраться отсюда... Вы все молчите, очевидно, скучны вам мои откровения. Я прошу извинения... Давайте, вернемся к нашей теме. Верьте, я охотно помог бы вам, но не вижу способа. Быть может, у вас есть способ? Укажите, и я охотно помогу вам.

Исповедь Пинчука, быть может, произвела бы на меня впечатление, если бы я верил в его искренность. Имеющийся у меня опыт говорил мне, что этот тюремный начальник лишь рисуется передо мной. Иначе — чем об'яснить, что этому «либералу» дали повышение и назначили начальником. Я обратил также внимание на то, что он ни одним словом не обмолвился о визите адвоката. Я был уверен, что он хитрит. Не доверяя ему, я не подозревал его, однако, в злых намерениях и решил только, что он хочет недешево продать мне свою помощь. После минутного молчания я сказал:

— Ну, что же, при вашей доброй воле подходящий план нашелся бы. Я об этом не подумал, но можно бы что-нибудь предпринять... Он ведь больной. Я уверен, что если его осмотрел бы врач, то наверно настаивал бы на его переводе в больницу. Вы не возражали бы против этого, так как в этом ничего незаконного нет. А если что-нибудь случится с ним в больнице, вас это не коснется, так как за это вы не отвечаете.

— Мне, понятно, возражать нечего, если врач пожелает перевести его в больницу. Что же, подумайте об этом. В больнице за него отвечает больничная администрация.

— Действительно, можно остановиться на этом плане, — он неплохой. Следовало бы детально его обсудить. Я только не знаю, какого врача пригласить, вы бы мне посоветовали... Но здесь нельзя спокойно говорить, вам все мешают. Давайте, вечером поужинаем вместе и спокойно поговорим. Это будет очень кстати, так как я здесь совсем одинок и сидеть одному в ресторане скучно.

Пинчук охотно принял мое предложение:

— Знаете, это хорошая идея. Ведь я чуть не по целым ночам засиживаюсь в этих тюремных стенах; по крайней мере хоть оторвусь на несколько часов от этой неприятной работы.

Мне нужно было раскусить Пинчука. Я рассчитывал, что за рюмкой Пинчук по-настоящему выявит свое лицо. Тут в более откровенном разговоре я дал бы ему также понять, что если моя затея удастся, то ему достанется денежное вознаграждение. Мы условились встретиться в ресторане в 9 часов вечера. Тут же был вызван и мой пациент. Я информировал его обо всем, передал продукты, оставил немного денег, и мы попрощались с ним до следующего дня.

У меня оставалось до ужина немного времени. Первым делом я перекочевал с моим чемоданчиком в другую гостиницу. Здесь опять заявил, что уезжаю ночным поездом, и это дало мне возможность, показав паспорт, снова получить его обратно без прописки.

Затем я решил дать телеграмму сестре Л., чтобы ее немножко успокоить. Телеграф в городе был уже закрыт и пришлось ехать на железнодорожную станцию. Как раз, когда я получал квитанцию на сданную телеграмму, железнодорожный жандарм, услыхав под'ехавшего извозчика, поинтересовался узнать, кто приехал и заглянул на телеграф. Я сделал вид, что его не замечаю. Пришлось, однако, вместо того, чтобы как я это всегда

делал из-за конспирации, бросить незаметно квитанцию, скомкав, сунуть ее в карман. Спокойно вернулся я на дожидавшемся извозчике в город.

Оставшийся у меня свободный час я провел у Г. Понятно, все разговоры касались лишь одной темы — моей затеи. Я им целиком доверял и обо всем информировал. Немного скептически относились они к моему плану побега из больницы, но обещали полную поддержку. Многое зависело от того, как будет держать себя врач, у которого я должен быть утром; в этом смысле я был совершенно спокоен, так как, по полученным справкам, тюремный врач, как и полагается, был неравнодушен к деньгам. Мы условились, что после визита у врача они устроят мне свидание с фельдшерицей. Я и сейчас, спустя 23 года, с хорошим чувством вспоминаю честных и весьма отзывчивых Г., которых мне с того времени больше встречать не приходилось... Весьма гостеприимно приглашали они меня с ними поужинать, но я вынужден был отказаться от угощения.

— Сказать вам правду, я сильно проголодался, как-то не было времени закусить за весь день. Но дело в том, что я должен скоро встретиться с Пинчуком. Я не пью, что составляет некоторое неудобство, так как его нужно хорошенько напоить. А если я и есть не буду, то получится совсем трудное положение. Разрешите поэтому мне не принять вашего гостеприимства. Уж лучше я проголодаюсь, зато с успехом проделаю свое дело с Пинчуком.

Ресторан находился недалеко от квартиры Г. Ровно в 9 часов я от них ушел. Перед уходом я попросил бумагу и конверт и написал на всякий случай письмо в наш Центральный комитет. Передав им это письмо, я сказал:

— Если бы что-нибудь случилось со мной, постарайтесь поскорее надежным путем отправить это письмо в Варшаву по указанному адресу.

Обоим Г. после моих слов стало как-то грустно. Им не хотелось отпускать меня одного. Под предлогом показать мне дорогу, хотя я знал уже точно, где находится ресторан, Г. взялся меня проводить.

Ресторан находился в одной из гостиниц; вход в него был через ворота. Когда мы приближались, я заметил, что перед воротами стоят двое часовых. Меня это немного удивило, но я тут же заметил:

— Очевидно, какой-то важный генерал приехал, остановился в этой гостинице и ему поставили почетный караул.

Г., который все время молчал, как бы стесняясь, пробормотал:

— А, быть может, вы не пойдете туда... Я вас очень прошу, вернитесь!

— Что вы, что вы! Не волнуйтесь! Что общего имеют эти солдаты с моим ужином? Ведь, если про меня узнали, то можно было меня задержать сегодня в тюрьме, куда я уже заходил два раза. Зачем бы они так открыто ставили здесь солдат, разве для того, чтобы меня отпугнуть... Нет, вы напрасно волнуетесь. Идите домой. Сегодня я к вам не смогу уже зайти, будет поздно. Завтра утром сообщу вам результаты.

Мы попрощались, и я вошел в ворота. Здесь я заметил какую-то непонятную для меня сумятицу.

Несколько солдат, суетясь, сходило с лестницы к воротам, со двора к воротам и обратно. Что-то готовили или чего-то искали. Мне это не понравилось, тем более, что среди них я заметил жандармов. Случайное ли совпадение или нечто другое? Я уже решил было незаметно уйти, но в этот момент с лестницы сошел как бы расстроенный Пинчук в пальто без фуражки. Заметив меня, он улыбнулся:

— А, вы пришли, а я вас искал.

Не успел я подойти к нему и поздороваться, как человек 10—20 солдат и жандармов набросились на меня и скрутили мне руки сзади.

Я был арестован...

Солдаты шумели, кричали:

— Ваше благородие, нашли!

— Ваше высокоблагородие, позвольте доложить — он здесь!

Вокруг меня собралось человек 20—30 солдат, столько же жандармов. Стали подходить офицеры. Меня рассматривали все, как пойманного дикого зверя. Тут же явился жандармский ротмистр и велел меня обыскать. С большой осторожностью и с немалой дозой тревоги жандармы стали меня ощупывать.

— Ни револьвера, ни бомбы, ваше высокоблагородие! — доложили они.

Вдруг все приумолкли и стали во фронт: важно приближался ко мне какой-то офицер высшего ранга.

— Молодцы ребята, что поймали! А обыскали его? Вы хорошенько посмотрите сзади, на спине. Они обыкновенно там прячут револьверы, — раз'яснил он высокомерно и удалился.

Меня вторично обыскали. Портмонэ, всякие записки, бумажки, часы все тщательно было собрано в одну кучу. Все как бы с завистью посмотрели на пачку денег, найденных в бумажнике.

— 780 рублей, — вот грабитель! Нам бы такие деньги пригодились, — болтали между собой офицеры.

Жандармский ротмистр был озабочен, как бы не зная что со мной делать. Он обратился к стоящему позади Пинчуку:

— Ну, теперь он в вашем распоряжении.

Пинчук с притворным изумлением возразил:

— При чем я здесь? Пусть отведут его в тюрьму; там, понятно, я должен его принять.

Мой эскорт состоял из 70—80 человек. Никак не мог я себе уяснить, почему меня ведут в тюрьму с такими почестями.

Перед тем, как мы тронулись, ротмистр дал своим напутствие:

— Ребята, следите в оба! Пусть все будет в порядке!

Спокойно, не волнуясь, обращаюсь я к нему:

— Господин ротмистр, я вижу здесь произошло какое-то недоразумение. Это все выяснится. Очевидно, вы будете вести мое дело. Могу ли я надеяться, что вы скоро придете ко мне на допрос?

Он как бы испуганно отчеканил:

— Да, я очень скоро приду к вам!

Меня окружили жандармы, а вокруг них выстроились солдаты, и медленным шагом процессия направилась в тюрьму. Из офицерства никто меня не провожал. Сопутствовал только начальник воинского отряда, унтер-офицер из вольноопределяющихся, как впоследствии я выяснил прибалтийский барон.

Все шли молча. Только унтер хулиганил. Вполголоса, как будто для того, чтобы я не слыхал, говорил он своим:

— Вот он, собачий сын, не бежит! Жалко, а то я бы его, мерзавца, укокошил на месте!

Для меня не было никакого сомнения, что он ищет только повода застрелить меня во время «побега». Возможно, что такую инструкцию получил он свыше. У меня не было уверенности, что я живым доберусь до тюрьмы — уж слишком провоцировал меня этот черносотенец. Мне оставалось только одно: делать вид, что я ничего не слышу.

Так дошли мы до тюрьмы. Здесь поставлены были на ноги все имеющиеся налицо тюремные надзиратели. Последние окружили меня, жандармы и солдаты ушли. Остался только унтер-барон — ему как бы жалко было расстаться со мной.

Надзиратели приступили к обыску. Делали его в общем поверхностно. Но унтер ругался и командовал:

— Вы знаете, кто он! Обыскивайте добросовестно, а то я вас под суд отдам! Раздевайте его донага и каждую вещь хорошенько осматривайте!

Надзиратели, испугавшись, повиновались. Меня постепенно раздели донага, каждую часть одежды ощупывали, рассматривали, все карманы повыворачивали. Я видел, как незаметно для них выпал из кармана скомканный кусок бумажки — телеграфная квитанция. Унтер набросился на нее, важно положил на стол и сказал:

— Следует на все обращать сугубое внимание. Ведь эта бумажка может иметь важное значение!

Когда я собирался одеваться, он отошел от меня на несколько шагов и, взяв винтовку наперевес, закричал:

— Ну, почему, чорт не бежишь? Беги, беги, убью тебя, как собаку!

Отчаянное, безвыходное положение! От бешенства я чуть не потерял сознания. Я чувствовал, что вот-вот брошусь на него как дикий зверь, но тут же буду им расстрелян. В эту минуту появился Пинчук. Увидев меня нагим, он попятился назад. Я бешеным голосом стал орать:

— Вы здесь начальник, как вы смеете разрешать так издеваться над человеком! Подлецы вы все! Не думайте, что это вам пройдет зря! Все будете за это отвечать!

Пинчук хотел ответить, но не находил слов. Строго обратился он к надзирателям:

— Что вы делаете? Безобразие! Отдайте немедленно одежду!

Унтер молча удалился. Я оделся, после чего меня повели в камеру.

Пинчук постарался и предоставил в мое распоряжение камеру с зонтом. Было темно. Имевшиеся у меня спички отобрали при обыске. Я ничего не мог разглядеть. Чувствовал лишь сырость, гниль, грязь, вонь. Я не решился прилечь на грязные нары, а лечь хотелось, чтобы забыться и не думать. Но мысли, одна за другой, овладевали мной...

Мой провал, пожалуй, повредит Л. Хотел я ему помочь, а вместо этого сам попался... Сколько времени опять придется жить в тюрьме. Когда и как удастся выбраться... Проклятая неосторожность! Почему я не уничтожил телеграфной квитанции. Теперь будут тревожить сестру Л... Я вспомнил, что не все дела успел урегулировать в Варшаве перед внезапным от'ездом. Правда, я написал письмо, но смогут ли и не побоятся ли Г. переслать его. Не попадутся ли они как-нибудь из-за меня. Мысль эта очень тревожила меня, хотя я сознавал, что каждый раз заходил к ним весьма конспиративно...

Было ясно, что меня цинично предал Пинчук. Однако пихология его была для меня непонятной. Вспоминая наши разговоры, я пришел к заключению, что он весьма охотно готов был «заработать» у меня. Очевидно, он хладнокровно сделал коммерческий расчет: с меня не так уж много получит, а риск все-таки имеется; отказаться же от получки ему не хотелось, и он решил выбрать другой путь наживы — предать меня. Решение было принято им, очевидно, внезапно, уже после того, как мы условились встретиться в ресторане. Иначе он мог бы отказаться от ресторана и пригласить меня зайти еще раз в тюрьму, где наверно меня словили бы...

Подобные мысли мелькали в моей голове, пока я незаметно для себя заснул, облокотившись на стол. Сильный стук в дверь разбудил меня. Я вскочил. Передо мной с фонарем в руках стоял Пинчук в сопровождении надзирателя. Неуверенным, немного дрожащим голосом сказал он мне:

— Пожалуйте в канцелярию.

Я пошел за ним.

— Зачем тревожат меня ночью? — подумал я. — Очередное издевательство или, быть может, пытки?

Часы в канцелярии показывали 11½. Здесь сидело несколько жандармов. В кабинете начальника меня дожидались жандармский ротмистр, тот полковник, который во время ареста об'яснял, как нужно у меня искать револьвер, и какой-то капитан из генерального штаба.

Что все это значит?— подумал я. Чем об'яснить любезность жандарма, прибывшего немедленно на допрос? И при чем эти свидетели при моем допросе? Неужели он предполагает устроить своим товарищам зрелище из моего допроса? Нет, брат, этот номер тебе не пройдет.

Полковник курил папироску в большом янтарном мундштуке и разгуливал по кабинету. Капитан сидел в углу, индиферентно смотрел на меня и, казалось, скучал. Жандармский ротмистр, пригласив меня сесть, после короткого молчания довольно озабоченно спросил меня:

— Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия? В какой гостинице вы остановились? Сообщите также фамилию вашего товарища.

Такой скоропалительный допрос, сейчас же после ареста, немного меня поразил. Меня также возмущало присутствие третьих лиц, не имеющих ничего общего с моим делом.

Сдерживая себя, я ответил ему:

— Господин ротмистр, я, правда, просил вас ускорить допрос, так как у вас вошло уже в обычай допрашивать арестованных спустя несколько месяцев после ареста. Но вы явились чрезмерно быстро. Я сейчас устал и никаких разговоров вести не буду. Что касается моей фамилии, то я ее вам сегодня не сообщу. Раз'ясню только, что паспорт, который вы у меня отобрали при обыске, не мой. Я вам также не назову фамилии моего товарища. Это его дело. Вы спросите его, и он вам ее сейчас скажет. Я с ним сегодня беседовал, и он готов вам сказать, кто он такой.

Я отказался назвать свою фамилию для того, чтобы не был произведен внезапный обыск на квартире у моих родителей. Там всегда хранилось коечто из моей нелегальщины. Я поэтому решил выявить свою личность после того, как смогу предупредить, кого следует, о моем аресте.

Пожимая плечами, ротмистр продолжал меня допрашивать:

— Откуда вы знакомы с вашим товарищем?

— Два года тому назад мы сидели в одной камере X павильона варшавской крепости и там мы подружились. И я и мой товарищ, оба мы легальные люди, о чем вы сможете точно осведомиться в Варшаве.

Все сказанное мной было правдой, но требовало некоторых комментариев, которые я, понятно, ротмистру не дал. Мы действительно сидели с Л. в одной камере в X павильоне, но знакомы были и раньше и вместе работали. Правда и то, что я легально был прописан на квартире моих родителей, но фактически я жил нелегально, страхуя себя, таким образом, от внезапных визитов незванных гостей.

Мое повествование привело в ярость господина полковника. Он вскочил со стула, возмущенно прошелся по кабинету и обратился ко мне:

— Мы заставим вас сообщить свою фамилию! Все, что вы рассказываете здесь — одна ложь!

Я начал терять терпение:

— Господин ротмистр, устраиваете ли вы театральное зрелище, или пришли на допрос? Если это допрос, то требую, чтобы присутствовал прокурор, а эти господа не имеют права здесь находиться!

Испуганный жандарм делал мне какие-то знаки глазами, которых я, однако, не понял. А полковник крикнул:

— Не философствуйте здесь! Скажите лучше, куда вы дели браунинг, которым угрожали начальнику в случае, если он не освободит вашего товарища!

В один миг я понял все!

Это было не театральное зрелище, а... полевой суд надо мной. Мерзавец Пинчук не только позорно предал меня, но, предполагая, что я, как революционер, имею при себе огнестрельное оружие, поднял тревогу и заявил, что я угрожал убить его.

Двойной расчет: сделать из себя несчастную жертву и одновременно освободить государство от опасного революционера.

Я очутился таким образом в весьма опасном положении. Полковник оказался военным губернатором. Он был хозяином моей жизни и смерти.

Это был типичный солдафон с юных лет. Он никогда не знал толком, что это за люди — революционеры, но инстинктивно ненавидел их. После «кровавой среды» он убедился, что это — «боевики», «настоящие бандиты», которые направо и налево убивают «невинных» людей. Социалистов он прямо называл «боевиками». Мое положение осложнялось еще тем обстоятельством, что я сознался в пребывании в X павильоне. Губернатор знал о существовании этого таинственного учреждения. Ему было известно, что там держат офицеров изменников и шпионов, которые оттуда идут прямо на виселицу или под расстрел. И если и я там сидел, то, очевидно, также принадлежу к категории важных государственных преступников.

Слова губернатора раз'яснили мне гнуснейшую роль, которую сыграл начальник Пинчук. Я был возмущен до глубины души. Я думал не столько о своем оправдании, сколько о том, чтобы доказать этим преданным царским слугам, каким мерзавцем оказался их товарищ.

— Господа,— сказал я,— теперь я все понял! Сейчас происходит полевой суд в виду позорной клеветы начальника Пинчука. Уже по этому одному я никак не могу указать вам моей фамилии. Как я вам сообщил уже, я социал-демократ, но в настоящее время никаких «грехов» за мной не числится. Вы, очевидно, желаете к утру меня расстрелять, и сведения об этом появятся повсюду в прессе. Вы можете убить меня, но я не желаю убить моей матери. 3 дня тому назад она видела меня и не знает вовсе о том, что я уехал; и вдруг она прочтет в газетах, что я расстрелян. Вы также не получите ответа на все заданные вами вопросы. Но то, что я скажу, будет отвечать действительности. Гостиница, в которой я остановился, такая-то, там находятся мои вещи. Можете сделать обыск, но ничего там не найдете.

Ротмистр вышел в канцелярию и послал жандармов в указанную мною гостиницу. Он как бы успокоился немного. Но губернатор все еще волновался.

— Вы должны сообщить нам свою фамилию! Вы все врете! Вы невиновны, ваш товарищ тоже ни в чем не виноват, но у обоих почему-то фальшивые паспорта! Оба не хотят указывать своих фамилий, но сами заявляют, что сидели в X павильоне. Знаем, каких птенцов туда сажают и куда их оттуда направляют!.. Или вы будете отвечать на все вопросы, или мы расправимся с вами! Теперь вы в наших руках!

Провокационный тон губернатора все более меня раздражал.

— Господин губернатор, я обращаюсь к вам, как к офицеру, у которого должна быть честь. Вы офицер, многие ваши коллеги находятся сейчас на поле битвы, и не один из них попал в плен к японцам. Надеюсь, вы знаете, как следует обращаться с пленными. Мы с вами враги. Я в настоящее время ваш пленник и я требую, чтобы вы обращались со мной, как с пленником, с достоинством!..

Мои слова произвели впечатление на всю тройку. Офицер генерального штаба, казалось, верил, что я невиновен в покушении на Пинчука. По выражению его лица можно было судить, что ему неприятно принимать участие в этой трагикомедии. Все время сидел он без движения и не проронил ни одного слова.

Губернатор был немножко ошарашен и продолжал уже более спокойным тоном:

— Вы знаете, что ваши «боевики» недавно убили у нас нескольких высших государственных деятелей. Сегодня опять бьет тревогу начальник тюрьмы, заявляя, что вы пытались стрелять в него. Мы все чрезвычайно встревожены и взволнованы. Вы хорошо понимаете, что положение ваше весьма серьезное, но на наши вопросы отказываетесь отвечать... Итак, я вас в последний раз спрашиваю, как ваша фамилия. Укажите также чистосердечно всех ваших соучастников — ведь не один же вы приехали сюда освобождать товарища из тюрьмы, вдобавок при помощи убийства начальника.

— Господа, если вы верите начальнику, будто я явился сюда в канцелярию и сделал попытку убить его, то, очевидно, у меня были какие-то счеты с ним и я решил ему отомстить. Но в таком случае я шел на верную гибель, так как не мог же я и мечтать о побеге после убийства при наличии этих железных ворот, решеток, а главное, при таком большом количестве надзирателей и караульных солдат. Но ведь он заявлял вам, что я хотел за что-то отомстить ему, а что убийство имело целью освободить моего товарища. В таком случае вы должны не держать меня в тюрьме и судить полевым судом, а передать меня в дом для умалишенных. Надеюсь, вы согласитесь со мной, что только сумасшедший может решиться на такой отчаянный шаг и рассчитывать на то, что ему самому удастся бежать из тюрьмы и захватить с собой товарища. Это не выдерживает ни малейшей критики. Поэтому напрашивается другой, логический вывод: начальник позорно и возмутительно солгал вам! Все вы здесь трое являетесь государственными чиновниками, — как опозорил вас своим поведением ваш коллега! Он не только предал меня как Иуда! Рассчитывая на то, что я, как революционер, имею при себе оружие, он состряпал всю эту историю с моим мнимым покушением для того, чтобы подвести меня под расстрел! Я не знаю, насколько убедительны для вас мои выводы. Но я не сомневаюсь, что будь у меня револьвер, вы бы вовсе не стали со мной разговаривать. А разве обнаружение револьвера было бы достаточным поводом для выдвинутых против меня обвинений начальника! Вероятно и вы в молодые ваши годы имели при себе оружие. Неужели это было доказательством того, что вы предполагали кого-нибудь убить? Что было бы удивительного в том, если бы я, революционер, держал у себя револьвер? Да ведь у меня была и большая сумма денег — приходилось ездить ночью. Теперь время неспокойное — для самозащиты от грабителей я и мог иметь у себя револьвер... Да, этот человек рассуждал правильно! Он не сомневался в том, что у меня будет обнаружено оружие, и тогда клевета его никаких сомнений не вызовет. Согласитесь, человек не способен на такой поступок! Это какой-то урод! Он не человек, не зверь даже, а представитель породы пресмыкающихся!

Мне дали спокойно говорить и не приостановили даже при последних моих словах. Курьезно еще то, что все это слышал Пинчук, который, очевидно, из любопытства постоянно под всякими предлогами заходил в кабинет. Его лицо раздражало меня, и я обратился к ротмистру.

— Я протестую против того, чтобы этот суб'ект присутствовал здесь! Настаиваю, чтобы он немедленно оставил комнату!

Жандармский ротмистр и капитан генерального штаба, повидимому, окончательно были уверены в моей невиновности. Но губернатор все стоял на своем:

— Вы революционер, вы враг нашего государства и вы говорите неправду. Начальник — государственный чиновник, и он не врет!

При этих словах он взял жандарма под-руку и шопотом сказал ему:

— Нечего здесь рассуждать. Следует к утру покончить с ним.

Запуганный жандарм также шопотом возразил:

— Ваше превосходительство, нельзя. Нет доказательств. Нет доказательств!

Ротмистр, очевидно, ратовал не столько за меня, сколько за самого себя. Он, очевидно, опасался, что в случае моего расстрела его постигнет наказание со стороны партии. Он находился еще под сильным впечатлением своего «чудесного спасения» в «кровавую среду»...

«Судебное разбирательство» постоянно прерывали. В канцелярию вызывали то ротмистра, то губернатора. Господа эти действовали логично. Узнав, что какой-то головорез дерзнул проникнуть в тюремное помещение, чтобы попытаться убить начальника, они пришли к правильному заключению, что тут не могло обойтись без помощи сильного вооруженного отряда. Поэтому была мобилизована воинская часть, жандармерия, полиция. Была устроена облава по всему городу и во всех гостиницах. Здесь всех подозрительных обыскивали и арестовывали. Пока меня судили, в тюрьму все прибывали патрули с арестованными. Ротмистр один или при помощи губернатора решал, что делать с приведенными.

Само собой разумеется, среди новых клиентов тюрьмы не было ни одного «боевика», ни одного моего «помощника». Несмотря на мое трагическое положение я искренно хохотал всякий раз, когда из соседней комнаты к нам доносились отчаянные вопли арестованных.

Вот привели какого-то помещика, который приехал в город из своего имения, расположенного не вдалеке от Влоцлавска, и в уютном номере гостиницы веселился с «очаровательной» проституткой. Так ездил он в город, вероятно, в течение многих лет и никогда не думал о том, что надо брать с собой документы: его знал весь город. И вдруг такая кутерьма! Пришлось ему отчитываться: кто он, зачем приехал, что делал в гостинице и каковы его взаимотношения с «этой дамой»? А «дама» эта, будучи в дружественных отношениях с администрацией гостиницы и полицией, с испугу не могла вспомнить, чем она занимается.

Вспоминаю второй курьезный случай. Старый еврей, торговец лошадьми, с незапамятных времен заезжал в город из соседней деревни и останавливался всегда на одном и том же постоялом дворе. Задержали и его. Была как раз пятница. Несчастный еврей отчаянно кричал, что его зря задержали, и он не может к субботе вернуться домой к семье...

Между тем, ротмистр сообщил мне, что жандармы вернулись из моей гостиницы и ничего предосудительного в моих вещах не нашли.

Поблагодарив его за сообщение, я прибавил:

— Я поступил весьма непредусмотрительно, указав вам мою гостиницу. Ведь Пинчук мог воздействовать на этих людей и уговорить их, чтобы они подбросили револьвер.

Ротмистр с гордостью ответил:

— Помилуйте, это мои люди! Они безукоризненно честны! Я за них целиком отвечаю!

Но губернатора не убедил и результат обыска:

— Это ничего не значит. Очевидно вы куда-то забросили револьвер. Начальник заявляет, что вы хотели в него стрелять, значит, так оно и было.

— Я вижу, — обращаюсь я к губернатору, — что вы все-таки решили к утру расстрелять меня. Что же, если мои доводы вас не убедили, ничего не поделаешь. Знайте, однако, что это будет с вашей стороны непоправимой ошибкой! Пусть ошибка эта будет, по крайней мере, для вас наукой. Варшавским жандармам деятельность моя хорошо известна. Они знают, что я принадлежу к социал-демократической партии, которая не действует бомбами и револьверами... В ваших руках сейчас жизнь десятков тысяч жителей здешнего района. Нельзя вам расстреливать людей без малейшего повода! Это было бы обыкновенным убийством безоружного.

Губернатор с поникшей головой спокойно слушал меня, очевидно, забыв, что с ним говорит арестованный и подсудимый. А я продолжал:

— Вспоминаю характерный случай. Недавно в Варшаве военный суд приговорил одного человека к смертной казни через повешение. Военные суды также тенденциозны, но это все-таки не полевые суды. Подсудимому вручают обвинительный акт, и он как-никак может иметь на суде защиту. Генерал-губернатор утвердил приговор. Несчастного узника вели уже на виселицу, как вдруг в самый последний момент, в ответ на поданное ходатайство защиты, пришла телеграмма из Петербурга, предписывающая приостановление исполнения приговора и вторичное судебное разбирательство. Приговоренный в течение нескольких месяцев жил под угрозой виселицы. Однако второй суд установил полную его невиновность и освободил от всякого наказания.

— Да, я припоминаю этот случай. Это действительно так и было.

Спохватившись, однако, что он говорит со мной, губернатор сурово прибавил:

— Впрочем неизвестно, который суд ошибся — первый или второй...

«Суд» продолжался до 3½ ч. ночи. Меня повели обратно в камеру. Я бросился на нары; усталый, я немедленно заснул крепким сном, не думая вовсе о том, что со мной может случиться через несколько часов.

Было уже позднее утро, когда я проснулся. Меня не тревожили. Я догадался, что полевой суд вынес мне оправдательный приговор.

На следующий день я принялся за обыденную тюремную работу, как будто ночь провел вполне нормально.

Первым делом я ухитрился, несмотря на усиленное наблюдение за мной, послать письмо в Варшаву с детальным описанием всего происшедшего. Я вошел в сделку с охраняющим меня надзирателем. Показав ему квитанцию на имеющиеся в канцелярии деньги, я занял у него несколько рублей, благодаря чему мог расплатиться за посланное письмо и купить кое-какую пищу. У того же надзирателя я пытался выяснить, где сидят политические, за какие дела и т. п.

Ночную проверку проводил лично Пинчук. Дверь открылась, надзиратель фонарем осветил меня. Пинчук взглянул и, ни слова не сказав, удалился.

Вначале я решил, было, бойкотировать его и вовсе к нему не обращаться. Однако я быстро пришел к заключению, что этим накажу лишь самого себя, так как добиться своих прав в тюрьме можно только путем пред'явления требований.

На следующий день, при проверке, я задержал начальника:

— Пожалуйста, не уходите. Раз'ясните мне, почему меня не выводят на прогулку?

— Видите, у нас мало надзирателей, поэтому мы вынуждены отказывать в прогулке. Но если вы желаете, я сделаю распоряжение, и вас будут ежедневно выводить на прогулку.

— Предупреждаю вас, что я без воздуха обойтись не могу, тем более, что вы меня посадили под зонт. Я настаиваю поэтому, чтобы меня на прогулке оставляли не менее получаса. Далее, с ваших слов я мог понять, что вы и товарища моего лишаете прогулок. Необходимо и ему предоставить получасовую прогулку.

Я говорил решительным, чуть ли не приказывающим тоном. Я был уверен, что начальник не согласится удовлетворить мои требования и в лучшем случае об'яснит свой отказ формальными соображениями. Однако, против ожидания, он любезно удовлетворил как первое, так и второе требование. Я поэтому продолжал в том же духе:

— Я здесь голодаю, и у меня отобраны деньги. Прошу прислать мне сегодня же немного денег так, чтобы я был в состоянии утром послать за провизией. Распорядитесь также, чтобы надзиратели делали закупки, так как у меня в городе нет никаких знакомых. Далее, мне необходимо также купить лампу или свечей, ибо немыслимо сидеть 16—17 часов впотьмах. Я рассчитываю также на то, что вы вернете мне задержанные часы: я не могу оставаться без часов.

Пинчук без всяких дискуссий обещал удовлетворить все мои просьбы и ушел.

Я не сомневался, что он ничего не выполнит и лишь издевается надо мной. Однако минут через 20—30 двери открылись, и вошел Пинчук.

— Вот вам 25 рублей, думаю, что этого вам пока хватит. Канцелярия сейчас закрыта, так что вы уж завтра распишетесь в получении денег. Из этой суммы вы можете завтра купить лампу, а пока, чтобы вы не сидели впотьмах, я вам оставлю мою.

Утром меня действительно вывели на прогулку. Тактика Пинчука была для меня непонятна: хотел ли он «приличным» поведением «смыть свои грехи передо мной», или это подготовка к новой провокации. Я не сомневался, что второе ему не удастся. Во всяком случае следовало, воспользовавшись положением, добиваться новых «привилегий». Поэтому, когда он вечером опять появился на проверку, я выступил с новым требованием:

— Мне нужно написать письмо домой с просьбой прислать мне книги и постель. Если вы хотите послать мое письмо на просмотр, я отказываюсь вообще писать, так как получится слишком длинная канитель. Кроме того, нет ли здесь тюремной библиотеки, чтобы можно было взять что-нибудь для чтения?

— Заходите завтра утром в канцелярию, — там все обсудим.

Утром в канцелярии он старался быть очень предупредительным. Он разрешил даже написать записку к Л. Без цензуры мое послание было отправлено через надзирателя, и я тут же получил ответ. Я написал письмо родным, которое сейчас же было опущено в ящик. На третий день получился ответ. Этот быстрый ответ показал, что ни то, ни другое письмо не были проверены. На это указывало также содержание ответа. Из него я установил, что письмо, оставленное мною у Г., также благополучно дошло.

После нескольких дней появился знакомый жандармский ротмистр. Он был очень корректен и мил. Ротмистр заявил мне, что начинает новое следствие в нормальном порядке. Ему хотелось помимо официального разговора поболтать со мной «по-дружески»:

— В ту роковую для вас ночь после того, как вы ушли, мы еще сидели до 5 часов утра. Полевой суд вас оправдал. Скажу вам откровенно, за это вы должны быть благодарны только мне. Ведь губернатор был неумолим и решительно настаивал на том, чтобы вас приговорить к расстрелу. Но я человек справедливый и не мог с ним согласиться. Ведь фактически никаких доказательств не было. Однако все ваше счастие в том, что у вас не ока-

залось револьвера. Будь револьвер,—никакого спасения не было бы... Время сейчас горячее. Ваши усиленно наступают. Государство должно показать свою власть. Но не следует слишком перегибать палку... Ведь все, что сейчас происходит, это не бунт маленькой кучки, а настоящая революция по всей стране. Что-нибудь да значит это... Раньше я иначе смотрел на вещи. Но революция кое-чему и меня научила. Я сейчас понимаю, что правительство должно пойти на реформы. Пожалуй, кадеты правы.

Быть может, он хотел щегольнуть передо мной, полагая, что этим путем застрахует себя от будущих покушений. Однако, как это ни странно он, повидимому, не только страха ради искал какого-то «мирного» выхода из создавшейся революционной обстановки. Характерен, между прочим следующий факт, который весьма редко имеет место среди жандармов.

Во время допроса ротмистр вытащил телеграфную уже выглаженную квитанцию и спросил, куда я отправил телеграмму. Мой ответ, пожалуй, мог показаться ему несколько оригинальным:

— Если вы хотите мне доказать, что революция и на вас подействовала, что вы, несмотря на ваш синий мундир[1], можете быть приличным человеком, то уничтожьте эту квитанцию и не ведите по ней следствия. Я вас уверяю, что адресат — женщина, и ни к какой революционной деятельности не причастна. Если вы дадите делу ход, то один тот факт, что она получила телеграмму от меня, может послужить достаточным основанием для того, чтобы ее арестовали «на всякий случай». Вот почему я прошу вас, уничтожьте эту квитанцию.

Жандарм был изумлен моим предложением:

— Да это абсолютно невозможно! Квитанция эта внесена в протокол. Вот вам копия вашей телеграммы. Я ее получил официально из почтамта.

Впоследствии, однако, я узнал, что он не сделал, как это полагается, запрос в варшавскую жандармерию, учитывая, очевидно, мои опасения. Он оставил дело до своей личной поездки в Варшаву и тогда вызвал на допрос сестру Л. После весьма непродолжительного формального допроса он ее тут же отпустил без всяких последствий...

У меня периодически с самого начала два раза в месяц происходили свидания с родными. Первый раз приехала сестра с мужем. Они передали мне, что жандармский ротмистр без затруднений разрешил свидание. Он рассказал им, как я держал себя на суде.

— Знаете,— говорил он,— я уже 18 лет имею дело с политическими и и в первый раз встречаю такого оригинала, как ваш брат. Его хладнокровие на суде и произнесенная им речь на всех нас произвела большое впечатление; я ее, пожалуй, никогда не забуду.

От них я также узнал, что славный Г. сейчас же после моего ареста поехал в Варшаву, познакомился с моей родней и наладил с ней связь. После этого родные мои, «как старые и хорошие знакомые», обратились к Г. с просьбой, чтобы он передавал мне еду. За все время моего пребывания в тюрьме Г. был моим «поставщиком». У меня образовалось что-то в роде распределительного пункта МСПО, который снабжал с'естными припасами Л. и других политических заключенных...

Мои взаимоотношения с Пинчуком улучшались не по дням, а по часам. Если бы кто-либо слышал наши разговоры, мог бы притти к заключению, что беседуют между собой старые друзья. Я не интересовался уже настоящей причиной, вызвавшей у него эту своеобразную тактику по отношению ко мне. Я не сомневался, что замыслы у него скверные. Имея достаточно сво-

[1] Синий мундир—форма жандармских офицеров.

одного времени в тюрьме, я поставил себе задачу узнать и разоблачить Пинчука, как следует.

Он сам помог мне в этом. Я, например, получил право в любой момент входить в канцелярию и оставаться в ней, сколько пожелаю. То письмо нужно написать, а в канцелярии удобнее, то из-за зонта днем темно читать в камере.

Благодаря привилегированному положению мне удалось установить связь с Л., и через день мы регулярно переписывались и менялись книгами. Особенно секретную переписку мы вели в книжках[1]. Но Пинчук ни разу не соглашался дать нам свидание, об'ясняя, что его могут за это притянуть. Один раз только он предоставил нам возможность пойти вместе в баню.

С другой стороны, я детально познакомился с внутренней жизнью тюрьмы и установил опасную роль, которую незаметно для всех играл Пинчук. Следует ему отдать справедливость — он был энергичнее жандармского ротмистра, прокурора и губернатора. Фактически он руководил делом ликвидации «крамолы» во всем районе. Среди арестованных, которые обвинялись в политических убийствах или ограблении почты, он выработал себе провокаторов. Их он переодевал в солдатские мундиры, гримировал и во главе патрулей посылал по городу. В результате масса народу была арестована, и многие пошли на виселицу[2]. В тюрьме было сорганизовано тайком настоящее отделение охранки. Привозили всю почту из подозрительных районов. Пинчук хорошо знал польский язык.

Он пересматривал письма, после чего нередко давал распоряжения об аресте. Благодаря своей хитрости и ловкости он умел снискать доверие как среди арестованных, так и среди людей на свободе. Эти наивные тяжело за это расплачивались.

Установив все эти проделки Пинчука, я послал разоблачающую корреспонденцию в наш партийный орган «Красное знамя». Тут досталось и прокурору Попову, и жандармскому ротмистру Еманову, и губернатору Рыжову. Я просил соответствующий номер разослать всем указанным героям.

Вскоре в № 124 «Красного знамени» от 14 декабря (1906 г.) корреспонденция появилась. Почтамт точно переслал газету по всем указанным адресам. Они мне об этом не говорили, но я сразу понял. Как раз когда я, радостный, вернулся со встречи с Л. в бане, все вещи в моей камере были перевернуты сверху донизу. Л. конспиративно сообщил мне, что у него произошло то же самое. Я тогда догадался, что наше «Красное знамя» доставлено в порядке.

С тех пор по отношению ко мне опять был взят другой курс. Все привилегии были отняты. В канцелярию я не мог больше появляться, с Л. нельзя было больше переписываться. Задерживались также мои письма, которые я посылал на свободу. Узнав об этом, я поднял скандал. Прокурор раз'яснил, что он задерживает их, так как я издеваюсь в них над всем влоцлавским начальством. На мое требование вернуть мне «мою собственность» он с негодованием разорвал письма пополам и только половинку из каждого вернул мне. Еще и сейчас хранятся у меня два таких письма. Сохранился также мой тюремный билет на имя Леона Бореля, содержавшегося «безусловно»...

Наконец, в апреле (1907 г.) меня и Л. отправили в Варшаву. Последний раз я видел Пинчука. Характерно, что в эпоху нашего мирного сожительства ни я, ни он ни разу не коснулись темы о полевом суде...

---

[1] Способ, употребляемый в тюрьме. На соответствующие буквы ставят точки. Для того чтобы это было незаметно для незванного цензора, на одной печатной странице записывают одно-два слова.

[2] Самым злостным провокатором оказался некий Михальский из ППС.

Как полагается, мы поехали этапным порядком в арестантском вагоне; из политических нас было только двое. Когда мы приехали в Варшаву, я с изумлением заметил, что на вокзале дожидается меня отец. Арестантский вагон с решетчатыми окнами, с сильной охраной произвел на отца удручающее впечатление. Караульный надзиратель, понятно, наотрез отказал в свидании — он разрешил лишь передать еду. Тут мой отец устроил маленькую демонстрацию. Он заказал в буфете два обеда. Пока готовили обед, он на перроне рассказывал всем встречным, что там в арестантском вагоне сидят политические. Собралась кучка чиновников и других обывателей. Сочувственно смотрели они на таинственный вагон. В это время с большим подносом официант через весь перрон направился к нашему вагону. Возмущены были все собравшиеся, когда официант на обратном пути показал им, что ножи и вилки, а также салфетки не были нам переданы.

Окружным путем отправили наш вагон на другой вокзал, где вблизи находилась этапная тюрьма. Отец опередил нас и дожидался уже на вокзале. Когда наша партия тронулась, он старался итти близко от меня. Я заметил слезы на его глазах.

— Разве вы разбойники,— говорил он мне в полголоса,— что вам надели ручные кандалы... Ты не волнуйся, я приму меры, чтобы вас поскорее перевели из этапной тюрьмы. Мне говорили, что там плохие условия.

Волновался не я, а батька. Я знал, что встречи в тюрьме будут расстраивать моих родителей и поэтому всегда запрещал им приходить ко мне на свидания. Но вокзал — не тюрьма, и отец явился сюда без моего разрешения.

Мы уже улеглись было спать, как нас потребовали в канцелярию. Там дожидался нас чиновник из арестного дома. Увидев нас, он обратился к Л., назвав его настоящей фамилией.

— Что, господин Л., неужели и сейчас вы пожелаете бежать?

Я шепнул Л., чтобы он ни в какие разговоры не вдавался. Но он тут же ответил:

— Что же, если будет возможность, я попытаюсь.

— Уверяю вас, что ваши надежды напрасны. Вот видите, какой подарок мы для вас заготовили. Этот браслет мы только что получили, и вы первый будете им пользоваться.

При этих словах он показал двойные браслеты-наручники и наложил их на руки Л. Такой браслет я видел впервые. Штука действительно очень томительная, почти лишает обе руки всяких движений.

Проделав эту процедуру, ехидный чиновник обратился ко мне:

— И про вас мы не забыли. Чтобы вам не было скучно, мы вас соединим с другим.

Тут он вытащил железный стержень, примерно, в четверть метра, на обоих концах которого были сделаны отверстия — браслеты. В одно из отверстий была заперта моя левая рука, а в другое — правая какого-то неизвестного нам человека. По виду он безусловно не был политическим. Но судя по обращению с ним, он был такой же «важный» преступник, как и мы, очевидно какой-то разбойник или грабитель.

Нас повели за ворота. Здесь дожидалась тюремная карета, и под необычайно усиленным конным конвоем повезли нас в арестный дом. В пути мы лишь шопотом обменивались с Л. словами, так как опасались, что мой новый компаньон, быть может, шпик. Он несколько раз тревожил меня, примерно, следующим заявлением:

— Товарищ политический, я очень извиняюсь, будьте добры поднимите руку, так как я хочу высморкаться...

Приехали мы в арестный дом около часу ночи.

В этой оживленной гостинице и в позднее время жизнь кипела. Сразу мне бросился в глаза мой старый знакомый, толстяк Курякин. Я старался ему не показываться на глаза (опасаясь, что он может вспомнить меня, когда я имел у него в кабинете, в весьма своеобразной обстановке, свидание с Розой Люксембург.

Курякин, однако, более интересовался Л.

— Здравствуйте, господин Л., очень рад вас видеть! Не собираетесь ли вы от нас удрать? Один раз вам удалось меня подвести, больше этого не будет. Берите его, ребята, за шкап и раздевайте.

Комната была разделена на две части шкапом. Я заволновался было, полагая, что они решили над Л. поиздеваться. Мне не дали дождаться конца обыска Л. и тут же направили в камеру. Перед уходом я слышал как Курякин говорил по телефону:

— Что, охранное? Да, их привезли... Понятно, я уже распорядился... Надеюсь справлюсь... Все будет сделано, как следует.

«Какая досада, подумал я, поднимаясь по лестнице. Так внезапно разделили нас. Неизвестно, когда мы встретимся. Даже попрощаться не успели. А главное, что они, черти, с ним сделают?»

Меня заперли в камере. К великому моему удовольствию я установил, что пол камеры был тщательно вымыт, на нарах лежали свежие сенники,— а это необыкновенное явление в арестном доме. Тут же я заметил большой узел. Я очень обрадовался, узнав домашние подушки и одеяла. Внутри узла нашлись очень вкусные бутерброды и даже записочка. Всего было по две порции. Я был огорчен, что не смогу поделиться с Л.

Но не прошло и пяти минут, как дверь опять открылась, и в мою камеру ввели Л. Он рассказал мне, что внизу все прошло благополучно, был произведен лишь тщательный обыск.

Я был вдвойне рад: во-первых, мы очутились вместе и, во-вторых, инцидент с Курякиным прошел весьма благополучно. Мы тут вспомнили, как недавно Л. был освобожден из временного отделения арестного дома благодаря подложной подписи Курякина.

Впоследствии я узнал, что когда был обнаружен побег Л., охранка повела официальное следствие против Курякина, и он одно время даже был отстранен от своей должности. Его подпись на ордере была так хорошо подделана, что когда ему внезапно показали ее в охранке и спросили, кто это подписал, он не задумываясь тут же ответил: «Понятно, моя подпись».

Курякин сыграл немалую роль в период революции 1905/06 г. Через его арестный дом проходили сотни людей в неделю. Условия пребывания там были необычайно тяжелые. Но еще хуже было тем, которых оттуда переводили в форты варшавской цитадели. Все зависело от Курякина. Одним необходимо было свидание; другие желали, чтобы их не посылали в форты, а оставляли в арестном доме. Курякин охотно удовлетворял все требования, но за все ему приходилось платить; при чем с течением времени была установлена даже такса, сколько платить за какие услуги. Курякин был «честным коммерсантом»: деньги он брал вперед, но если почему-то ему не удавалось провести данного дела, он деньги возвращал. И при нашем приеме, несмотря на все его строгости, он не отказался, очевидно, от получки отца.

В отместку или из чрезмерного опасения Курякин поставил перед нашей дверью особый караул. В коридоре против нас находился умывальник, где жильцы этого этажа умывались. Появление перед камерой специального часового заинтерсовало всех. Все инстинктивно сочувствовали содержащимся в этой таинственной камере, предполагая, что это «важные» преступники. В первый день утром мы слышали разговор перед умы-

«Кто это там сидит? Наверное приличные люди, раз их так берегут.. Не зная вас, товарищи, мы шлем вам наш пламенный привет!»

Часовой волновался и пытался запретить моющимся говорить вслух Но публика на это обращала мало внимания. Особенно не подчинялась какая-то молодая бундовка, которая специально старалась выразить нам свое глубокое сочувствие. Она чуть ли не каждый час выходила со своими товарками умываться. Тут же раздавались ее восторженные речи:

«Товарищи, вы не унывайте! Мы все душой с вами! Я горжусь тем, что революционеров так строго охраняют, — они, значит, настоящие революционеры! Я уверена, что революция победит, и мы отомстим за те муки, которые вы переживаете... Товарищ часовой, вы счастливый человек, что можете видеть и говорить с большими революционерами! Я вам завидую в этом. Дайте хоть минутку посмотреть на них!»

Агитация эта не особенно трогала часовых. Они обыкновенно сердито отвечали:

— Вот назойливая девчонка! Молчите, чорт побери, и уходите! А то вызову сейчас начальника, и вас посадят в карцер!..

По голосу мы узнавали и близких товарищей. Но как обрадовались мы и вместе с тем огорчились, когда вдруг издали услыхали приближавшийся к нам голос Дзержинского. Перед самым нашим от'ездом из Влоцлавска я узнал о его провале, но мне неизвестно было, куда он помещен. Вдруг он так близко от нас, но вместе с тем так далеко, а главное, далеко от живой работы. Мы тут же крикнули ему, что мы благополучно сидим здесь. С большим трудом мы все-таки обменялись несколькими фразами. На следующий день его увезли в неизвестном направлении.

Дня через два увезли Л. в X павильон, а еще через день меня — в следственную тюрьму, где я сидел в одном коридоре с Дзержинским.

Через несколько месяцев я узнал, что Пинчук был убит ночью на улице...

———

За японским морем

(Из книжки записей)

Д. Аркин

Владивосток—Цуруга—В японской деревне

Во Владивостоке восток — только в названии города. На самом деле такие же улицы, люди, дома. Севастополь или Новороссийск. Приморский бульвар. Контора Совторгфлота с путанными расписаниями и мечтательными конторщиками. Провинциальные барышни, оставленные Чеховым на долгие времена для всех губернских и окружных городов советской страны. Гостиница «Версаль» с заспанным швейцаром. Только на почте проникаешься ницшевским: «Pathos der Distanz»: от Москвы 10 тысяч километров, и это сумасшедшее расстояние измеряется временем — здесь 10 часов утра, когда в Москве 2 часа ночи.

Пристань. Первый иероглиф — на пристанских амбарах: японское пароходство. Один небольшой пароходик раз в неделю совершает рейсы в Японию. До Цуруги — 40 часов плавания по самому глубокому из наших морей. Пароходик японский, и уже здесь, на советском берегу, приходится платить иенами. Все остальное — как на всех границах и как на любом пароходе.

Второе утро на «Каги-Мару», — и в яркой голубизне вдруг выступили навстречу японские берега: резко вычерченные, зеленые и омываемые зеленой водой. Мы приблизились к Цуруге, перед нами было все то же море, стесненное узкой бухтой, в которую мы вступили, как в зеленую скалистую пасть неведомого и прекрасного зверя.

Еще далеко от берега, с парохода, мы различили: зелень береговых холмов, портовые невысокие здания, неопределенную массу мелких построек и... красный флаг на высоком шесте у самой гавани. Один из попутчиков-японцев на мой вопрос любезно мне раз'яснил: в Цуруге есть морская метеорологическая станция, и красный флаг — сигнал предстоящей непогоды. Через четверть часа, когда пароход подошел к берегу, выяснилась ошибка предупредительного спутника: у самого моря стоит небольшой дом советского консульства, и над ним, на высокой мачте, развевается красный советский флаг. К тому же над Цуругой было безоблачное светло-синее небо, и погода не собиралась портиться...

Первые полчаса в каждой новой стране одинаково заполнены международным обычаем паспортной проверки и таможенного осмотра. Государство высылает навстречу гостю-чужеземцу в качестве своих первых лега-

тов — таможенных чиновников и полицейских, и с ними первыми обречен знакомиться путник, попадая в страну многомиллионного народа и многовековой культуры. Катер береговой охраны подходит к «Каги-Мару». На палубе шеренгой выстраиваются пассажиры. Беглый медицинский осмотр. Затем в меру внимательный полицейский приглашает по одиночке пассажиров и задает на условно-английском наречии вопросы: кто, куда, зачем... Но ведь точно такие же вопросы задавали мне в берлинском полицей-президиуме, на бельгийской границе, в парижской префектуре, в несчетных канцеляриях лимитрофных консульств... Неужели Япония не вносит ничего «самобытного» в этот стандарт европейских кордонов?..

Выполнены графы — профессии, родителей, целей и намерений, продолжительности путешествия, особых примет. Последний вопрос:

— Есть ли у вас друзья в Японии?..

— Нет, я впервые в вашей стране.

— Я уверен... Вы будете иметь... многих друзей... у нас, в Японии, — растягивает по-английски заключительную любезность чиновник, возвращая мне паспорт. И поспешно прибавляет, торопясь сообщить мне самое важное:

— Сейчас в Японии самое лучшее время... Бест таймс... Я очень рад — вы увидите, как цветет вишня... Черри флоуерс...

Это цветенье вишни успело наскучить мне в течение полутора суток плаванья от Владивостока: с фатальной настойчивостью, заставлявшей подозревать сговор, только о нем и говорили мне случайные попутчики-японцы, улыбаясь медлительной улыбкой при сладком слове саккура. Обложки путеводителей и пароходных проспектов розовели ветвями нежных цветов; иллюстрированные журналы цвели лепестковыми узорами. Время цветения вишни! Середина апреля. Парадный месяц интернационального туризма в страну восходящего солнца...

Туристская Япония! Не надо выезжать из Москвы, Пензы или Берлина, чтобы в точности изучить каталог ее красоты. Вот он в удешевленном издании: 1) восходящее солнце — символ, 2) Фудзи-яма — вулкан, 3) гейша—героиня оперетки Джонсона, 4) хризантема (с прибавлением «мадам»— в романе Лоти, без прибавленья — на почтовых марках, веерах, запонках лакированных коробках), 5) самураи — рыцари, 6) харакири — их любимое занятие. Более полное издание каталога включает еще: 7) цветы вишни 8) землетрясение, 9) Утамаро. Итак, целых девять главнейших особых примет далекой восточной страны. Я зазубрил этот перечень с «обратной» целью: отправляясь в Японию, забыть о всякой «Чио-Чио-сан», об оперетке, о ходячих символах европейской Японии. Я скоро убедился, что это не так легко. Японцы сами заботятся о том, чтобы иностранец был снабжен в их стране именно тем, о чем ему рассказывали на Западе: спрос на Фудзи, восходящее солнце, хризантемы с избытком покрывается всевозможнейшей «продукцией для иностранцев». Так укрепляется во всем мире реномэ романтической Японии. Хоть на проверку оказывается, что «восходящее солнце» — всего лишь красный кружок на белом поле, Фудзи — давно уже не вулкан, хризантема звучит по-японски «кику» (бедный Лоти!), гейша означает совсем не то, что думал Джонсон, самураи вывелись еще 60 лет назад и ныне служат в банковских клерках, и только землетрясение действительно остается в силе из всего индекса японских чудес.

Но я хочу видеть не эту Японию. Подобно многим, впервые ступающим на землю этой страны, я решаю, мне не надо хризантем в Японии и я постараюсь обойтись без гейш.

Цуруга помогает этому решенью. «Япония как она есть»: невольная формула при первом взгляде на эти бедные деревянные строения, на ры-

бачьи лодки, стаей покрывающие залив. Вот с парохода, причалившего к пристани, спущены мостки, и я ступаю на японский берег. Человек в очень длинном пальто и очень высоком котелке, маленький и немолодой, подходит вплотную ко мне и моему чемодану и приветливо говорит:

— Я — полисия...

И начинается знакомое: кто, откуда, зачем...

Цуруга — японское «окно в Россию». А портовый шпик — обязательная принадлежность всякого государственного окна, особенно, если через него может подуть советским сквозняком... И Цуруга честно выполняет свою роль морского визави Владивостока.

Порт, уездный городок, деревня: из этих трех частей состоит первый на моем пути японский географический пункт. И Цуруга сразу «вводит в курс» многих дальнейших впечатлений. Здесь, в этом маленьком городке, Япония еще не притворяется Америкой, но уже отказывается от Азии. И только значительно позднее понял я, как типичен для нынешней Японии этот кусок ее провинциального бытия.

Около самой пристани — портовые деревянные и бетонные склады, двухэтажные здания контор и административных учреждений. Но это — только около пристани. Сотня шагов — начинается «чисто-японский» городской ансамбль. Незабываемы эти первые часы на японской улице; их впечатляющая сила в том, что удивительные образы людей, вещей и домов, законченно-несхожие с нашими, европейскими образчиками, лишены малейшей печати «экзотики»; что декоративная причудливость японского обихода целиком построена на борьбе с бедностью, на «обыгривании» скупой природы при помощи осторожных и рассчитанных ставок человеческой выдумки; бедность средств превращается в закон декоративной формы; скудость быта — в предлог для широкого культивирования в нем канонов японской «бытовой эстетики»...

Светлые коридоры улиц между рядами деревянных домиков; люди, ступающие не нашим шагом на деревянных подставках; женские высокие прически, отливающие черным лаком и как будто состоящие из сплошной твердой массы; вывески-флаги, окаймляющие с обеих сторон узкую уличку яркими пятнами, испещренными иероглифическим узором; темные широкие одеяния мужчин и красочные женщины; горки плохо понятных предметов в лавках; и эти дома, говорящие об ином мире, ином быте, быть может, еще выразительнее, чем одежды людей.

Граница между жильем и внешним миром не отмечена здесь так отчетливо и резко, как в европейском жилище. Японец живет в раздвижном ящике без окон и дверей: лишь намек на «крыльцо»; некое соединение наших понятий «стены» и «окна» — в подвижных рамах «сёдзи»; бумага — вместо оконного стекла; плетение из светло-лимонной соломы — вместо досок нашего пола. И из всех основных элементов нашего дома один лишь потолок сохраняет, примерно, то же значение домашнего неба, что и у нас; но снаружи у этого неба загнуты углы; лепестки черепицы или деревянных пластинок сползают по ребрам крыши, чтобы увенчать ее угол изогнутым кверху концом. Всплеск волны, застывшей над человеческим домом: так выглядит эта китайско-японская крыша, стилизованное отрицание архитектурной неподвижности.

Но я пока еще не знаю японского дома. Я гляжу снаружи на эти коробки, то открывшие улице интерьер своей пустоты, то наглухо захлопнувшие свои створки. Зато сама улица открыта моему восприятию.

Запах японской улицы... Едва уловимый сперва, затем легчайшей тошнотой подступающий к горлу, и через несколько дней (или месяцев, или лет, — зависит от приспособляемости) привычный и даже уютный. Это за-

пах бобового масла, и рыбы, и моря, и дымящихся угольев в грелках-каминах, запах очень старый и очень японский. Почему наш язык снабжен таким богатым набором готовых штемпелей для обозначения красок и звуков, а для запахов приспособлены лишь две-три неразборчивых печатки, путающих к тому же бесчисленные запахи земли и человека с парфюмерией цветов?.. И я не могу рассказать, как пахнет японская улица. Знаю только, что через всю эту обонятельную многоголосицу первым врывается низкий и придушенных голос японского очага: запах бобового масла, на котором готовится здешняя пища.

Чужой мир медленно вползает в меня... Консул Киселев, великан-сибиряк, с внушительнейшей светлой бородой (я вспомнил картинку из энциклопедии: «типы рас и народов», советует поехать в соседнюю деревню на рикше Короткая полемика: нам, людям советской страны, претит езда на человеке. Консул Киселев возражает: ведь сами рикши недоумевают всегда по поводу того «бойкота», которому подвергают их хорошие люди из рабочей России, чем заслужили они, скромнейшие из пролетариев японской земли, такую обиду? И я сажусь на легкую двухколую повозку, все же смущенный и неловкий. Синий короткий халатик, ноги в резиновых чулках с оттопыренным большим пальцем, широчайшая шляпа-зонт: лишь на миг я вижу его лицо, оскал зубов, — и в такт подрагиванию коляски вздрагивает в беге спина моего возницы. Тренированной поступью, сноровкой испытанного коня движется невысокий худощавый человек, крепко охвативший руками лакированные оглобли... Дыханье размерено, ноги перебирают дорогу в проверенном, точном ритме. А вот статистика — узнаю я позже — говорит, что редкий рикша доживает до сорока лет.

Быстро пересекаем мы город. Улицы все однотипны, и трудно отличить одну от другой. На минуту задерживаемся около буддийского храма, очень одинокого и как будто покинутого. Передышка рикш. По отрывистому возгласу переднего из кавалькады все быстро тормозят разлетевшиеся двуколки и опускают оглобли на землю. Мы в самом центре городка, и кругом уже не видно ни одной «европейской» линии, ни одной латинской буквы на вывесках, ни одного пиджака и ни одного неяпонского лица. Здесь, в этом приморском портовом городе — промежуточной станции на пути в Европу — вид европейца на улице еще привлекает к себе сдержанное внимание и вежливое любопытство. Об этом говорят взгляды прохожих, особенно женщин с корректным любопытством направленные на нас; и вовсе уже нескрываемое любопытство детей, бросивших свою возню для того, чтобы внимательно изучать нелепые фигуры чужеземцев, из которых некоторые имеют к тому же необыкновенные, светлые волосы!

Отдых наших возниц непродолжителен. Снова возглас старшего, — и мы снова несемся по узким уличкам. Город остается позади, вдоль самого берега вьется отлично утрамбованная дорога. Ярко-желтый песок и щебень и ярко-зеленые заросли на фоне узкой бухты — три составных части развертывающегося пейзажа. В нем еще нет ничего японского, пока целая роща бамбуков не оказывается на нашем пути. Мы в'езжаем в деревню, раскинувшуюся так же, как и Цуруга, по берегу зеленоватого залива.

Для обозначения самых обыденных японских понятий и вещей русские слова пригодны лишь условно. Ассоциации и признаки, взятые из обихода московской улицы или комнаты, здесь вступают в коллизию с чуждыми формами аналогичных как будто предметов и с иными способами их применения в быту. Дом. Стол. Кровать. Эти наши термины надо несколько раз примерить, прежде чем надеть на соответствующие японские предметы: шка[illegible], поднос на ножках, тюфяк, раскладывающийся на полу...

Но особенно трудно применять нашу словесную картотеку в японской деревне. О, rus! О, Русь!—монтировал Пушкин случайное созвучие: слово «деревня», даже произнесенное на горациевой латыни, казалось синонимом русского. И как трудно после русской деревни примириться с японским сельским пейзажем! Деревня без пашни, без леса, без равнины, без грязи. Ни косогора, ни зеленого луга: вместо зелени — повсюду вода рисовых заливных посевов, между которыми надо двигаться по своеобразным межам, — узеньким полоскам суши, разграничивающим водяные квадраты, как точнейшую шахматную доску. Не поля — слишком много простора в этом слове, — простора, которого здесь нет и в помине, — а небольшие квадратные бассейны, где почти по колено в воде японский крестьянин трудится над грядками тщательнейшей, почти огородной, культуры посева. Аккуратные домики, снабженные палисадниками. Несколько фруктовых деревьев, обнесенных бамбуковой изгородью, около каждого дома. Никакой живности — ни лошади, ни курицы во всей деревне. И странные конусообразные возвышения из соломы повсюду: обязательная принадлежность японского земледелия и японской бедности — они прикрывают ямы, где хранится удобрение, выработанное самим человеком.

Сельская бедность. У нас ее доминирующий признак — грязь, здесь — пустота и чистота. Вокруг домиков так же пусто, как и внутри. Тайна питания японского крестьянина — одна из многих бытовых тайн этих островов. Впрочем, ничто социальное не может оставаться тайным: прилежная статистика знает таблицы белков, жиров и витаминов в пище японца-бедняка, и аккуратные проценты рассказывают о той неглубокой грани, которая отделяет постоянное «незаметное» недоедание от настоящего голода.

Пусто в японской деревне. Под низкой водой произрастает рис, рассаженный с великим искусством народа-огородника. Крупные белые зерна — драгоценная пища азиатских народов. Бедняк Китая и Индостана с благоговением, по отдельным зернам, с'едает свой рис в те редкие счастливые дни, когда он его имеет. Япония более сыта, но и она знает роковые слова: «отрицательный продовольственный баланс». Эти три слова, встречающиеся в каждой книжке по японской экономике, обязательны, конечно, только для японского рабочего и земледельца. Сердцевина молодого бамбука, корешки, стебли и листья, морские растения и бесчисленные морские животные, — из этого слагается обед японца. Голодный — у здешнего крестьянина, или роскошный — в токийских ресторанах, в домах зажиточных буржуа.

Земля камениста. Крупный скот — великая редкость в японской деревне. Человек — наедине с землей, с ее камнями и морщинами, среди вздыбившихся скал и песчаных круч. Без помощи четвероногих рабов возделывает он эту землю. И вот — дренажные системы, как сосуды живого тела, сеткой покрывают пески и камни японских полей. Поднимаются на склоны нагорий. Доходят до вершин. Наполняют водой рисовые бассейны. Древнейшее искусство оплодотворения земли находит здесь своих изощренных мастеров. Посевы, где каждый всход в отдельности холится рукой земледельца, скрыты под водой. И почти по колено в воде склоняется над грядками крестьянин.

Наши возницы давно отпущены и уже наверно несутся по узким улочкам Цуруги. Мы возвращаемся пешком по самому берегу залива. На песчаной отмели большими кучками работают ловцы. Тащат канаты сетей, роются в мокром песке, выискивая ракушек. Почти все — в штанах и коротких куртках, по колено босые, с белыми повязками на головах. Издали их можно принять за итальянских рыбаков. А зеленоватый залив сверкает красками Неаполя. Соломенные мешки наполняются всяческими «frutti del mare». Подходя ближе, мы различаем мягкие рулады японской речи, и суженные глаза смотрят на нас с приветливым равнодушием.

Осака

В том углу острова Хонсю, где залив Внутреннего моря глубоко вдавлен в берег, сгрудились большие японские города: Осака, Кобе, Киото, Нара. От одного до другого — не более получаса—часа езды. Осака главенствует над ними: индустриальный гигант Азии, самый населенный город, промышленный и денежный центр Японии, огромный конденсатор ее рабочей энергии.

В этот японский Рим ведет, поистине, несчетное количество дорог. Три линии электропоездов выбрасывают толпы бизнесменов из соседнего Кобе. Среди них — много иностранцев, жителей тамошнего «сетлмента» или приезжих из-за океана. Экспресс Токио—Симоносеки доставляет с юга путников с континентальных владений и вассальных земель — из Кореи, Квантунга, Южной Манчжурии, и с севера — токийцев, относящихся к Осаке, примерно, так же, как старые обитатели чиновничьего Санкт-Петербурга относились к купеческой Москве. Морские подступы открыты для океанских гигантов, дремлющих на рейде в Кобе, куда загибают мировые водные пути и для местных пароходиков, скользящих по спокойной глади японского Средиземья.

Я предпочел всем этим путям иной, более современный. Полупассажирский самолет, принадлежащий газете «Асахи», доставил меня из Токио на осакский аэродром. Два с половиной часа расстилался с высоты тысячи метров неповторимый рельеф японской земли — ее удивительное лицо, строго и капризно глядящее своими морщинистыми кряжами и рвами, провалами котловин и вздыбившимися нагорьями, узкими зелеными долинами и острыми пиками, смесью скал и криптомерий, песчаника и кривой сосны, — невероятными переходами от высот к низинам, от желтого камня — к серебряной воде от геометрической четкости рисовых полей — к геологическому хаосу обвалов и круч.

Примечательнее всего, однако, не рельеф земной поверхности, а раскрывающаяся сверху картограмма человеческого жилья. С высоты не виден человек, но видны дела его рук на этой японской земле, обильной камнем. Жилища и возделанная почва, мачты, как иголки, натыканные в зеленую подушку лугов, рельсовые пути и снова ровные квадраты заливных полей, — все это кажется сплошным, не прерывающимся поселением, сплошной зарослью Земля, поросшая людьми, — так должен быть назван этот кусок страны.

Труд земледельца выглядит скорее работой инженера или горного разведчика. Залитые водой участки рисовых полей забираются с долин на горы, дренажные системы позволяют обрабатывать землю даже на каменистых уступах.

Пилот поворачивает ко мне голову в кожаном шлеме и показывает направо, вверх. Мы летим мимо самого знаменитого места Японии: туристская популярность горы Фудзи превосходит, кажется, известность всех других достопримечательных мест не только одной Японии. Несчетные изображения белого вулканического конуса наполняют произведения японских мастеров — от знаменитой серии «Сто видов Фудзи» великого Хокусаи до запонок, спичечных коробок, вееров и чашек, изготовляемых в стране восходящего солнца. Мы описываем вокруг прославленной горы почти полный круг. Вечный снег, спадающий с ее веришны, кажется продолжением белых облаков, клубящихся ниже, у расширяющейся части конуса. Хокусаи видел гору Фудзи совсем иначе. На его серебристых листах Фудзи-сан неизменно изображена в одной и той же стилизованной манере: покатые склоны заострены и удлинены, полукруглая вершина имеет вид острого белого пика.

Под нами сгущаются дымчатые облака. Сквозь редкие разрывы видна все та же Япония — желтые гряды гор, узкие полоски рек, квадраты посевов

бамбуковые рощи и хвойные леса, дома, селения, домики, города, поселки, железные дороги, бесчисленные мачты с электропроводами, быстрые потоки, сбегающие с гор (ими питается широко развитая электрификация японской деревни). Снова поселки, снова совершенно одинаковые деревянные домики. Эта удивительная фильма перестает мелькать только тогда, когда мы пересекаем две глубокие бухты и летим над ровной водной поверхностью. Здесь Тихий океан, стесненный узкими берегами заливов, бросает кверху солнечные блики из зеленого зеркала своей прибрежной полосы.

Аппарат забирает высоту: горный хребет отделяет нас от Осаки.

Около Осаки людские заросли безмерно сгущаются. На многие километры тянется сплошной город-пригород, незаметно переходящий в новый город. Осака и Кобе собирают на своих текстильных фабриках, на верфях и металлургических заводах, в трущобах рабочих окраин пролетаризирующихся крестьян из далекой округи. Древняя столица Киото давно уже загородила частоколом заводских труб свои старинные храмы из драгоценного дерева, хранящие изображения тысячерукой богини Каннон и статуи несчетных будд. Недалеко расположился другой текстильный центр—Сакаи, а на полпути между Осакой и Токио разрастаются фабричные громады быстро ширящейся Нагойи.

Омици-сан, редактор крупнейшей газеты с миллионным тиражом, разговаривает со мной по-немецки. Берлин, Лейпциг, Галле — недавняя полоса его европейского путешествия, почти обязательного для передовых японцев. Омици-сан — мой осакский спутник. И, быть может, его немецкий говор с характерными ошибками произношения наталкивает на невольные сравнения,— но городской пейзаж Осаки мне очень напоминает Берлин. Ровный асфальт центральных улиц. Серый камень однотипных конторских зданий. Целые ряды всяких «оффисов»: банков, пароходных контор, оптовых фирм. Движение гораздо сильнее, чем в Токио. Ворчащие своры такси с трудом сдерживаются дирижерскими взмахами чинных полисменов.

— У нас перед Токио два преимущества, — говорит мне мой спутник: — Во-первых, у нас не было землетрясения, во-вторых, мы избавлены от всех этих столичных чиновников, парламентариев, дипломатов.

— Мы — город дела, коммерции, денег. Здесь, в Осаке, и только здесь— настоящая современная Япония...

Он забыл прибавить: и город пролетариата, ибо осакские фабричные кварталы составляют самый обширный рабочий центр Японии. И в истории рабочего движения им принадлежит выдающаяся роль. Ведь именно здесь, в Осаке и в соседнем Кобе, разразилась в 1921 году знаменитая полуторамесячная забастовка на верфях Кавасаки и металлургических заводах Мицубиси, — забастовка, охватившая 35-тысячную массу.

...Мы окунулись в кипящее месиво городской толпы, в сутолоку Семба— осакского Сити.

С корректных вывесок деловых зданий глядят названия фирм, выписанные по-английски рядом с узорами иероглифов. И так часто повторяются все те же знакомые имена владык этой «настоящей» современной Японии, — имена концернов-распорядителей японскими судьбами: Мицуи, Мицубиси, Асано, Сузуки, Ясуда... Этими именами пестрят газеты. Они же подразумеваются в борьбе политических партий, в политических комбинациях. Банки и шелковые плантации, верфи и страховые общества, отели и текстильные фабрики, пароходства и рудники, электростанции и публичные дома, газеты и универсальные магазины,— все об'единяют в своих руках одни и те же династии концентрированного капитала.

И вы с удивлением узнаете, что ультра-современный по своим масштабам концерн Мицуи ведет свое начало с давних феодальных времен, что в управлении этим колоссальным предприятием до сих пор сохранились все черты родовой организации: только породнившись с основной «фамилией», можно войти в состав «владетельного дома» Мицуи, можно быть допущенным к его делам. Вы узнаете историю другого гиганта, совсем недавно обнаружившего свои глиняные ноги: памятный крах концерна Сузуки раскрыл трещины японской экономики. Полумиллиардное банкротство Сузуки завершило историю стремительного обогащения этой гигантской фирмы во время мировой войны, когда по Японии пронесся тайфун бешеной спекуляции и грюндерства. Послевоенный кризис 1920 года обнаружил все тягостные последствия этого искусственного спекулятивного роста японской промышленности и коммерции во время войны. Спасительная связь Сузуки с денежными шкафами государственного банка помогла ей перенести период кризиса внешне благополучно, и понадобилась следующая катастрофа — великое землетрясение 1923 года, чтобы мощь концерна оказалась в корне подорванной. Но и это стало явным для всех только значительно позже,—и тогда уже банкротство Сузуки повлекло за собой крах тридцати банков, всеобщую финансовую панику, падение кабинета.

Этот новоявленный японский Стиннес в своих внутренних делах характеризовался, как и Мицуи, вполне патриархальными чертами. До самого рокового дня всем огромным предприятием фактически заправляли два человека—семидесятисемилетняя г-жа Ионе Сузуки, вдова основателя фирмы, и ее старый управляющий Канеко. Подписи и личной печати г-жи Сузуки, занимавшейся помимо своих дел, также писанием стихов и выступлениями в традиционных мистериях «Но», было достаточно для того, чтобы открывать новые заводы, ликвидировать плантации и фабрики, приобретать и продавать контрольные пакеты крупнейших фирм, одалживать многомиллионные суммы у государства. Что же касается мистера Канеко, то этот герой капиталистической Японии вел себя большим оригиналом: назначил себе смехотворно малый оклад, ездил, как рассказывают, в 3 классе и называл себя... социалистом. Ему явно хотелось прослыть японским Фордом. Из сочетания безумно гипертрофированной концентрации капитала, остатков феодального хозяйствования, потуг на «новые слова», на ряду со спекулятивным характером роста и обогащения, и был составлен этот поучительный образец японского капитализма. В истории последнего эпизод, именуемый падением дома Сузуки, составляет одну из любопытнейших страниц...

Каждый квартал Осаки переплетен в рамку узких каналов и бесчисленных мостов. Омици-сан, только-что сравнивавший свой город с Берлином, теперь уже склоняется к Амстердаму или Венеции, чтобы затем найти еще больше общего с Америкой. Каналы густой водной сетью опутали город. Старые дома по-венециански нависли над водой. Европейское средневековье вдруг выглядывает из чисто-японского архитектурного ансамбля, чтобы снова уступить место современной прозе полунемецкого, полуместного образца.

Осакская толпа шумнее чинной токийской. Пиджаки и кимоно смешались здесь беспорядочнее. Американизированные дельцы вперемежку с представителями «старой Японии», одетыми по всем правилам моды XVI столетия и сочетающими энергичную биржевую спекуляцию с верностью стародавним традициям быта. Впрочем, церемонные поклоны, изысканно-униженное втягиванье воздуха губами (ежеминутный жест вежливости), обмен длинными любезностями, — все эти процедуры здесь несколько упрощены.

Осака дневная, деловая явно подражает в своем темпе Америке. «Американ стайль» — американский стиль — это сочетание слышится здесь на каждом шагу, означая самые разнообразные вещи.

В соседнем Кобе, с которым Осака связана несколькими линиями электрической дороги, японская Америка избрала свою главную резиденцию. И оттого, вероятно, этот город, расположенный в прекрасной котловине на самом берегу Внутреннего моря, весь пропитан разжиженной водянистой скукой англо-американского быта. Огромные океанские пароходы на рейде, бесконечные серые здания, иностранный сетлмент (здесь это слово звучит совершено иначе, чем в Китае), отель «Ориенталь» с ежедневным корректным фокстротом... Впрочем, Америка глядит в Осаку не только из Кобе, но и из сотен своих банкирских и промышленных контор с японскими названиями и... американскими капиталами. Но над всем господствует Осака — фабричная, текстильная, металлургическая. Прежде всего — текстильная. Это здесь, в Осаке, сосредоточены крупнейшие текстильные предприятия Японии, здесь сотни тысяч работниц «в угнетении и презрении ткут одежду для человечества», как говорит писатель Хосои, автор романа из горького быта японских текстильщиков.

Копоть труб насыщает воздух Осаки, покрывая одной и той же черной позолотой каменные кубы многоэтажных зданий и маленькие деревянные домики — эти жилые шкатулки, которых не в силах изгнать асфальт и железобетон.

И только вечером, сквозь эту копоть и деловую полировку американизма пробивается старинный цветной лак японской самобытности.

Эта другая Япония ярче всего живет, конечно, на Дотомбори, среди ее вечерних фонарей. Дотомбори — осакская улица театров, подобно токийской Асакуса.

Правда, и сюда, на этот японский Монмартр, проникли джаз и чарльстон. Старинные «ёсе» — японские народные кабарэ — вытесняются кино. В чайных домиках, преобразованных в бары и кафе, можно видеть японских дам, добросовестно фокстрирующих в кимоно и пробковых «зори». Сямисен и цуцуми — национальные инструменты (род балалайки и бубен особой формы) — чередуются с саксафоном и шумовым оборудованием джазбанда. И над всем нераздельно господствует стихия японского театра — этого исключительного и неповторимого феномена дальневосточной культуры.

Мы вышли на Дотомбори из боковых переулков. Мы шли по театральной улице, но казалось, что мы попали прямо на подмостки национального театра старой Японии. Пиджак Омици-сана вдруг стал выглядеть нескладным, неуместным. Яркие кимоно и парадные накидки самурайских времен глядели с театральных афиш. Пестрые холсты вывесок протянулись через улицу. Плакаты-флаги были покрыты сложнейшей иероглифической вязью, обрамлявшей огромные лики-маски трагических актеров. Огни бумажных фонарей и цветных лампионов освещали беспорядочную толпу...

Сегодня играет знаменитый Гандзюро, глава осакской актерской школы. В три часа дня начинается длиннейший спектакль, где героические драмы чередуются с бытовыми комедиями, где все женские роли исполняются мужчинами, где через зрительный зал пролегает «дорога цветов», где зритель приходит в шумный восторг от одного выразительного жеста актера или удачно сказанной реплики.

Весь зал закричит обычное: «Первый в Японии!», когда 66-летний Гандзюро появится в конце «ханамици», высоко подняв выбритую до макушки голову с узлом лаково-черных волос и резкими линиями изогнутых бровей и губ. Переполненный зал (сюда приходят целыми семьями, и в антрактах элегантные дамы партера кормят грудью детей) будет следить за

давно знакомой историей «двойного самоубийства» или за сложнейшей интригой подвига «сорока семи ронинов», или, наконец, за потрясающей развязкой пьесы о самурае, который получил приказ убить сына своего сюзерена, но вместо этого убил своего собственного сына, чью окровавленную голову он приносит жестокому «даймио»...

В Осаке строжайшие каноны сценической традиции соблюдаются особенно строго и неприкосновенно. Здесь нет токийских театров «Цукидзи» и «Зенейдза» («Авангард»), революционизирующих японскую сцену, насаждающих европейские методы постановок, ставящих Горького, Чехова, Кайзера. Здесь, в Осаке, господствуют каноны старого национального театра.

Но наибольшей примечательностью Дотомбори является, конечно, знаменитый Театр кукол. Актер заменен здесь своей точной копией, примерно, в две трети человеческого роста, — копией, у которой есть все, что есть у живого актера, кроме жизни. Певцы «гидайю» на авансцене говорят за кукол, а другие люди, лишь наполовину скрытые ширмами, водят кукол по сцене и управляют их движениями. Выразительность игры этих мертвых лицедеев, точность их движений и жестов, тончайшая отделка костюмов и обстановки превращают этот кукольный театр в искусство высокого совершенства.

Мы вышли из театра. Перед глазами еще жестикулировали мертвые актеры, актеры-механизмы, которым эта удивительная сцена отдает предпочтение перед актерами-людьми. Толпа все плотнее наполняла узкую Дотомбори. На самой улице начинался какой-то новый акт ее ночной жизни. Мелкий и по-особенному быстрый дождь набрасывал шелковые нити на дома, асфальт, световые вывески. Замелькали широчайшие бумажные зонты, украшенные несложными тщательными узорами. «Скоро начнется ню-бай», — сказал мне мой спутник. Я знал, что означает это слово: месяц дождей, период нестерпимой жаркой влаги, ежегодный лихорадочный пароксизм японского климата...

Соседние улицы показались темными после огней театральной Дотомбори. Дневная Осака спала здесь, по-разному ожидая своего утра с его биржевыми котировками, бюллетенями прибывающих и отходящих судов, с его газетными листами и сроками векселей, с его трудом заводов, пристаней и контор.

Нара

В Нару попадаешь из Осаки. Через каждые полчаса отправляется состав маленьких вагонов электрического поезда. Дорога продолжается ровно столько, сколько нужно для того, чтобы посмотреть обычную фильму из истории феодальной Японии. В какие-нибудь сорок минут совершается переход через столетия. Зеленая долина, радостная, как редко где в Японии, отделяет покрытую копотью Осаку от старинной столицы. Частые волнистые холмы окрашены зеленью. Фабричные постройки чередуются с кучками деревенских домиков. Как повсюду в этой центральной части страны, поселения тянутся непрерывно, и нельзя себе представить куска земли без человека и его сооружений.

Японский пейзаж почти вовсе лишен ощущения дали. Перспектива сжата, спрессована, — и как будто в одной плоскости расположены интенсивно-зеленые, желтые, синие пятна, четкие линии холмов, деревьев, котловин. Японская гравюра и живопись теряют свою прославленную условность, когда листы эти вспоминаешь, глядя на подлинный японский ландшафт. Невозможно об'яснить самому себе этот плоскостный характер развертывающейся панорамы. И за неимением положительных об'яснений, применяя

самое неположительное — уайльдовское: «лондонские туманы созданы живописью Тернера» — мы воспринимаем японскую природу через трактовку Хиросигэ и Маронобу. Так или иначе, стилизованные плоскостные пейзажи японских мастеров приобретают натуралистические, почти «передвижнические» черты, когда видишь действительную условность японской природы.

Вокруг Нары эта природа радостнее и проще, чем в иных прославленных пунктах японских красот. Здесь больше воздуха: горы отступили и впервые появляются какое-то подобие равнины, задний и передний план, почти забытое чувство нашей дали.

Нара состоит из города и парка. Город состоит из многих узких уличек, сплошь в деревянных домиках. Парк состоит из большого «европейского» отеля, из храмов и пагод. А вся Нара соткана из дорог, сказочных дорог и древних тропинок, которые гораздо существеннее для этого города, чем его дома, отели, храмы.

Город дорог... Что-то остановило мой слух, когда я произнес эти два слова. Да ведь их можно прочесть и справа налево. И я не знал, исходив нарские дороги, где начало и где конец их необ'яснимого чертежа.

Японский Версаль. Просвещенный абсолютизм французских Людовиков и японских тенно оставил в противостоящих точках планеты изящные парки: Ленотр разбивал сады, отмечая аллеями, боскетами и павильонами «разумного и гармонического века». Эллинское наследие принадлежит французам — заявка Версаля, старательно выписанная его зодчими, садоводами и ваятелями. Китайская культура принадлежит Японии — такова заявка нарского парка. Поэтому он — самый классический из памятников японской старины.

Кстати о классическом. Классический — в японском словоупотреблении — должно звучать: «идущий от Китая», как у нас — «идущий от эллинизма». На каждом шагу здесь приходится изменять ярлычки, захваченные с собою с Запада.

Я прошел пешком от вокзала до парка. Улицы были ординарны и скучны от бесконечного количества туристского хлама, выставленного в лавках. У входа в парк мне попался короткорогий олень. Начиналась «сказочная Япония», умело консервированная Нарой. Небольшой пруд отражал пятиярусную пагоду — одно из чудес нараской старины. На больших белых камнях, торчавших из воды, тихо передвигались зеленовато-черные щиты множества мелких черепах. Пагода, укутанная снизу хвоей кривых сосен, казалась диковинным образцом незнакомой флоры. Невозможно было представить себе, что когда-то ее сооружали, настраивали один над другим квадратные навесы с загнутыми кверху углами, самый верхний навес венчали тонким шпилем. Я прошел мимо буддийского храма Кофуку-дзи, мимо ларьков со сластями, палаток с открытками и сувенирами, мимо стоек с лимонадом, свернул на боковую аллею и вышел к маленькому озеру Ара, разделенному на две части узким мостом.

Просторный Нара-отель вмещал меньше отельной пошлости, чем другие пристанища европейских и американских глобтроттеров в Японии. Из моего окна была видна все та же пятиярусная пагода, а рядом другая — пониже и постарше. Пруд Сарусава отражал их, сверкая, как овальное зеркальце, вынутое из туалетной сумки. Вся картина была явно нарочитой, стилизованной, как будто приготовленной для обозрения из этого именно окна. Я вышел из отеля в парк, к его аллеям, каменным светильникам и черно-красным храмам.

Старина крепко втиснута в современный японский быт, как кристаллики кварца в глыбу гранита. Тем необычнее выглядит эта старина, когда ее изолируют и в одиночестве выставляют напоказ. В сегодняшней Японии

живут рядом феодальный обычай и американские деловые нравы, миллионные тиражи газет и спадающие мешками рукава кимоно, кабуки и баскетболл, покорность жен и переводы из Поля Морана и Бабеля.

Феодализм навеки удалился сюда, в этот японский Версаль. И здесь на его аллеях видишь, как в сущности миниатюрно и бедно было его царство. Так, за гекзаметрами Илиады трудно разглядеть действительные размеры Троянских и Ахейских войск, крепостей, битв: их смехотворно-малый рост, «уездный масштаб» воспринимается в гомерически-увеличенных очертаниях: простое действие поэзии и времени. Оно называется иначе «потерей исторической перспективы». Здесь, в Наре, перспектива восстанавливается. Когда-то в этом городе феодальная Япония впервые утвердила свою централизованную государственность. На перепутье узких тропинок она расставила миниатюрные храмы, первую наметку власти. Нет, Нара — не Версаль, где зрелый и полнокровный феодализм чертит свой завершенный жизненный план точнейшими аллеями и вымеренными лужайками, аккуратно подстригая буйную зелень ножницами просвещенного абсолютизма. Нара — только начало будущего централизованного государства. И дороги ее — непрямые, путаные, не аллеи, а тропинки. На перепутьях вдруг возникают небольшие храмы: как случайные вехи, поспешно и беспорядочно расставленные переселенцами на новой земле. Случайными выглядят постройки, а основным, органическим — дороги и перекрестки дорог. Они водят по эпохе, они ведут мимо храмов, и храмы при них — только путевые столбы

Но эти придорожные знаки изготовлены в чудесной мастерской. Я долго стоял около двух из них — Касуга и Касуга-Вакамийя — двух синтоистских храмов, очень старых, и старостью своею (им стукнет скоро 12 столетий) говоривших о молодой Наре, — Наре начальных межей и сторожевых вех. К обычным красным и розовым цветам деревянных столбов, изгородей и вышек здесь присоединялись серые и бурые, спокойные землистые краски; некоторые пристройки, продолговатые ряды балок без стен, поддерживающие навес с загнутыми краями, напоминали наши деревенские скирды и амбары с соломенной крышей. Много избяного было в них, в этих китайско-японских архитектурных «ордерах», являющих в Наре свои классически чистые формы.

И снова и снова я сворачивал на боковые тропы. Прохожие кормили оленей, каменные светильники глядели пустыми глазами. Дорога вела по горе: Касуга стоит на невысоком холме. По плану парка я отыскал центральный нарский храм — вместилище гигантского Дайбутсу. Храм—только деревянный футляр для бронзового колосса. Крытые галлереи замыкают основное сооружение в продолговатый прямоугольник. В галлереях монахи и служки торгуют фотографиями, амулетами, открытками, плохо сделанными статуэтками. Дайбутсу заполняет своими пятьюстами тонн центральное храмовое здание. Из трех знаменитых японских будд это —самый внушительный и самый старый.

Я познакомился со всеми тремя. В Камакуре, близ Токио, бронзовый Дайбутсу сидит под открытым небом. В Киото он деревянный, раскрашенный. Камакурский идол пониже и худощавее своего нарского коллеги отливка изящнее и тоньше. У самого подножия статуи — шумный базар ларьков, закусочных, бесчисленные продавцы сувениров, фотографы. Токийские клерки, пожилые буржуа в темных кимоно, многосемейные дачники фотографируются перед статуей, студенты-экскурсанты взбираются на сложенные руки, к священному животу. Кругом шумливо и неопрятно. Земля усеяна спичечными коробками, окурками, газетной бумагой. За 5 сен входят внутрь полой статуи. Здесь, около сердца Всевеликого, совсем не уютно Туристские надписи — английские и иероглифические. Шершавая поверх-

ность старой бронзы. Деревянные ступеньки и скамейка. Священный трепет здесь может охватить только карикатуристов из «Безбожника»: сколько неиспользованных буддийских тем!

Нарский будда чувствует себя спокойнее и величественнее. Он расселся под деревянным прикрытим старинного храма. Доступ к нему стоит целых 15 сен. Вместо простого одеяния Камакурского кумира, здешний Дайбутсу снабжен в изобилии регалиями божества. Бронзовые лучи громадного нимба несут симметрически расположенные повторения его образа. Правая рука гиганта поднята и обращена ладонью к миру. Металлические лотосы в три человеческих роста извиваются по обеим сторонам статуи. Одеяние оставляет открытой жирную грудь и толстые складки бронзового живота. Круглая голова поставлена прямо, и глаза (каждый в три фута длины) смотрят уверенно и самодовольно. Не без претензии закручены небольшие усики — волнистые завитки на верхней губе. Этот удобно рассевшийся великан, которому почти 1 200 лет от роду, вероятно, благоволит к солидным бизнесменам и не жалует новейших «нарикинов». Бог хорошего бизнеса, умеющего быть величественным в этой тысячелетней золотеющей бронзе. И он вовсе свободен от мечтательной рассеянности своего Камакурского двойника.

Я ходил три дня по нарским аллеям и храмам. За пять сен получал разрешение ударить в большой колокол храма Тодай-дзи — великого восточного храма Нары. Мне об'яснили, что колокол этот весит 48 тонн, что отлит он в 572 году и что в Японии его превосходят только два колокола — в монастыре Хион-ин в Киото и в осакском Ситен-одзи. Я подымался на волнистые холмы и сходил с них незаметными спусками. Маленькие синтоиские часовни черного, красного, розового лака чередовались с большими буддийскими храмами — их всего семь в Наре. Уже за чертой города я видел древнейшие из этих сооружений. Хориу-дзи, первый по времени буддийский храм в Японии, — одна из старейших на земле деревянных построек, в течение 1 300 лет возвышающая свои тонкие пилястры, перекладины, свою двухярусную чешуйчатую крышу. В более молодом храме Хокке-дзи на меня посмотрела тусклым взглядом двадцати двух зрачков богиня Каннон, одиннадцатиликое изваяние, покоящееся в черной лакированной часовне. Я кормил оленей на большой лужайке парка, расписывался толстой кистью в храмовых книгах, за что в обмен на десятисеновую монету получал амулет и открытку с красной печатью. В небольшом здании у входа в парк, торжественно именуемом «Императорским музеем изящных искусств», я осматривал деревянные статуи и скульптурные маски, — устрашающие и гротескные, — Нарской эпохи. Но я уклонился от ритуала туристов и рационализованного маршрута паломников: я долго бродил по дорогам и тропинкам этого города тропинок и дорог. Эпоха говорила именно в этих блужданиях, хотя навстречу то и дело попадались приезжие осакские коммерсанты и экскурсии школьниц в европейских платьицах и высоких ботинках. Ранняя пора феодального государства,— то, что в истории Японии зовется нарским периодом: эти дороги, храмы-вехи на перекрестках, ранняя пора японской культуры, — старый Китай, царящий в архитектурных образах этого города. И молодые неуверенные тропы ведут к завершенным в своей формальной зрелости постройкам, образцам законченного и застывшего стиля. Так выглядит в Наре исторический стык молодой Японии с древним Китаем. Такова Нара, Версаль раннего японского феодализма, город дорог и храмов, пытающийся восстановить хронологические таблицы истории в этой стране, так старательно перемешавшей свое настоящее с прошлым, листки отрывного календаря с датами умерших эпох.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Дела и люди Донбасса

(Из записной книжки писателя)

Глеб Алексеев

1. Терикон

Горы эти — единственные на опустошенной солнцем поверхности Донбасса, их видно издалека, они нарастают пирамидой у каждой шахты из отвалов породы, которую «выдают на гора́». Днем горы — пепельно-стального цвета с острой вершиной, на вершине — вагонетка, похожая на присевшую стрекозу, в дождливую погоду горы исходят известковым, чадным дымом затухающей папиросы. Ночью, особенно после дождя или большой росы, такая гора вспыхивает серно-фиолетовыми огоньками, на версту вокруг разливая отвратительное удушье серы. В Донбассе эти горы называются териконами: старухи-бабушки до сих пор пугают внучат, что териконы есть только в Донбассе и в аду, в котором полагается сгореть всем безбожникам.

— Терикон — живой памятник прошлого, — говорил мне молодой инженер, с которым под'езжал я к Горловке, — он — живое свидетельство хищнической разработки недр и наглядный образец бескультурности. В Америке породу не выдают на гора́, а если выдают,— пользуются ею для устройства дорог...

В момент беседы этой колыхались мы по улице Горловки, бричка вдруг зачерпнула правым крылом за бугор величиной в добрую половину человеческого роста и покорно, как брошеный в реку топор, завязла в грязи. Мы вылезли, принялись помогать лошади выволочь утонувший экипаж, силясь подтянуть его к помойкам, какие установлены в Горловке по самой середине улиц так же, как и сортиры: в помойки вместе с гниющими отбросами вываливают жители отгоревший шлак — единственные твердые островки на улице.

— Вот забытый участок соревнования, — сказал инженер, выбираясь на кучу захрустевшего под ногой шлака, — у нас сейчас соревнуются даже духовые оркестры, зато нет ни дорог, ни улиц...

Но горькое значение фразы этой я понял лишь к вечеру, когда неутомимый т. Никулеску, председатель пятерки по соревнованию на руднике № 1, протаскав меня километров двадцать по земле и под землей, вывел, наконец, на четвертый этаж Дворца культуры и оттуда открыл абрис нового города, который поднимается на териконовом пепелище старой Горловки.

— Вот,— заговорил он,— мы с вами в четырехэтажном доме, какой здесь кажется даже больше двенадцатиэтажного Дома промышленности в Харькове. В нашем дворце несколько десятков зал и клубов и театр на тысячу двести мест — по вместимости у вас в Москве только три таких

театра. Вправо и влево видите вы колонны новых шахтерских домов: их начали строить с окраин, они идут на старый город, как солдаты. Всего два года назад они казались далекими от города, но видите — сегодня они подступили к нему вплотную, они теснят прогнившие жилища старого рудника...

Никулеску улыбнулся, издав при этом нетерпеливый фыркающий звук.

— Чорт возьми, но это совсем другой способ стройки! Прежде поселок возникал возле естественного, так сказать, пупа, возле шахты и терикона, и от естественного пупа разбегался в стороны, жители ставили дома, как кому удобно было — так образовывались улицы, переулки, тупики, так в горькие складки нищеты и неудобств складывалось лицо жизни... И на нем, как гниющий нос, — терикон!

— Я, правда, не архитектор, а слесарь, — продолжал Никулеску, прищуривая глаза того спокойно-серого цвета, какой всегда придает человеческому взгляду уверенную безусловность, — но я думаю, что так строилась даже Москва. Новую Горловку мы строим наоборот. В первую очередь мы застраиваем окраины; застроившись, окраины идут на старый поселок со всех сторон, кольцом сжимают его, и старым, буржуазным, как их называют у нас, домам с проеденной черепицей податься больше некуда, как к терикону... Старые дома мы не ремонтируем, мы их срываем...

С высоты четырехэтажного дома они вольно раскрылись перед глазами — две Горловки: та, которая была, и та, которая должна быть, которая уже есть основным своим фундаментом.

Вот та, что была:

косой базар со взвозом; на нем волдыри ржавых палаток с квасом; харчевни; молчаливые, как тумбы, торговки с галантерейным универмагом общей стоимостью рубля на четыре. От базара текут грязными потоками будто нарочно перекошенные, перепутанные улицы; на улицах вросшие в грязь дома с палисадами, в которых от шлака не растет ничего, даже трава; вывернутые двери жилищ, открывающие черное, сгнившее нутро, дышащее смрадом луковых кухонь; распятое на заборах белье; крынки, надетые на колья, будто головы побежденных врагов. И по самой середине улиц, улочек, переулков — распахнутые настежь сортиры, окруженные териконами шлаковых помоек, в которых роются петухи и воняют дохлые кошки — удалые трофеи ребячьих забав. На такой улице не грех запить и по пьяному делу запустить камнем в окно зловредному соседу, чьи ребята — сукины дети! — вчера опять подшибли курицу.. А вечерами, когда после шахтерской смены хорошо посидеть на лавочке, встречая неторопливый донбасский вечер,— загорается фиолетовым смрадом терикон, замешивая удушье серной кислоты в естественное зловоние сортиров.

И вот та, что будет, что есть:

сотни блещущих новизной строек двухквартирных домов, с антеннами, перед которыми, как об'яснил мне один старый забойщик, «стыдно пьянствовать», вылизанные до красноармейской чистоты казармы рабочих-одиночек, в которых девушкам выдают стеганые одеяла «со всей постельной принадлежностью по сорок копеек в месяц на амортизацию». Дворец культуры с десятками его клубов, стрелковых, сценических, технических кружков, Изо (как называют здесь об'единение молодых художников), уже выставляющее свою продукцию для общего осмотрения, библиотека в шесть тысяч томов, но с пустыми полками, ибо книги — «Прямо беда, — жалуется библиотекарь, — все больше на руках...»

Эти две Горловки сейчас, как бойцы, вплелись одна в другую, и старая дышет в новую бескультурьем людским и дорожным, хулиганством, отрыжкой православного мата наперекор концерту из Москвы по радио, вонью уличных териконов, безнадежностью луковых кухонь, и удалыми трофеями

безнадзорных ребячьих забав. Но все теснее, все ближе прижимает к терикону новая Горловка своего врага. Сужая бетонное кольцо своих домов, она срывает старые дома, не оставляя от них камня на камне. Она уже подбиралась к самому сердцу своего врага,— к базару, к горловской Сухаревке, какую Ленин назвал когда-то первым врагом новой жизни: на косом взвозе базара, от которого, будто темные реки, плывут в стороны улички и прокуренные териконом тупички, построили столовую, пропускающую полторы тысячи рабочих в день. Огни ее глазастых, насквозь пронизанных светом, окон ложатся на землю ночью, когда дымится терикон задушливым серным смрадом, и в этих огнях еще виднее стыдная грязь и бездорожье старой Горловки.

2. Неграмотный рудник

Когда с узлового рудника уезжал технический руководитель Усов со всей горячностью, какая отличала его, как работника, ударив кулаком по столу,— крикнул он своему заместителю Шишову прямо в лицо:

— Шишов! Дорогой товарищ! Я — инженер и лучше вас знаю шахту! Она дает триста пятьдесят тонн суточной добычи, и можете расшибиться в лепешку, но больше четырехсот тонн не достанете! Хотите пари? За одну тонну свыше четырехсот — годовое мое жалование!..

И Усов, как отслужившую шпагу, бросил на стол карандаш.

Это был вызов старого, знающего себе цену, спеца вчерашнему лесогону, приехавшему после краткой технической учобы сменять его на ответственнейшем посту управляющего шахтой. Это был еще и вызов интеллигента: с от'ездом Усова на шахте не оставалось ни одного интеллигентного человека.

Шишов растерянно потер рано залысевший лоб, на котором гвоздями проступил черный шахтерский пот, и отвечал почти шопотом, который расслышали, однако, все на руднике:

— А я хлеба не буду кушать, товарищ Усов, пока шахта не выдаст шестисот тонн в сутки...

Усов вышел, и в конторе сразу стало пусто, хотя было в ней человек двадцать рабочих. За окном еще лежал донбасский, серый от угольной пудры, снег; неутомимая февральская капель уже стучалась в мокрые окна, шла весна, а с ней — отлив шахтеров на полевые работы, отпуска, мечта о курорте... Говорить было как будто не о чем, и рабочие вышли, вежливо притворив за собой дверь в кабинет нового управляющего, и тогда от окошка отошел коротенький человек в шахтерке, с лицом навсегда потным и взволнованным, и сел на краешек стула возле директорского стола, украшенного нелепой чернильницей с оббитой крышкой. Он посмотрел себе на руку — на руке была круглая с баранку мозоль (шахтерская мозоль крепка и кругла, как копыто), плюнул на нее, чтобы стереть неотмытую после спуска пыль и, растерев о колено закипевшую в слюне грязь, полез в боковой карман за книжкой, в которой были записаны его новые по должности предшахткома дела.

— У нас, Никитич,— сказал коротенький человек,— верхний штрек пласта Великана угнан, понимаешь, на приличное расстояние, приблизительно в пятьдесят метров... Есть, понимаешь, возможность остановить штрек, начать снизу бить шурф, чтоб устранить ремонт отзади... Сейчас штрека пока все мерзлы, — тут он посмотрел на окно, и за ним повернулся Шишов, беря со стола обломанный Усовым карандаш, — но когда оттает...

Этот день начался приблизительно так, и в истории Узлового рудника горловского района ничем не отмечен.

Весна уже вступила в свои права, и весенний отлив уже вырвал из шахты человек девяносто «перелетчиков» (так называют на рудниках сезонных рабочих), и тот день, когда я приехал на рудник учиться рудничному пафосу строительства, был нестерпимым донбасским днем, в котором с утра чувствуешь себя как в раскаленной стекольной гуте. По широкой и без деревьев голой улице шли со смены шахтеры, и Шишова я нашел у конторы. Одной рукой он держался за крыло брички, в другой у него был портфель, им он мотал, как флагом, крича проходившим рабочим.

Так он и принял меня в бричке, попросив извинения за то, что сейчас ему некогда расположиться в конторе, где у него развешаны диаграммы. Но я и не сетовал на него: перед от'ездом Шишов не успел зайти даже домой, крикнул с брички предшахткому, чтоб тот передал его жене, что вернется он, пожалуй, к вечеру. Мы ехали в Горловку версты три степью, уже пыльной от донбасского, с самой ранней весны горячего солнца, и он рассказывал, что едет вызывать на социалистическое соревнование Калиновку.

— Любопытная тут получается история, — говорил он, поворачивая ко мне свои обведенные угольными кольцами глаза:— при Усове наш рудник давал триста пятьдесят тонн при среднем месячном заработке в восемьдесят рублей и средней производительности на одного рабочего в шахте в семнадцать тонн в сутки. Себестоимость тонны была пять рублей и восемь десятых копейки за тонну...

Цифры он произносил без запинки, как стихи.

— А сейчас мы даем пятьсот пятьдесят тонн при среднем заработке забойщика в восемьдесят шесть рублей и средней производительности двадцать тонн на каждого рабочего в шахте. Наша себестоимость — пять рублей сорок восемь копеек за тонну... По заданию тонна должна стоить пять рублей пятьдесят шесть и девять десятых копейки... И вот, понимаете ли, к самому соревнованию мы уже выше задания... Но, что бы месяца на два раньше!

Сейчас на Донбассе идет июнь, уехавшие на полевые работы «перелетчики» отсеялись и вернулись, и договор с Калиновкой уже подписан. В ламповой, куда, поднявшись из шахты, рабочие приходят с черными, будто нарочно вымазанными в ваксу лицами, где отплевываются они, прочищая прожженные забоем легкие, где, затягиваясь первой после сваленного «конька» (выбитого пласта угля) папиросой, подходят они к доске, на которой старательно выписано мелом: сколько за вчерашний день сбили коньков калиновские и сколько сбили они, сколько вышло на работу калиновских и сколько прогуляло у них,— я встретил Шишова в третий раз. Он только-что поднялся из шахты, и с его еще больше залысевшего лба катились на щеки капли обильного шахтерского пота, который бесполезно отирать. В волнении Шишов прошел мимо меня, не узнав; сзади его догонял предшахткома, и я расслышал лишь обрывок отрывистой, обиженной фразы:

— Лошадь живет в шахте без свету, ее выдавать на гору надо затемно, чтоб привыкла к свету, как развидняет...

Я нагнал его и тронул за рукав шахтерки.

— Вот, — тем же обиженным тоном продолжал он, — коня чуть не ослепили...

В эту последнюю встречу мы беседовали в конторе, за столом, попрежнему украшенном нелепой чернильницей с оббитой крышкой. На стене висели диаграммы, на которых синие, желтоватые и красные линии упрямыми змеями лезли вверх, и Шишов подвел меня к ним.

— Даем мы сейчас на соревновании, — сказал он, произнося цифры, как любимые стихи,— шестьсот шестнадцать тонн в сутки при среднем зара-

ботке забойщика в сто четыре рубля и средней производительности одного рабочего в двадцать три с половиной тонны в сутки. Наша себестоимость — пять рублей и двадцать девять копеек за тонну... Но я, знаете ли, прямо хлеба кушать не могу, пока шахта не дасть в сутки восемьсот тонн...

3. Памяти двадцати семи

Из ствола шахты «Мария» до сих пор тянет сладковатым трупным запахом, и десятник Иваненко, первый спустившийся после обрыва клети 4 марта, неделю назад, достал застрявший в расстрелах человеческий палец. Зумф (дно ствола), в который с высоты 150 саженей упали люди, откачали до дна, но целых, «человеческих», — по выражению предшахткома т. Чуприк, — гробов удалось составить только семь. Остальные двадцать похоронили глухими.

Шахту закрыли для ремонта на месяц и девять дней, 847 шахтеров были отправлены в санатории и дома отдыха. Вокруг конусообразной могилы двадцати семи за эти два месяца вырос парк, а самое имя шахты «Мария» отдано в историю. Ныне шахта называется «Имени 27-ми», чьи фамилии выписаны на конусообразном памятнике.

26 апреля шахтеры впервые после катастрофы вышли в забой.

— И эти первые дни, — говорит т. Чуприк, — работа шла мелкими шагами, шахтеры подходили к шахте с оглядкой... Несчастье, конечно, большое. Но стране нужен уголь, перед самой катастрофой мы вступили в соревнование со Смолянкой, а дело наше, шахтерское,— совсем как у моряков. Куда забойщика ни посади, куда забойщика ни закинь, — он, как моряк от моря, далеко от родимой шахты не уедет...

У т. Чуприка старательно-спокойное, чуть-чуть блестящее лицо и руки тяжелые, как мокрые малярные кисти. Он покрепче, чтоб не дрожали, прижимает руки к лежащим на столе бумагам. Конечно, среди погибших у него были приятели. Конечно, все погибшие близки ему еще и по той родственности рабочих отдельных профессий, какая шахтера заставляет издалека узнавать шахтера, стекольщика роднит со стекольщиком и слесаря со слесарем. Эта родственность собрала на похороны погибших 12 000 шахтеров со всего района, а двенадцатитысячная скорбь на пустоте выжженной донбасской степи за два месяца насадила огромный парк.

— Но, — громче, как бы спохватываясь, что я могу заметить дрожь его пальцев, продолжал т. Чуприк, — за первый квартал мы не додали в связи с катастрофой двенадцати процентов против задания...

Он говорил со мной с тем внешне-равнодушным спокойствием, каким как бы досадовал на себя, что перед его глазами опять встал веселый Князев Илья, накануне катастрофы горячо споривший о соревновании, и та обычная изо дня в день картина, какую видит он из окон шахткома и сейчас: — по двору черной толпой трубочистов идут на смену шахтеры. Те двадцать семь шли так же и так же, получив лампы, спешно докуривали на дворе, чтобы, докурив, погибнуть.

— Так вот, — почти выкрикнул он, подвигая ко мне ведомость, — задание у нас дать тонну за пять рублей и восемьдесят три копейки, а мы даем сейчас по пять шестьдесят три...

Передо мной сидел хозяин, озабоченный убылью людей и простоем шахты и тем, что шахта вследствие катастрофы не додала двенадцати процентов выработки в первом квартале, какие необходимо додать теперь. Как поступил бы на его месте каждый рабочий? Как поступил бы один из тех двадцати семи, чьим именем теперь называется шахта? Тов. Чуприк поступает, как солдат, считающий потери в единицах, а не по фамилиям.

— Итак, товарищ, вы хотите знать о нашей культурной работе? В Донбассе нашу «Марию», да... — поправился он, — нашу шахту считали передовой по культработе, хоть у нас и нет для этого даже мало-мальски сносного помещения. Я вам назову цифры школ и кружков, и, пройдясь по нашему руднику, вы убедитесь, что эти цифры живут не только на бумаге... В школе профграмоты у нас 38 человек, в производственной школе — 22, в школе ответственных технических работников — 13, и двое из них уже выдержали экзамен в Горловке на техников. На курсах по подготовке на рабфак мы имеем сейчас 73 человека, в рабочем вечернем университете — 40 человек, в рабкоровском кружке — 13. Кроме того, мы имеем в кооперативной школе 25 человек, из них выпущено в этом году 20. Это то, что повышает нашу квалификацию. А вот то, что использует наш досуг. В двух наших драматических кружках, русском и украинском, — 57 человек, ежемесячно они ставят две постановки, мы имеем два духовых оркестра, хоровой и струнный кружки, кружок изобразительных искусств, футбольную и баскетбольную команды и военно-спортивный кружок в пятьдесят человек. На шахте «Мария», — закончил т. Чуприк, — эти школы и кружки работали так, что мы стояли по культурной работе на первом месте в нашем районе; сейчас на шахте «Имени 27-ми» эти школы и кружки должны работать вдвое. Клуб шахты «Имени 27-ми» вызвал на культурное соревнование клубы соседних рудников.

Кончив говорить, он осторожно положил карандаш поверх бумаг, как бы давая тем понять, что больше не может уделить мне ни минуты.

— В память двадцати семи? — спросил я.

— Даешь культуру — наша память о двадцати семи, — отвечал он.

А два дня спустя на совещании по соревнованию в Горловке председатель райкома союза горняков т. Цуканов, доказывая, что в угольном соревновании должны принимать участие клубы, и что угольное соревнование должно итти в ногу с культурным, сказал:

— Плохо у нас пока что с соревнованием клубов... Одна только «Мария», несмотря на катастрофу, дает нам в культурном соревновании пример...

4. Хозяин и гость

В нарядной, у окон штейгеров — в шахтерках, в черных угольных масках, от которых ослепительно белыми кажутся зубы и белки глаз, с подвешенными к поясу топорами, с обушком, который прирастает к шахтерскому плечу, — их не различит даже опытный глаз.

Различать их вы начинаете в бане, когда, сдав шахтерку и смыв угольную накипь с лица, шахтеры вразвалку, неторопливой походкой людей, сделавших на сегодня свое, выходят в день, чтоб остаток его отдать себе.

И вот идет первый — он в толстовке (если он молод, — ворот толстовки скреплен галстуком), в кепке, на нем ботинки, по дороге он зайдет в шахтком или в контору, остановится поговорить с товарищем с соседнего пласта и спросит его не только о том, как сбивалась сегодня крепь, но и про шахту, про то, сколько прогуляли и сколько выдали на поверхность. Потом он направится домой (если холост, — в столовку) обедать, и путь его от шахты в зависимости от его заинтересованности («сознательности», — как, точнее, определяет т. Оголюк с Узлового рудника) продолжается полчаса и час. Это — кадровый шахтер, у которого нет иных интересов в жизни, кроме своего рудника.

А за ним, обгоняя и торопясь, спешит другой рабочий, также только-что оставивший свою «упряжку» в бане. На нем черный, тот же, в котором

он был в забое, матовый от угольной пудры картуз, сапоги, по щиколотку захоженные в грязь, голубая выцветшая рубашка. Он отплевывается угольной мокротой с еще большим ожесточением, чем первый. По дороге он никого ни о чем не спросит, у черной доски, на которой старательным мелом обозначены результаты вчерашней добычи в своей и в соревнующейся шахте не остановится и в шахтком не завернет. Это — «перелетчик», сезонник, у которого «душа дома», вместе с женой, детьми, коровой и сенокосом.

Первому шахта — родная дочь и нередко родная мать. Он — хозяин рудника.

Второй — гость, приехавший взять с шахты свое и подработать.

Разницей их интересов и устремлений определяется не только весь быт, все устои, но и все жизненные законы на руднике. Тем более, что и «гостей» и «хозяев» на шахтах приблизительно поровну: количество сезонников на шахтах горловского района колеблется от 40 до 55—60%.

Зимой, когда земля прикрыта снегом, мечта о ней в душе сеозннника спит. Сезонник не отстает, он работает вровень, — не только работает, но «тянется»: он более частый гость и на производственном совещании и в институте делегатов, какой в каждой шахте является (все по тому же образному выражению т. Оголюка) «совестью шахты», и в клубе. Но с первыми весенними днями «перелетчика» начинает одолевать скука. Если он забойщик, он начинает придираться к лесогонам: нехватает лесу для крепления, и раз нехватает — не справившись, не подождав, выезжает на гору, требуя, однако, «за упряжку». И речь его к этому времени становится ядовитой: «Одел я упряжку — ну, одел! А раз одел — значит, испачкался! А раз испачкался — значит, гони монету!»

Если он конюгон — за четверть часа до смены за углем не поедет, и нет ему нужды, что эти четверть часа, какие простоит он, дожидаясь клети, дадут на гору лишние шесть вагонеток угля.

На шахтах с весенней этой скукой сезонников пробуют бороться поразному. Было даже предложение выдавать отпускные деньги, чтоб забойщик (а все внимание шахты на забойщике) мог за себя в деревне нанять батрака, но на такое предложение рудоуправление естественно не могло согласиться. Было предложение отпускать шахтеров в весенние отпуска, дней на десять, но это предложение почему-то также не прошло. Сезоннику-шахтеру предлагают расчет. Рудник обескровливается за счет отлива каждую весну, хотя, по собственному признанию «перелетчиков», от того, что «душа их рвется на все цветы», они не выигрывают ничего.

— И на шахте я, — жаловался мне один «перелетчик», — в роде как не рабочий, живу в казармах, сижу на селедке с чаем, чтоб с'экономить побольше для дому... А дома — вот ведь чепуха какая! — словно бы и не хозяин! На шахте работал — глядишь, время проворонил, и убыток больше того, что принес... Так и живу в нетях, — ни тут, ни там...

Вглядишься в жизнь рудника попристальнее, и деление это на «гостей» и «хозяев» начинаешь видеть во всем. В работе «гость» нередко загоняет «хозяина», но это только первые дни, пока «гость» не выдохся. На производственном совещании «гость» по большей части молчит: «думка у него запасная, за свое». В быту жизнь «гостя» менее организована: «хозяин» запасает продукты с осени, и на базар его хозяйка ходит только за хлебом и за мясом; «гостю» надо покупать все, а в очереди за него стоять некому, и потому он предпочитает бесконечный чай с селедкой. Свой досуг «хозяин» по большей части проводит в кружке: техническом, стрелковом, драматическом, а из игр предпочитает шахматы и домино. «Гость» режется под кустами в запрещенное «очко», а кружки, если и посещает, — больше из любопытства.

Сейчас, когда соревнование с земли спустилось в недра, захватывая отдельные пласты, отдельные смены, отдельные забои, деление шахтеров на «гостей» и «хозяев» особенно наглядно выпирает на глаза. Сезонник, вернувшийся на шахту « с воздуху», воротит горы. Но для него соревнование — спорт, в котором он однажды поставит рекорд и на том успокоится. Для кадрового рабочего важен не рекорд, а закрепление достигнутых результатов.

И я слышал, как тот, первый, что не спеша шел с шахты в городской толстовке и в ботинках, ответил веселому парню в голубой распояске, похвалившемуся результатами своей сегодняшней «упряжки»:

— Это что сегодня! А ты вот и завтра попробуй!..

5. Совесть соревнования

В Москве мне дали хороший совет:

— Будете в Горловке — обязательно повидайте т. Никулеску.

В Горловке, в шахткоме, я спросил о нем в первую очередь.

— Никулеску? Да он здесь, в шахткоме... — отвечал предшахткома.— Никак ушел? Ну, я его в момент... вот вызвоню по телефону...

Но по телефону предшахткома звонил больше часу. Потом предшахткома принялся опрашивать каждого подходившего шахтера. Потом он вообще сидел и разводил руками. Каждый подходивший отвечал ему так же, как отвечали, должно быть, и по телефону:

— Никулеску? Да, я его только-что встретил!.. Никулеску? Да я с ним только-что говорил! Да вот он — только-что прошел... Никулеску? Да вот он!

Искали его часа полтора, и всюду он «только-что был здесь». Шахтер в ламповой оглядывался, словно только-что с ним разговаривал. Штейгер, на вопрос о нем, продолжал говорить, обращаясь к самому Никулеску, только-что здесь бывшему... На электрической станци монтер отвечал, не подымая головы: — «да вот он за машиной». Из шахткома звонили по телефону, что Никулеску сейчас вышел в бюро ячейки, а из бюро ячейки: — только-что ушел на районное совещание. Отчаявшись отыскать т. Никулеску, я отошел к стенной газете, добрая половина которой была посвящена товарищу Никулеску. «Наш председатель пятерки по соревнованию, — писала газета,— то тут, то там. Никулеску никто не видит. Нкиулеску видит все».

Я понял, что мне следует стоять на одном месте, и неутомимая волна сама нанесет на меня этого неутомимого человека. И, действительно: спустя минуту меня тронул за рукав маленький ростом человек в белых, серых от шахтерской пыли — штанах с очень подвижным, сожженным лицом:

— Вы меня искали, товарищ?

И, не дослушав, бросился к шахтеру, проходившему в этот момент к окну ламповой. Шахтер поднял лампу, и голосом, зажеванным в уголь, выкрикнул свой номер. Никулеску скоговоркой прошептал ему какие-то цифры, в которых я ничего не понял, на что шахтер, пожевав угольную кашу и отхаркивая ее в угол рядом с урной, отвечал фразой, которую я понял:

— Нужно, чтоб забойщик знал, что сегодня он идет на соревнование...

— Забойщик ходит на это дело каждый день, — отвечал ему Никулеску.

Шахтер полез было в затылок, но, посмотрев на угольную свою, черную, как в перчатке, лапу, — не донес. А Никулеску уже стоял рядом со мной, выговаривал мне слова с той нарочитой неуверенной твердостью, с

какой обычно говорят люди на чуждом языке (Никулеску — румын, из оккупированной Бессарабии):

— В Москве скажите, что газеты сгоряча нас поддерживали, а теперь ослабли... Пишешь им — пишешь, а ничего не выдают... Я даже рассердился... Сейчас идет совещание, мы с вами пойдем в Дворец культуры... там я поставлю вопрос, по дороге зайдем в кружок Изо, оттуда поспеем на выборы комиссии и в шахтком... Вот только на минутку в ячейку и одно слово в редакции стенгазеты...

Таким образом, попал я в рабочую орбиту т. Никулеску и часа три мотался его тенью по совещаниям, шахткомам, ячейкам, нарядным, электростанциям, казармам для холостых и семейных, кружкам, залам, отделам и дворам. За это время он просил, снижал голос до «страшного» шопота, он требовал, вращая шоколадными от пота глазами, он грозил, доказывал, уверял, усовещевал, голосовал, ставил вопросы, записывал и подписывался, спрашивал и отвечал, советовал, вносил предложения и делал фактические поправки. За это время он ни разу не произнес слово «соревнование», но все, что он делал, все, о чем он говорил, было проникнуто значением этого слова и сводилось к его знаменателю.

В огромном зале Дворца культуры тов. Илюхин, докладывая о производственном просвещении масс, пожаловался, что на это дело отпущено 24 000 рублей, но средства эти расходуются возмутительно экономно.

— Израсходовано 482 рубля, — вставляет с места т. Никулеску.

Два забойщика по пути в шахтком об'явили, что четвертый пласт прорывает воду: до того сыпуча кровля.

— Ну, вот и отлично,—отвечает т. Никулеску,,—Мы четвертый пласт,—продолжает он, — и возьмем себе, для ударной группы комсомольцев...

На станции, где маховое колесо наматывает канат, опускающий и поднимающий клеть, потный, как запаренная лошадь, монтер прокричал ему что-то о восьми вагонах, какие вытягивал канат месяца два назад, и о шести, какие вытягивает канат сейчас. На станции — сплошной гул, и в этот гул врываются, как писк, неожиданные звонки. Но в прямой зависимости от писклявых этих звонков маховое колесо ходит то медленно (когда клеть идет с людьми), то быстро (когда клеть идет с углем). В этом гуле я не слышу решительно ничего, даже голоса монтера.

Но Никулеску кивает ему головой:

— Цилиндры... цилиндры стучат...

А две минуты спустя, ухватив за рукав очередного прохожего, на скользком носу которого танцует, как муха, вспотевшее пенснэ, Никулеску доказывает ему «нездоровое явление, когда рабочий не верит клети»...

— Ну, что, — окликнул меня предшахткома, когда промотавшись тенью товарища Никулеску часа три, выплыл я, наконец, к столовой, — видали товарища Никулеску? Он у нас — совесть... так сказать, совесть соревнования.

6. Сорок неполадков

— Что мешает вам в соревновании? — спросил я председателя шахткома Узлового рудника тов. Лазуренко.

— Нам мешают сорок неполадков, — отвечал он.

Спустя час, когда с тем же тов. Лазуренко, пройдя около километра по черному месиву нижнего штрека, вылезли мы через газенок в забой, в прохладной тьме которого голый по пояс человек «клевал» обушком блестящий, серебряный в скупом блеске лампы угольный потолок пласта,— го-

лый этот человек, оказавшийся первейшим на руднике забойщиком т. Мельниковым, — на мой вопрос:

— Что мешает вам в соревновании?

Отвечал, сплевывая на свежий, еще слезившийся смолой распор:

— А сорок неполадков!

Эти сорок неполадков Узлового рудника записаны на бумаге трудным шахтерским почерком и хранятся у секретаря шахткома т. Оголюка, и на шахте все знают, что именно эти сорок неполадков мешают руднику удвоить продукцию, как мечтает о том управляющий шахтой тов. Шишов.

— Вот, — показал мне т. Оголюк, вынимая из шкапа захватанный черной шахтерской рукой регистратор. — Ох, и богатые же есть предложения!

Он с удивлением помотал головой и с той неловкой нежностью, с какой человек физического труда берется за перо, боясь, что оно сломается в его привыкший расписываться топором или обушком руке, раскрыл регистратор и вынул записки шахтеров.

— Вот, например, Турта... Ох, и богатое же его предложение, даром что шахтер и баста... Да вы почитайте, что он тут пишет...

И я читаю:

«Я предлагаю другой способ разработки выемки угля. Без средних штреков, то есть поля сделать немного длиннее, вместо трех полей сделать два поля, при чем этот способ выемки улучшит достачу угля и даст большую экономию. С остановкой среднего штрека улучшится состояние уступов (в прочности), так как при таком способе верхние уступы возможно подбучивать полностью».

— Да ведь это! — в восторге воскликнул т. Оголюк, — чорт его знает, что это. Да вот подсчитайте сами... Сколько стоит рабочая сила при прохождении штрека? Ну, восемнадцать рублей стоит рабочая сила за метр... а при нажиме и все 36... да плюс крепежный материал, столбы, рельсы, взрывчатые вещества... Штрек мы идем метров на тридцать в месяц... Вот вам, если по Турте, упразднить средний штрек, получится минимум тысяча рублей экономии в месяц...

Я с уважением посмотрел на бумажку, которая обещала тысячу рублей ежемесячной экономии, и так как она была смята, как бы зажевана, принялся ее разглаживать.

— Ну, а на деле как? Сделано что-нибудь, чтобы проверить это предложение?

— Да вот, — отвечал Оголюк сразу охрипшим, словно хватил он холодного квасу, голосом, — не сделано пока... Да вы вот еще Баранова... Баранова прочтите предложение! — пододвинул он бумажный, будто нарочно оторванный для того, чтобы скрутить козью ножку, огрызок.

И я читаю:

«В настоящее время я нахожусь надзором по технике безопасности. Присматриваю за исправностью запасных выходов по нашей шахте. Остановлюсь на одном, это — запасный выход — бывшая шахта номер три, которая находится в настоящее время в очень плохом состоянии. Я поднял этот вопрос перед хозяйственниками еще в феврале месяце и чуть ли не каждый день повторял это, и лишь в конце марта приступил к ремонту, и теперь считаю такой ремонт недостаточным, и реальной пользы от него нет, и на то он нам не нужен — всего на два месяца, а потом без надобности. В виду того, что мы достали пласт Юльевский, — это говорит за то, что проходить шурфы не надо, а соответствующий ствол закрепить новым срубом шахты номер три. Вполне обслужат два пласта — Юльевский и Великан — и будет стоить дешевле, чем проходить два шурфа».

— Бумажка-то — рублей на триста потянет! — в восторге сказал Оголюк, подвигая ко мне еще тридцать восемь таких же бумажек, захватанных, неровных, как бы зажеванных, с продавленными, трудными буквами, писавшихся, может быть, на коленях в забое, на спине товарища, на лавочке в нарядной в ожидании смены. Эти бумажки призывали, говорили, кричали, советовали, предлагали, настаивали. Неровными буквами, запятыми, прорывавшими бумагу, трудными словами — в них звучал голос хозяина страны. Бумажки говорили о том, что «необходимо создать на руднике кадровое движение, чтобы из этого кадра пополнять требования шахты», о новом способе раскоски крепи, о новом шурфе, который «необходимо бить снизу, чтобы устранить ремонт отзади», о необходимости посылать в ночную смену крепильщиков для поддержания уступов, «так как уступы дают до 60 градусов падения», о том, что само крепление это нужно производить опытными крепильщиками — «чтоб знали, что делают».

— Папка эта, — с горделивым великодушием заключил Оголюк, — стоит денег. — Он принялся бережно завязывать тесемки регистратора, но тесемки не слушались в руках, привыкших к обушку, и одна из них оборвалась. Тогда Оголюк виновато сколол регистратор булавкой и отнес его в шкап. Шкап бережно запер, как будто хранилась в нем касса рудника, и ключ положил в кошелек, а кошелек в карман, после чего карман ощупал: тут ли кошелек, не провалился ли?

— Куда ж вы убираете? — вскричал я, когда сложная процедура уборки на хранение шахтерских предложений была закончена. — Ведь сами же говорите: — тысячи стоят эти предложения!

— А как же! — подтвердил он, — тысячи и стоят...

— Даже деньги, — продолжал я в запальчивости, — если они лежат в шкапу, не есть деньги... Не деньги есть деньги, а движение денег есть деньги. Как же их прятать, если тут тысячи?

— А так и прячем, — упрямо продолжал он, — на хранение... И даже не поймешь, в чем тут причина? Виновато ли шахтоуправление или виноват шахтком? Но кто-то обязательно виноват... Я вам скажу больше...

Тов. Оголюк наклонился к самому моему уху, хотя в комнате никого не было.

— Раньше про эти сорок предложений шахтеры говорили: наши предложения... В них, знаете, весь рудник видать как на ладони... А как замариновали предложения в шкапу, шахтеры теперь говорят: — наши неполадки... И того, знаете, очень того... За соревнование взялись мы первыми и взялись с энтузиазмом, в первые же дни дали шестьдесят тонн лишку... а как заперли сорок неполадков в шкапу — гаснет энтузиазм как лампа без бензина... Мельников, что давеча видели вы в забое, идет как-то по двору и кричит мне в окно: «что ж, товарищи, мы свое подняли, а вы до сих пор, как куры на насесте!..»

7. Пять минут темпа

В огненной гуте к директору московского «стекло-фарфор-треста» т. Попову, с которым приехал я на константиновский бутылочный завод, во время «темпа» подошел рабочий в прожженной блузе и, тронув его за рукав, спросил извиняющимся голосом:

— Что-й-то, как будто мне ваше лицо знакомо... Случаем не партизанили под Киевом?

— Как же, — отвечал Попов, — был под Киевом...

— То-то, смотрю — личность у тебя знакомая, — продолжал рабочий, — а вон видишь... да не туда, прямо смотри, на верстак... еще мастер,—

и он указал на человека в седых, попаленных гутой усах, который слез в этот момент с верстака и, зачерпнув в горсть воды, вытирал мокрое, в крутых каплях лицо, — тоже был с нами... командиром батареи...

«Темпа» — пять минут, какие отдыхает рабочий после каждого часа от горькой жары гуты, от изумительной своей увертливости, какой позавидовала бы балерина, и какую надо иметь, чтоб не обжечься в гуте от нестерпимого, как полуденное солнце, света, полыхающего в квадратное окошечко. Из этого окошечка баночники, словно свеже сваренную тянучку на ложках, тянут своими баночками стекольные капли. Мы отошли к окну, в окно со степных просторов залетал шалый раскаленный ветер, но здесь, в гуте, казался он ноябрьским. Он подувал, как осенний сквозняк.

Мы закурили и т. Попов спросил:

— Ну, как, товарищи-партизаны, с переходом на машинную бутылку?

Эти вопросы интересовали его в первую очередь. Из Москвы он и приехал за тем, чтобы договориться о командировке сорока московских стекольщиков на механизированное стекольное производство в Константиновке.

— А что ж, — отвечал партизан, — стекло, сам знаешь, — ласку любит... его погладить требуется, взглянуть на него с любовью... бутылка, когда в нее дуешь, она как винтовка у хорошего партизана — в руках смеется. А машина — что ж! Машина восемнадцать тысяч бутылок дует за смену. Скучно смотреть, как бутылка сама лезет...

— Вот-вот, — жадно затягиваясь, перебил его бывший командир, — с лаской своей как раз надуешь! Машина — 18 000, а ты — 400.

— Четыреста — это так, — подтвердил партизан, — за то наверняка, а твои тысячи где? Забыл, сколько стекла набили, пока чертового этого Линча в дело поставили...

Бывший партизан помолчал, любовно, как свое жилище, оглядывая помещение гуты. «Темп» был дан только его верстаку. Остальные верстаки работали, по середине гуты плавилась, как бы качалась в жару печь, посматривая огненными глазами окошечек, и вместе с жарким светом исходил от нее еще еле уловимый гуд: то ли от крошечных огоньков, на которых плавились бутылочные горла, то ли от веселого дзеньканья отшибальщиц, какие легким ударом обмоченного в холодную воду ножа отшибают от баночек бутылки.

— Да-а, — неопределенно отвечал командир, — было время, когда стекольных мастеров крали с завода на завод, а если стекольный мастер сам переходил на другой завод, с ним ехало человек двадцать его семейства и родственников... Наше мастерство считалось все одно, как хорошая картина... Хорошую бутылку или хороший стакан тоже не каждый выдует...

— Вот-вот, — принимая про свое и понятное, перебил его партизан, — машина—что ж! машина стандарт любит, чтоб все было у ней одинаковое... А ручную бутылку возьмешь, конечно, на руку,— она чистая, будто детская слеза, тонкая, как шелк, крученая вся... да и закалку бутылка в ручном выдерживает больше суток, а не пять часов, как на Линче, это тоже почувствовать надо! Ты вот в свою, машинную, кипяток нальешь? Ну, то-то! А я налью. Я ее, матушку, в двадцатиградусный мороз с квасом на погреб вынесу...

— За то, за искусство твое, — перебил командир, — легкие твои ты где оставил? Нигде так не свистит чахотка, как среди нашего брата-стекольщика...

Но старый партизан не сдавался:

— А на твоей машине каждая пятая бутылка лысая...

— Это ты врешь! — испугался командир.

— Зачем мне врать? Я товарища Попова еще в партизанах знал...

— А вот и врешь! Не дает пятую лысую...

Партизан помолчал с минуту, потом сказал деланно-спокойным и оттого очень тихим голосом:

— Погоди, я тебе сейчас докажу...

— Докажи...

— Ты о соревновании слыхал? — начал издалека и с большой иронией партизан, — ну, допускаем, слыхал... Так вот. Скажем, в соревновании подходишь ты к верстаку, у тебя чистота на верстаке, как на церковном престоле, у тебя подвертальщики, баночники, отшибальщицы, относчицы — на руки тебе смотрят, на пальцы! — воскликнул он в восторге. — И вот ты начинаешь! Да тут впустую не дыхнешь ни разу, некогда про дом вспомнить! И вся гута свистит, когда ты наддаешь темпу.... Это тебе что? Это тебе настоящая работа и называется... Ну, а теперь встал ты у своей машины... Что тебе делать? Ковыряй в носу, покеда не заснешь... Все одно: спишь ты — не спишь, а дуть она будет.

Командир выслушал товарища и продолжал с такой же иронией и так же издалека:

— Верно, верно... ты возьми, поковыряй в носу да и засни... а без тебя машина будет дуть бой... Не дула, скажешь? Дула и сейчас дует... Это тебе раз! А второе, что с машиной звание мастера упало, не крадут нас теперь с завода на завод, потому ты и тоскуешь... К верстаку ты и пиво иной раз протащишь, а у машины не запьешь: машина строгость любит, к ней выпившему человеку совестно подойти... Она вдумываться заставляет человека, солидаризирует... А третье: что скучно у машины, — опять врешь. Она, может быть, еще большего искусства от человека требует, потому сама сложнее нашей баночки... Вот хоть капля... на первый взгляд, — верно: каплет себе и каплет... А на деле оказывается, что ты у машины для того и стоишь, чтоб эту каплю насквозь видеть... Если светлая она, беловатая, — что будет по-твоему? Ну, не томись, скажу сейчас... Это значит, что капля жидкая, горяча слишком. А если капля пойдет желтая и как бы короче? Что это значит, смекаешь? Вот то-то и есть! Значит, это капля холодная... И вот, если ты — без понятия, и глаз у тебя не пристрелямши — ни черта ты не увидишь... каплю душой надо понимать, закрытыми глазами видеть...

— Все это я слыхал, — с прежней упрямостью отвечал партизан, — только что ж вам делать в соревновании... вроде как — выстраивайся в рядок и пяль глаза на каплю...

— Соревнование у машины, — отвечал командир, — это преданность и напряжение рабочего к работе.

Пять минут «темпа» кончались. Повертальщики уже влезли на верстак, лениво пошевеливали баночки в корытцах со свеже-налитой вдой, как бы приглашая заспоривших у окна мастеров.

— Пора,— сказал командир,— вот через темп будет отдышка на полчаса, тогда я тебе, товарищ Попов, окончательно доскажу...

8. Три инженера[1]

Когда на Константиновском бутылочном заводе поставили Линча, — машину, дающую бутылки, бутылочники, не без сарказма, оглядев упиравшую в потолок махину с непонятными клешнями и приводами, плюнули и отошли.

— Нет, поверить не могу, — так прощупал общую мысль один из них, — чтоб машина дула бутылки... Не смеет живое стекло поддаться машине!

Машину устанавливали месяцев шесть, и эти шесть месяцев живое стекло не поддалось: машина дула брак. Весь завод в совокупности рабочего

[1] Глава «Три инженера» в сокращенном виде была напечатана в «Известиях ЦИК'а».

его актива и технического персонала обливался пòтом (а без поту в гуте — гроб, сухой человек — болён) в нечеловеческом напряжении, чтобы заставить непокорную машину заменить собой продутые до туберкулеза меха человеческих легких. Но машина не сдавалась, по конвейеру переваренными раками ползли сморщенные бутылки, о горлышки которых старые халявщики с торжеством прикуривали. И речи их к тому времени стали откровеннее: «скорее свиснет рак, чем машина выдует бутылку».

Но вот идет уже третий год, как дует машина во все свои машинные легкие, и бутылки ползут по конвееру красным букетом, и о горлышко их халявщики прикуривают с уважением и от нечего делать: «машина освободила им легкие и руки». С сентября 1926 по июнь 1929 года Константиновский бутылочный завод проделал сложнейшую эволюцию перехода от ручного мастерства (а ручное мастерство халявщика — искусство) к машине, которая не только не усовершенствовала это искусство, а наоборот, начисто отвергла его как самодовлеющую ценность. Машина разоблачила, что секрет, какой обязательно хранит каждый уважающий себя мастер, есть по существу лишь давшийся годами навык. Машина разоблачила, что искусство стекольщика — в чувстве меры, постигнутом инстинктом, и удесятерила инстинктивное это чувство формулой. И «глаз пристрелямши» — добытую привычкой подсознательную точность — машина побила еще более точной, сознательной цифрой. Правда, ручной способ до сих пор дает бутылку термически более стойкую, выдерживающую 20° холода и 80° тепла, а машинную рвет без кваса при 18° холода, но 18 000 бутылок за смену вместо 400 на верстаке, — цифра, которую не осмелишься не понимать. Ныне машина прочно вправлена в жесткое хотение человеческой руки, и бутылочники, ставшие у машины из стекольщиков механиками, не только нашли общий язык с ней, но и сумели упраздненное свое искусство применить ей в помощь. Именно этот доросший до искусства навык дал им силу заставить машину творить пафос созидания, какой звучит сейчас для имеющих ухо еще восторженнее, чем пафос гнева революции.

В сухом протоколе заводских будней пафос уложен в резолюцию:

— Смена В у машины Линча вызывает на соревнование смену Е с тем, чтобы дать 18 000 бутылок.

— Мы требуем, — продолжает протокол, — выполнения следующих технических условий: 1) постоянного давления воздуха на компрессорной станции не ниже трех атмосфер, 2) улучшения охлаждения и обдувания форм, 3) постоянства режима ванной печи и лер, 4) технического осмотра машин, 5) снабжения машин инструментами.

Так живая мысль человека диктует свою волю конвейеру. А соединение закона и воли дает нужные результаты: 14 мая машина впервые выдула 19 000 бутылок за смену. Воля к этой победе была дана молодыми рабочими, главным образом, комсомольцами. Но руками, которые поставили машину, упорно пестовали ее, заставляли и убеждали, — были руки инженера Рохлина, ездившего за машиной за границу.

Наступил вечер. В саду бутылочников досадным, как битое стекло, дрызгом скрипок настраивался оркестр. За дощатой стеной упрямо били в глухой мяч футболисты. Поджидая мастера Н., я мотался по аллее. Справа на площадке натягивали экран, и, поливая его струей из брандспойта, вихрастый паренек все норовил достать присевшего за экраном механика. Слева в танцульке, разукрашенной флажками, как фрегат, неоспоримо серьезная в роговых своих очках девица на глазах облепевших танцульку мальчишек рисовала декорацию к очередному спектаклю. Девица поглядывала грозно в два барабана своих очков, и от сладкого ужаса у мальчишек, как у галчат, пораскрывались рты.

— Да, — говорил мне Н., когда мы, наконец, сели на лавочку под фрегатом, — многое изменила в нашей жизни машина. Что ж раньше? — раньше было голое мастерство. Оно плодило на заводе семейственность, да и как без семейственности встать у верстака? Если двое не захотят — третий не встанет, будьте покойны. Ну, отсюда, конечно, обливание верстаков, и водка, и пиво... На память этому на заводе и сейчас около двухсот рабочих связаны родством... Машина в стекольной промышленности первеющий удар и нанесла родственности этой и мастеровщине... И больше: в нашу жизнь она внесла революцию, заставила нас вдумываться, солидаризировала не только родственников, а всех она отрезвила нас: человеку стыдно подойти к машине пьяному. С машиной поневоле становишься строгим... Но если бы вы знали, как тяжело досталось это нам!

Собеседник кисло покрутил головой, как бы вспоминая утихшую зубную боль, мучившую всю ночь.

— Думали, не одолеем никак... Не идет, да и все. Ползут скрюченные бутылки, растут горы битого стекла, а старые бутылочники прохаживаются вокруг, как на свадьбе, да поглядывают: «Ну, что, свистят ли ваши раки?» Не будь инженера Рохлина,— не поставил бы, нет... Шесть месяцев у машины не спал, не ел, чуть не плакал... Конечно, мы видим, бьется человек головой в доску, ну, и того... Он не спит, и мы не спим, он про обед забыл, и мы не вспоминаем, он утешает: «Ну, пойдет, обязательно же пойдет», и мы за ним: «Обязательно пойдет»; у него тоска по пуду в каждом глазу, и мы ходим тихо, как голуби... В то, что скорее голову разобьет, а не сдаст,— в это мы верили, а в то, что вытянет,— в это мы верили не очень. Не было в нем чего-то, что заставило бы нас поверить не в то, что он — наш (это нынче даже по штанам видать), а в то, что вытянет он, как конь на гору.

Оркестр внезапно, будто кашлем, подавился полькой. Собеседник снова и тем же кислым жестом покрутил головой.

— И вся фигура его такая,—продолжал он, напрягая голос, чтоб я слышал его в реве раскашлявшейся польки, — взять хоть ту машину... Чему научила нас машина? Она научила строгости... Так дай же строгость, подними ее, как шапку на параде: кому, как не тебе первому скидать шапку, раз под твоей рукой задышала сама машина? Если я не так что: задумался, загулял, прозевал,— одерни, тыкни мне, да так, чтоб я запомнил, словно рубль взаймы дал. А он подойдет сзади тихо, как босиком, скажет тихонько и не поймешь: не то он просит тебя, не то он жалуется на что... И лицо у него,— будто виноват он в том, что по земле ходит и хлеб ест. И на собраниях сидит, как гость, как-то сбоку. Нет, не сбоку, ты во мне сиди! Ты требуй с меня, требуй, как умел требовать с машины. Да будь у меня такие знания! — тут собеседник мой даже привстал от восторга, разодравшего лицо его в светлую улыбку, — да я б заиграл, как скрипка та! Да около меня народ, словно мошкара, завился! Я б, как гром, гремел на сто верст кругом, чтоб все ребята слышали! Меня бы гордость моя выше собственного роста подняла — вот что! Ты, если есть чем, — гордись! Другому на тебя не завидно, а радостно станет. Он по тебе равняться будет! Ты — первый! Так тяни, а не на нас оглядывайся! Да вот он — легок на помине. Сам идет, смотрите...

Со стороны танцульки, где непобедимая декораторша уже укладывала свою мазню, вышел человек в теплом (а вечер был легкий и горячий, дула в него донбасская степь неостывающим ветром трав) демисезоне с нахлобученным нескладным, как недоспевший пирог, шлюпиком. Руки его были зябко засунуты в карманы. Он шел неверной, глазами в землю, очень осторожной — так ходит босиком человек, впервые снявший ботинки — поход-

кой, на перекрестке двух аллей остановился, качнувшись в раздумьи, скользнул добродушно-рассеянным взглядом по мазне, одинаковой во все времена земного шара, то ли зевнул, то ли рассмеялся и, прикрыв рот рукой из вежливости или из опасения, чтоб серьезная девушка не видала его улыбки, свернул за угол.

— Видите, — с горьким торжеством продолжал мой собеседник, — на носках по жизни ходит... Но вот чего не пойму я никак! С чего бы это? Или во всех их, таких, как он, вина, что ли какая сидит, что не дает им вздохнуть во все легкие, так, чтоб и нам было слышно? Или забиты они прежним строем были так, что горели, как свечки, а большого пожару не давали?

Таково было первое мое впечатление о человеке, руки которого дали возможность осуществиться большой воле большого завода. Но первое это впечатление, всегда, впрочем, верное в писательском нашем ремесле, в дальнейшем, когда о делах и днях этого человека я узнал больше, — не только не опроверглось, но лишь подтвердилось...

***

Возле кабинета Федора Федоровича Лидтке — часовой. В кабинете Федора Федоровича Лидтке — прозрачная, затененная шторами прохлада. В ней еще ярче светится черное стекло, щитом укрывающее письменный стол. Сквозь прозрачноглазые дверцы резного шкапа алмазятся образцы изделий константиновского зеркального завода, главным инженером которого Федор Федорович состоит. На черном щите — ни одной бумаги. В стакане — острые, как птичьи когти, карандаши. Чернильницы налиты доверху, но края их вытерты до блеска, и косой луч солнца, отражаясь в натертой их чистоте, упирается зайчиком в большой, по-настоящему художественно нарисованный портрет Ленина (обычно в кабинетах директоров и в завкомах портреты бездарны, тусклы и засижены мухами).

Федор Федорович — человек тех средних, переходящих в старость лет, когда ежедневное бритье, гимнастика и холодные души делают годы человека растяжимыми, как резиновый, прячущий сутулость бандаж. Может быть, 33, может быть, за 40. Он, стоя (перед ним стоял только-что кончивший вуз инженер) заканчивал прием, видимо, резюмировал:

— Я требую, — говорил он, каждое слово, как на блюде, подавая с той медлительной, уважающей себя неторопливостью, с какой русский человек умеет только обедать, — чтобы инженер завода, которым я руковожу, умел делать все, что умеет делать каждый рабочий завода... Вы на два месяца наденете прозодежду и сапоги и пройдете весь завод от самых низких категорий до стола. Работать вы должны уметь не только вприглядку, чтобы рабочий верил вам и слушался ваших распоряжений беспрекословно...

— Но, товарищ, — осторожно перебил его молодой инженер, — меня прислали к вам на место инженера, а не на место рабочего...

— Вы будете инженером, — продолжал он с упрямой сухостью, — не раньше, чем проработаете два месяца рабочим... Больше я вас не задерживаю.

Молодой инженер, виновато теребя кепку, подался к двери. Федор Федорович, пряча улыбку, напомнившую мне почему-то снующий челнок, сказал ему в догонку:

— Если у вас вопросы какие-нибудь... после пяти ко мне запросто...

На Федоре Федоровиче — старенький пиджак в кругах рыжего от пыли масла. Он вынул платок, бережно, как драгоценность, вытер им руки. Блестящая от масла рука легла на стол с уверенностью, с какой ложится рука моряка на штурвал. Должно быть, он сам только что пришел с завода.

С приглядывающейся внимательностью, какая отличает моряков и естествоиспытателей, выслушал он мою просьбу о разрешении осмотреть завод. Пока я говорил, в дверь просунулась сначала чья-то голова, за ней рука с папками; он отвечал нам обоим, прежде тому, пришедшему по прямому делу:

— Пожалуйста, через две минуты (это относилось ко мне). Я дам вам пропуск (это относилось к голове, кивнувшей в ответ), но с условием, что с завода вы уйдете также через мой кабинет или через мой дом в шесть... Мы должны ценить и ценим каждый свежий глаз, который может увидеть то, что, приглядевшись, уже не видим мы сами...

Я пришел к нему в четверть седьмого, шел, зная, что напорюсь на колючее недовольство его подстриженных усов. Дав слово, я опаздывал и тем нарушал порядок. И действительно: он встретил меня у калитки, одетый в шелковую рубашку, свеже выбритый, в руках у него лязгали садовые ножницы, которыми сердито подстригал он сирень. Пропуская меня в сад, он с почти юношеской стремительностью нагнулся и отстриг фиолетовый какой-то, выросший не на месте цветок. Меня он усадил в гамак, в котором качалась смятая, расшитая блеклым шелком подушка. На столике возле гамака трепетала страницами раскрытая книга, приглядевшись, — я узнал свой роман. Но он не заметил моего смущения, сложив руки рупором и, натуживая щеки, как паруса, отдал якорь в прохладное нутро террасы, откуда с солнечной отчетливостью блестел самовар, и тихо звенел на весеннем сквозняке какой-то хрусталь:

— Лена! У нас гость!

И тотчас, словно она только и ждала этого окрика, из дома — будто отпущенная пружинка — выбежала нарядная, шаловливая женщина-девочка, с улыбкой и движениями ибсеновской Норы, поздоровалась со мной с доверчивой непринужденностью, с какой можно встречать нового человека только в шестнадцать лет, засыпала вопросами о Москве, о новых книгах, о новых пьесах и, не дав ответить ни на один, с той же ибсеновской легкостью скрылась в прохладной террасной глубине. Там под игрушечными ее ножками вздрогнул хрусталь, затем все стихло, и только в мезонине наверху женская рука на мгновение подняла занавеску и, поймав взгляд, свернулась, как птичье крыло...

— Здесь — мой мир, — сказал Федор Федорович, подвигая к гамаку столик с вином и фруктами. Я оглядел цветастый сад, террасу, молчаливый, как спящие веки, мезонин, ножницы, легшие рядом с книгой, и из неловкости отказался. Его тугие, будто врезанные в лоб брови чуть-чуть скосились, — в чем-то я опять нарушал систему, — и тогда, как бы принимая нить разговора, оборванную утром в его кабинете, он заговорил:

— Когда они, молодые, приходят к нам на завод, им кажется, что они знают все... тот, что пришел сегодня при вас утром, также знал все... Но ровно в пять он был у меня, признался, что, кажется, он не знает ничего... Для таких молодых теоретиков рабочие становятся дядьками, но я требую, пока я могу требовать, чтобы инженеры были дядьками своих рабочих... Инженер должен уметь сменить любого рабочего на своем заводе, а белоручкой ты можешь быть дома...

И он долго говорил о том, что, по его мнению, молодые инженеры плохо грамотны, что у них нет способности к абстрагированию, к отвлеченному мышлению, без которого трудно не только читать романы, но и рассчитывать трансмиссии, что московские, киевские и харьковские учебные заведения дают все же лучших инженеров, чем одесские и житомирские. Он говорил с таким же медлительным уважением к своим словам, с каким давеча вытирал белым, как кипень платком руки, с каким только-что подстригал сирень, а сейчас наливал вино и, должно быть, работал. Слушая

равномерную, как чтение, речь его, я вспомнил слова одного зеркальщика с его же завода о том, что мастер «дает стол» в 2 часа 10 мин., а «сам» может «дать стол» в 1 час 45 минут.

***

— Да вот, постойте, — отвечал директор на просьбу мою осмотреть завод, — я скажу Александру Александровичу...

Также ответил он и директору из московского «Стеклофарфортреста» г. Попову, приехавшему на Константиновский стекольный завод договариваться об обучении сорока московских стекольщиков механизированному производству.

— У нас, знаете ли, все нити, — показал директор на кабинет главного инженера, — все нити завода отсюда...

Мы вошли в кабинет главного инженера завода Трусова и, следуя молчаливому приглашению его высохшей, цыплячьей руки, покорно сели у стола Прямо против нас, сгорбившись, сидел человек с лицом спитым, как чай, разрисованным ранними, оттого как бы врубленными морщинами. Перед ним лежала блинообразная папка бумаг для подписи, сверх нее — пачка дешевых папирос, которую он нервно перекладывал с одной бумаги на другую. В кабинете, кроме нас, вошедших, находились еще два человека. Рядом с т. Трусовым сидела женщина-инженер. Она с ожесточенным хладнокровием прислушивалась к разговору, который, видимо, уже давно вел Трусов с высоким, чернявым человеком в зажеванном пиджачке. Чернявый человек размахивал руками и так ломался в талии, по пояснице, что на него было страшно смотреть. Ожесточенный же разговор велся из-за десяти рублей, какие требовал чернявый за дополнительно составленную им по должности счетовода или табельщика ведомость. Он умело, как ручкой, оперировал острыми словами «охрана труда», «нагрузка», «сверхурочные работы», но из его же слов получалось, что составление табели, за которую требовал он дополнительного вознаграждения с будущего времени, может быть, с завтрашнего дня входит в порядок очередных его работ.

— Мы не можем платить вам за то, что входит в круг прямых ваших обязанностей. — Эту фразу Трусов повторил раз десять, но чернявый именно этой фразы не понимал.

— Александр Александрович, — взывал он, откручивая пуговицу на пиджаке, — будет входить — согласен, но пока-то ведь не входит...

— Нет, входит, — продолжал Трусов голосом треснутым, как стекло, — оно было вам поручено...

— Да вам-то что? — в изумлении вскричал, наконец, чернявый. — Из своих, что ль, будете платить?..

— Хуже, — из заводских, — коротко отвечал Трусов.

Может быть, формально чернявый был прав. Но из упрямства Трусова не только мы, посторонние, но и сам чернявый видел, что прав — Трусов, и важное для него в этом деле в другом, а не в цифре. Конечно же, это был тот самый рвач, узаконения и распоряжения по наркомату труда знавший лучше прямых своих обязанностей. Они спорили еще минут двадцать, мы терпеливо потели за столом напротив, женщина-инженер хладнокровно вздыхала. И когда бросив, наконец: «ну, если не так — что ж! увольняйте, Александр Александрович!» — чернявый угрожающе застегнул пиджак и вышел, — и все остальные, видимые нашему глазу дела были решены в несколько минут. Московский директор протянул Трусову список командируемых рабочих по специальностям, — вытаскивая папиросу, прикуривая, Трусов читал бумажку, сморщив лоб, отчего все складки сухого его лица завязались в клубок на лбу. Потом он черкнул карандашом в углу списка две буквы.

— Можно давать телеграмму в Москву, чтоб рабочие ехали?

— Конечно, пусть выезжают заблаговременно, а вы в цехах договоритесь, — отвечал Трусов.

И тотчас, ни секундой позже, нить вошедшего в норму делового дн была поднята дальше.

— Александр Александрович, — сказала женщина-инженер, — комисси Рухимовича снизила нам себестоимость на 12,7%, а когда мы выполнили добавила, как вы знаете, до 17,5%. На апрель мы показали 19,3%... Какой процент мы можем принять за основу при соревновании?

Трусов жадно затянулся, спросил:

— А если 22, как вы думаете?

Он улыбнулся при этом, и это была единственная улыбка, какую я видел на лице Трусова за несколько дней. Женщина-инженер встала. Тов. Попов пошел в цеха договариваться. Я получил пропуск на завод. В месткоме я снова встретил чернявого. С противно-липким смешком заискивающего в силу личных отношений человека он доказывал секретарю месткома, что из полученных путевок в Крым — одну должен получить он.

Когда чернявый, наконец, вышел, я спросил секретаря о Трусове.

— Александр Александрович! — вскричал он с восторгом. — Да это ж бесподобный человек! Да у нас все дышит Александром Александровичем! Да у нас нет ни одного винта на заводе, ни одного метра стекла, которое он не общупал бы своими руками! Нет ни одного рабочего, который прошел бы мимо него. Если по машине — кто лучше Александра Александровича вложит машину рабочему в мозги? Никто лучше его не вложит! Коснись так что? К кому податься? Опять же к Александру Александровичу. А как работает! Знаете, когда он устанет — его за плечи к потолку подвешивают.. Сам устает, а голова нет... Когда он болел,— мы его из квартиры в кабинет на руках носили... Ходить не мог, ну, а работать надо... Вот настоящий хозяин, и не за одного себя, а за всех нас...

— Даже таких, какие, как вот тот, что только-что у вас был...

— Да, — продожал секретарь с тем же восторгом, — даже таких, которые не понимают этого...

В ответ я стал говорить ему о желтизне трусовского лица, которое желто и сухо от невозможности для одного человека быть нянькой, совестью карманом, верховным судьей и главным инженером для 1 748 рабочих, и что тем 995 партийцам, кандидатам и комсомольцам, ближайшим его товарищам по партии, какие есть на заводе, надо беречь Трусова так же, как берегут дорогие машины. Но секретарь слушал меня рассеянно, и, не дослушав, воспользовавшись паузой, звонил минуту спустя по телефону:

— Александр Александрович!.. будете сегодня в пять на интехсекции? Ах, вот что, пленум райкома... так, так... Тогда, значит, в восемь, прямо с пленума, а? Смена в девять, говорите... Ну, что ж — до девяти, я думаю успеем...

Три инженера...

Служение и подвижничество я видел в одном. Система отличала другого. Воля, собравшая в кулак весь интеллект, была присуща третьему.

Что возьмет от них тот молодой, что, надев прозодежду, встал шуралем (кочегаром) у зеркального стола, к которому — зажатый в щупальцы оседланной машины — едет сейчас огромный глиняный горшок, до краев налитый жидким солнцем прекрасного стекла?

9. Прошлое обязывает

На Константиновском бутылочном заводе этого приземистого, очень коренастого человека с туго натянутым, как бы отлитым лицом называют просто «наш Яков Ермолаевич». Его никто никогда не видел пьяным, никто не примечал его среди играющих в кустах за футбольным полем в запрещенное «очко». Имя его никогда не фигурировало в почетном списке прогульщиков.

— Яков Ермолаевич! — восклицают бутылочники. — Да разве он может! Ему прошлое не позволяет...

Когда константиновский бутылочный завод механизировали, и на смену родимой халяве приехала из-за границы машина Линча — Яков Ермолаевич одним из первых встал у неведомой машины.

— Ну, что ж! — развели руками рабочие. — Это он может... у него прошлое такое...

Сейчас на заводе гута и Линч живут рядом. В гуте — подвижные, как черти, стеклодувы тащут из печного пекла огненные капли стекла, вертят его на баночках, дуют в него, качают огненно-красные бутылки, как в бабушкиных снах качают, должно быть, черти адову серу. Линч — огромная, уходящая под черный потолок машина, из гиганского брюха которой выдавливается нестерпимо блестящий пот стекольных капель для того, чтобы у черной ленты конвейера, медленно текущего в закальную печь, осторожными пальцами зажимов ставить одну за другой неправдоподобно красные бутылки, о горлышко которых можно закуривать. Машина ставит четырнадцать бутылок в минуту.

Но смена В у машины Линча вызвала на соревнование смену Е. И опять непоследним человеком в этом деле оказался Яков Ермолаевич. Это он до поту доказывал, что соревнование у машин заключается в том, чтобы поменьше давать браку. Если в январе Линч дал на бутылках 37,8% браку, в феврале—43,8%, а в марте—33,4%, то брак и можно и должно свести до законных 30%.

И опять я услышал эту фразу, какая произносилась и с уважением и с завистью:

— Яков Ермолаевич!.. А прошлое у него какое!

Мы встретились вечером, как условились, у выхода с завода. Из сада бутылочников уже доносились звуки настраиваемого оркестра. Жара неожиданно теплого весеннего дня подымала с речонки, похожей на помутнелый струп, белесый туман, и он, будто космы седых волос, повисал на прибрежных кустах. Прямо по середине двора темнел серый памятник, похожий на присевшую птицу. Памятник этот — могила тринадцати расстрелянных бутылочников, чьим именем ныне называется константиновский бутылочный завод, и чья фотография — уже зацветшая временем и дождями — прибита под стеклом.

— Вот, — указал мне Яков Ермолаевич на стену конюшни, возле которой я ждал его и от которой пахло сейчас теплым весенним навозом, — с ними (он кивнул на памятник) и я стоял возле этой стены...

И он рассказал мне следующее:

— Произошло это 13 января девятнадцатого года. Мы на заводе ждали прихода добровольцев, но думали, что наши отобьют, так как завод выставил и свой партизанский отряд. Однако в час дня офицеры окружили завод и дали тревожный гудок, чтоб выходили все. Но кто из рабочих решится выйти на такой призыв? Тогда командир ихнего отряда капитан Ханыкин— его убили после и в больницу мне принесли валенки, и валенки я узнал:

его были валенки,— об'явил, что будет собрание, на котором нам раз'яснят, за что борется добровольческая армия. Тогда мы вышли, но нас обманули, окружили, и капитан Ханыкин под угрозой расстрелять каждого десятого потребовал, чтобы мы выдали комиссаров и большевиков. Мы промолчали на это. Тогда офицеры стали отсчитывать каждого десятого, брали за руку и выводили. Я оказался девятым, но в виду того, что одного из братьев Венцелей уже вывели, второй брат Венцель, приходившийся десятым, испугался и упал, и тогда вывели меня. Нас построили попарно, но мне пары не оказалось, и я шел к стене, возле которой вы меня ожидали, один. Шел я, должно быть, не в ногу — один офицер ударил меня по шее и крикнул: — «что идешь не в ногу?» Когда привели нас к конюшне, скомандовали, чтобы мы становились к стенке поближе и потеснее, чтоб пули не пропадали зря. На дворе в это время никого не было, на ворота был наведен пулемет, но на экстокаде я увидел четверых детишек, они плакали и кричали нам. Когда мы встали у стены, Ханыкин вытащил шашку и скомандовал: «пальба шеренгой» и «пли». Они дали по нас три залпа и два залпа в лежачих. Я упал вместе со всеми. Мы кричали: «кровопийцы, что вы делаете?» — и раненых они добивали из ноганов. После залпов офицеры от нас отошли, и произошла пауза минут на пять. Но потом офицеры подошли опять и стали нас разувать, сапоги у нас были хорошие, и с пятерых они сняли. Сняли и опять отошли. А как отошли они,— подбежали наши женщины, и чья-то старуха наклонилась ко мне, щупает мое лицо и понимает, что я жив. Я открываю глаза и в ее глаза смотрю, как в небо, а она мне шепчет: «лежи, сынок, лежи!» И только закрыл я глаза,— опять верхами едут двое офицеров, и один говорит другому, а чувствую — про меня:

— Ранен тяжело... надо добить...

— Не надо, — отвечает другой, — дойдет и так...

— У меня винтовка не чищена, прочистить надо...

— Не стоит, — опять отвечает другой, — поедем на вокзал, там прочистишь...

От'ехали они саженей на двадцать, и я решил бежать, но только успел подняться на ноги, смотрю: впереди меня еще один покойник как вскочит, да во все ноги... Оказался Иосиф Щербак. Так мы с ним вдвоем и скрылись, и я прямо домой... Мать с радости, что я жив остался, упала в обморок. А я пролежал в больнице с простреленной грудью почти четыре месяца, восемь дней не могли унять кровь...

— Вот, — закончил Яков Ермолаевич, — больше десяти лет прошло, а все помню, будто вчера...

После его рассказа я понял значение этой фразы: «Яков Ермолаевич, он может... у него прошлое такое...» Вот почему никогда не видели Якова Ермолаевича нетрезвым. Вот почему имя его никогда не стояло в списке лодырей и прогульщиков. Вот почему, когда привезли на завод машину Линча, — Яков Ермолаевич встал к нему один из первых. И вот почему сейчас он один из первых в соревновании:

—Прошлое обязывает.

Константиновка—Горловка.

Поэт революционного подполья

(К 60-летию Сергея Александровича Басова-Верхоянцева)

А. Ефремин

Власти всегда расправлялись с неугодными писателями грубо и неприкрыто. Английскому поэту Джонсону Бэну за оскорбление правительственной партии чуть не отрезали нос и уши! Что ж, этот писатель был относительно счастливее других, поплатившихся головой. Самым жестоким преследованиям подвергалась во все времена сатира. В дикое неистовство впадали власти, когда писатель к тому же еще оказывался профессиональным революционером: тогда его творчество подвергалось форменной травле.

Басов-Верхоянцев был ненавистен царскому режиму «по совокупности»: и за революционно-сатирическую литературную деятельность и как профессионал-революционер. Памфлет на «царствующий дом» под названием «Дедушка Тарас» привел в бешенство Столыпина, приказавшего во что бы то ни стало разыскать автора-«негодяя». За поимку автора «Конька-Скакунка» назначена была награда в 6 000 рублей. Дворник, выдавший полиции подпольный книжный склад, где хранились запретные произведения Басова, получил 500 рублей. Азеф так и говорил о Басове-Верхоянцеве: «Вот живые деньги ходят»...

Нечего удивляться, если иные произведения Басова помечены по месту написания так: «Пересыльная Бутырская тюрьма» или «Петропавловская крепость» и т. п. Обстановка творчества выявляется хотя бы из такого отрывка воспоминаний автора:

«Дописывал я «Конька-Скакунка» в Питере, опасаясь обысков. Часто уходил ночевать к кому-либо из знакомых, забирая с собой рукопись. В одну из таких ночевок нарвался на обыск. Сказка чуть не погибла. Часа в два ночи звонок. Пока полиция грохала в дверь, вся квартира успела одеться. Я свернул в трубку тетрадь, раздумывая, куда бы ее сунуть.

Входит в комнату девица.

— Сергей Александрович, у вас есть что-нибудь?

— Да вот боюсь, как бы не увели моего к о н я.

— Давайте спрячу.

Она подняла матерчатую штору окна, и в отвисшую мешком поперечную складку опустила мой сверток.

Обыск делали довольно усердно, но никому в голову не пришло опустить поднятую в моей комнате занавеску»...

В этакой-то обстановке, в 1906 году,— между делом (а д е л о заключалось в организации покушения на убийство царя, вел. князя Владимира, царских сатрапов — Дубасова и Трепова) Басов-Верхоянцев написал знаменитого «Конька-Скакунка».

***

Когда появилась известная сказка П. П. Ершова «Конек-Горбунок» Пушкин был в восторге. Он из'явил намерение содействовать автору в издании этой сказки по самой дешевой цене в огромном количестве для распространения по всей России. Сказка, как известно, в самом деле пользовалась громадным успехом. Уже при жизни автора она выдержала восемь изданий. Впоследствии она переиздавалась под разными названиями и в различных переделках бесчисленное количество раз, расходясь в сотнях тысяч в среде массового читателя. Появилось множество подражаний. В 70-х годах биограф Ершова сетует, что «спекуляторы используют в своих выгодах любовь широкой публики к сочинению Ершова».

Нечего и говорить, что к тому времени, когда Басов задумал своего «Конька», массовый читатель возрос неизмеримо по сравнению с эпохой Пушкина и Ершова. Так называемая лубочная литература получила широкое распространение. Так, по подсчетам некоторых исследователей, уже в 80-х годах ежегодно расходилось до 25 миллионов народных изданий. Правда, здесь немалое место занимала лубочная литература в тесном смысле слова, литература, рассчитанная на низшие вкусы широкого потребителя, как, например: «Джек — таинственный истребитель женщин», или «Грехи молодости», или варварский плагиат классиков, как-то «История о том, как Хома Горобец купил сам у себя свиную тушу, истинное происшествие, сочинил Голохвастов» (это ни более ни менее, как перекройка «Сорочинской ярмарки»). И вот Басов, поэт-революционер, задумал отвоевать у издателя-лубочника массового читателя, а читатель этот широко покупал сказки в стихах. В этом легко убедиться, если просмотреть старые каталоги лубочных издательств. Там на ряду со сказками неизвестных авторов находим в большом числе сказки Пушкина, Жуковского, Ершовского «Конька-Горбунка» и бесчисленные варианты и переделки этого последнего.

Басов учел вкусы широкого читателя и написал свою прокламацию в стихах, знакомых уху этого читателя. Крестьяне, солдаты, рабочие, окраинный городской житель накинулись на Басовского «Конька-Скакунка» с жадностью. В короткий срок распространено было свыше полумиллиона экземпляров. Поэт-массовик попал в самую точку. Редкое литературное произведение получало в массах подобный отклик. В тиражности только Демьян Бедный впоследствии затмил Басова-Верхоянцева: до него ни один поэт не пользовался таким стихийным признанием.

«Конек-Скакунок» был написан не для легального издания. На это было трудно рассчитывать даже и в 1906 году. Партия эсэров отказалась печатать у себя «Конька-Скакунка»: она требовала исключить главу о немедленном введении в России социалистического строя. Издатель все же в конце концов нашелся, и книжка вышла в свет. Принимая ее за сказку Ершова, полиция долго не препятствовала ее распространению. Когда же возникли смутные слухи о соблазне, вызываемом этой сказкой, в цензурном комитете вспомнили, что Ершовский «Конек» в самом деле несколько раз подвергался запрету и купюрам, но это, дескать, дело старое,— и махнули рукой. А надо сказать, что Басов-Верхоянцев принял все меры, чтобы сделать своего «Конька» как можно более «Ершовским», как можно более схожим с «Коньком» старика Ершова. Обе сказки написаны одним и тем же стиховым размером; построены обе на одних и тех же исходных чудесах; фигурируют те же персонажи; упоминаются те же имена; наконец, Басовым вставлены в первые главы целиком отдельные стихи из Ершовского «Конька». Уловка удалась на славу: то самое, что так располагало и улавливало читателя,— служило иммунитетом от нападения полиции. Сказку переиздавали много

раз и многие издательства и в столицах, и в провинции; печаталась она и за границей, и даже в Америке.

Успех этот не случаен. Басов-революционер оставался революционером и тогда, когда брался за перо. Его привлекала не просто литературная деятельность, а именно та струя литературного творчества, которая несет революционный фермент в самую гущу трудящихся. Читателем своим он хотел видеть матроса, солдата, рабочего, а больше всего — крестьян. В поисках путей к этому читателю Басов использовал готовую колею, проторенную лубочной сказкой. Это определило его литературный жанр навсегда. На этом литературнотворческом поприще стоит он и поныне. Он пишет сказки, былины, побаски, лубки и пр., заряжая их современными идеями, революционным содержанием. Используя композиционные и стилистические приемы народного эпоса, он привлекает этим самого неподготовленного читателя. Снабжая сказку традиционными сказочными формулами, он вводит читателя в знакомое русло понятий и овладевает вниманием там, где читатель сырой и неискушенный настроен равнодушно и даже враждебно к неприкрытой, голой агитации.

Разумеется, дело это тонкое, и далеко не каждому дается это искусство. Срывается подчас в этой сфере творчества и опытный, чуткий художник. Не всегда одинаково ловок и сам Басов-Верхоянцев. Так, стилистическое оформление былины «Калинов-град» не мотивировано, тем более, что медлительность и спокойствие былинного сказа вступает здесь в явную коллизию с темой острой и злободневной.

Но во всей совокупности своего творчества Сергей Александрович Басов-Верхоянцев несомненный мастер, выдающийся поэт, оригинальный, самобытный, первый из наших поэтов, поставивший целью завоевать для революции самые неподготовленные массы читателей. Он — поэт самой боевой отрасли литературы. Аполитичная поэзия для него, отдавшего все лучшие годы революции,— художественная безделка, ибо недопустимо в эпоху революционных потрясений равнодушие к революции. Поэзия должна служить высоким социальным задачам, призывая к волевому напряжению, к прямому действию, к борьбе. Когда-то Гейне назвал Георга Гервега железным жаворонком: этот образ подходит еще в большей мере к Басову-Верхоянцеву.

В своих известных мемуарах «Запечатленный труд» Вера Фигнер вспоминает, как ее полная тоски элегия попала из казематов крепости в журнал «Русское богатство», переданная туда вышедшим на волю шлиссельбуржцем, и как на следующей странице книги был ею найден бодрящий ответ, заканчивающийся так:

Рок не всегда грозит бедою,
Не вечно длится ночь;
День недалек, и пред зарею
Уходят тени прочь.

В течение долгих лет имя автора, пославшего привет в застенки Шлиссельбурга, оставалось неизвестным. Стихотворение было написано Басовым. Оптимизм, которым оно проникнуто, свойственен всему характеру автора и окрашивает неколебимою бодростью и отвагой все литературные произведения его, как и все его существо. Басов никогда не унывал. Ни в мрачные годы реакции, ни в долгой якутской ссылке, ни тогда, когда избиваем был в тюрьмах до полусмерти; он не падал духом, когда попал в цепкие лапы Азефа; бодро шел он на *работу* в боевую организацию максималистов, не бросая ее и тогда, когда заболел изнурительной болезнью «боязни пространства». Боевой дух его сказался и в революции пролетарской, когда

он, не взирая на свой зрелый возраст, вступает в коммунистическую партию. Эта-то непреклонность революционера и сказалась в литературных произведениях Басова.

Басов-Верхоянцев проявил себя также в качестве выдающегося мастера мемуаров. До сего времени опубликованы лишь воспоминания «Из давних встреч», касающиеся И. П. Каляева и Азефа. Сейчас автор работает над продолжением своих записок. Надо пожелать, чтобы они появились как можно скорее: желать этого нас побуждает тот интерес, с которым читало молодое поколение уже опубликованные страницы этих воспоминаний из эпохи революции 1905 года. В те годы Басов работал с социалистами-революционерами, которые и тогда не были, разумеется, социалистами, но поскольку дело касалось борьбы с царизмом, заслуживали в то время названия революционеров. Но это были не пролетарские революционеры, а мелкобуржуазные. Уже в 1901 году ленинская «Искра» вела борьбу против эсэров, разоблачая истинную сущность этой будущей партии «социалистов-реакционеров». Но в то время эсэры совершали эффектные террористические акты и увлекали энтузиастов. Вот почему вступил в боевую организацию и Басов Верхоянцев. Он никогда не был правоверным эсэром. «Я,— пишет он,— считал себя тогда (канун революции 1905 г.) вполне уже установившимся марксистом. Однако, революционные связи и прежние мои народовольческие влечения повели меня к террористам»... В те времена, когда ближайшей задачей почиталось свержение царизма, случалось подчас так, что иные революционеры, считая себя марксистами, уходили к эсэрам или наоборот. Так, Каляев сперва состоял в партии с.-д., а затем вступил в боевую организацию эсэров и все же продолжал считать себя марксистом. Так было и с Басовым. В сущности он не был ортодоксальным эсэром, а тянулся к крайнему левому течению трудовиков, к максималистам. Как максималист, он стоял за немедленную социализацию земли, фабрик, заводов и крупного домовладения, о чем всеми словами сказано в «Коньке», и этот-то пункт и отпугнул от него эсэров. Однако близость к эсэрам не прошла даром. Она больше сказывается в старых творениях, но следы былых настроений можно наблюдать и в позднейших литературных произведениях Басова. Так, им в настоящее время закончена драма-лубок, нечто в роде агитки на манер «Царя-Максимилиана». Называется драма «Царь-капитал», и вот здесь в составе персонажей находим рабочего, а зовется он батраком, хоть различие между индустриальным пролетарием и сельскохозяйственным батраком автор усвоил вполне. Но суть в том, что в «Коньке-Скакунке» рабочие еще зовутся батраками,— вот где надо искать истоков заблуждений. Далее, в «Расее» (написана в 1923 году) 9 января соединено с песней о Топоре. Но в общем «Расея» несомненно трактует события вернее, нежели «Конек-Скакунок». В «Расее» правильнее освещена роль пролетариата, вскрыта контр-революционная сущность эсэров и пр. А в «Коньке» Басов рисует нам кулацкий рай; здесь звучит лозунг «земли и воли», заметно стремление об'единить и слить пролетария с мелким производителем в одну «трудовую группу» и пр.

В 1908 году Басовым была издана в подпольном порядке сказка «Черная сотня». За нею также гонялась полиция, она тоже переиздавалась многократно под разными наименованиями. Здесь также автор пользуется испытанным уже приемом обновления готовой сказочной ткани. Читатель, несколько уже подготовленный к революционной сказке, ищет ее; возможно, что он конспиративно спрашивает о такой сказке. Автор понимает его и сразу вводит читателя в суть вопроса: «Не сказать ли, братцы, сказку наново? У царя было у Романова...» После этого вступления читателю остается или спешить в полицию с доносом, или дочитать необычайную сказку

до конца. А в сказке развертывается трафаретная картина «п о т р е о т и ч е с к о й» манифестации с молебном, выпивкой, крестным ходом, провокационным выстрелом и пр. Погромы организовывались местными властями по указке из департамента полиции (см. разоблачения бывшего директора департамента полиции Лопухина), по общему шаблону и направлялись они, главным образом, против евреев и интеллигенции. План стандартного погрома, всюду одинаково повторяющийся (погромов было организовано властями свыше сотни), изображен Басовым-Верхоянцевым с наглядной убедительностью. Не удивительно, что полиция ополчилась и на эту сказку, вылавливала ее, а сказка переиздавалась вновь и вновь под разными заголовками и в разных типографиях.

По тому же плану революционной сказки выполнен и «Дедушка Тарас», написанный в 1907 году. Этот памфлет взбесил «царствующий дом»; Столыпин впал в небывалую ярость. Книжка, как говорили в то время, стоит хорошей бомбы: после того, как первый завод был напечатан, нагрянула — по доносу Азефа — полиция и зверски расправилась с рабочими, набиравшими текст, метранпаж был арестован, гранки уничтожены, типография подверглась разгрому. А «Дедушка-Тарас» продолжал путешествовать и делал свое дело. В это же время написан памфлет «Что делал король французский со своим народом и что народ сделал с ним». Басов-Верхоянцев стал широко известным писателем. Книги его расходились в сотнях тысяч, имя его преследовалось, и чем больше оно преследовалось правительством, тем большую оно приобретало популярность. Уже за чтение его сочинений предавали суду. Уже кое-где протекали судебные процессы. Но для б о л ь ш о й литературы имя Басова не существовало. Ни один критик о нем не писал. Нигде не упоминалось его имени. Заговор молчания: буржуазная пресса замалчивала его, как замалчивала она все, что касалось революции, от коей она открещивалась всеми силами и способами. Толстые журналы перполнялись порнографией и эротикой, царили стилизаторы, водворялась патологическая литература, уходили со сцены одни божки, воцарялись новые кумиры, но нигде не упоминалось даже имени самого популярного в самых широких массах поэта. Его нарочито третировали молчанием, его не замечали. Так расправлялась буржуазная литература с революционным поэтом.

Оценку этим литературным закройщикам дал Басов-Верхоянцев в сатире «Король-Бубен». Едкость этого произведения направлена против догматиков, попов, профессоров, писателей, юристов,— против всех носителей старой идеологии, против п о р т н ы х (так они окрещены в памфлете), создающих эффектные маскарадные одежды-идеи, прикрывающие эксплоататоров. Эта декорация «с наговором» отводит глаза трудящимся, зачарованным общим обманом и массовым внушением. Но вот нашелся смельчак (с точки зрения недалеких и косных обывателей, он — д у р е н ь), громко заявивший, что красивая оболочка — обман, и вот очарование спадает, угнетение предстает во всей своей неприглядной наготе, и старый режим обречен. Сказка имеет не только историческое значение. Борьба с отжившей идеологией и с ее носителями продолжается и в наше время со всей ожесточенностью. Еще не изжиты основы религии, еще крепок авторитет буржуазной морали. Еще немало надо поработать, чтобы воочию вскрыть голый обман старого мира. Басов борется против суеверий и предрассудков, плодов и наследия былой «культуры». Он создает поэму «Калинов-град», направленную против антисемитизма. В 1920 г. он пишет остроумную и убедительную агитку «Про скупого Прова», направленную против эгоистических поползновений мелкого собственника. После введения нэпа, в 1921 г. Басовым-Верхоянцевым была напечатана в «Известиях» «Сказка о золотой рыбке». Она имела целью показать, к чему могли бы привести наши уступки буржуазии.

Сейчас печатается поэма Басова «Хлопий бунт». Она создана в 1928 г. В основу поэмы положен текст произведения Бруно-Ясенского «Слово о Якубе Шели». Тема — восстание крестьян Западной Украины 1846 года. Западная Украина находилась в то время под властью австрийского императора. Восстание было поднято против помещиков, люто эксплоатировавших своих крестьян:

Не счесть на панском поле
По зернам спелой ржи,
Не перемерять горя,
Что вытерпел мужик.

Мужик апеллирует к властям, но власти стоят на стороне панов. Высший этап — император — также на стороне поработителей. Но ведь существует небесная справедливость, и попы и евангелие уверяют, что небо защищает угнетенных. Четвертая глава басовской поэмы повествует о том, как простак Емеля встретил ненароком Христа-Спасителя. Наши дворянские поэты умилялись от подобных встреч. Всем памятно стихотворение Тютчева «Эти бедные селенья» и комментарий к нему Аксакова. В разбираемой поэме мы находим как бы символический финал таких христовых визитов в «край родной долготерпенья»... Узрев бунтующего хлопа, Христос отверз сахарные уста и молвил:

Усмотрел я всевидящим оком,
Что у вас тут хлопы панов бьют,
Из барских кишек веревки вьют.
Ведь это непорядок!
Мне уж и рай стал не сладок.
Сердце-то у меня полно любови,
Не могу я зреть панской крови...

Емеля дает достойный ответ:

Всего только неделя, как наши
лютых панов бьют,
Из панских потрохов тяжи вьют,
А уж ты, Иисусе, стал беспокоиться,
А где же была вся ваша троица,
Когда столько веков
Паны били мужиков?

Басов-Верхоянцев написал немного. Нынче печатается полное собрание его сочинений. Оно не велико по об'ему. Но значение творчества поэта-революционера определяется не только размерами его продукции. Басов-Верхоянцев развил с небывалою энергией поэтическое творчество в революционном подполье. Он первый создал массовую революционную поэзию. Правда, были и до него художественные произведения, распространяемые подпольно. Но те предназначались для небольшого круга посвященных и ходили в среде революционеров и доверенных лиц. Басов создал художественную революционную агитку для неисчислимых масс. И массы эти в количествах небывалых прорвали запрет и ринулись к революционной литературе вопреки рогаткам жандармской охраны. Басов первый из поэтов отыскал и нашел широкого читателя революционной художественной агитки. Он первый отвоевал у лубочника массового читателя. Его «Конек-Скакунок» неотделим от истории 1905 года; произведение это будут помнить до тех пор, пока будет памятна первая русская революция.

Эволюция творчества К. Федина

Мих. Добрынин

I

Образ мещанина

Эволюция творчества К. Федина лучше всего обнаруживает монолитность созданий этого писателя в том смысле, что на всем своем протяжении они выражают отношение городского мещанства, городской мелкой буржуазии к окружающей их действительности. Разнообразие и богатство образов, в которых К. Федин раскрывает это отношение, тем больше, чем большее количество связей и отношений охватывает художник и чем существенней момент, на котором раскрывается отношение мелкой буржуазии в образах.

Конечно К. Федин не смог охватить всех сторон отношения мелкой буржуазии к действительности, но он захватил самую существенную сторону — отношение к революции. Именно на этом острейшем вопросе современности, на этом самом существенном в жизни различных групп отношении к революции обнаруживается классовая сущность творчества К. Федина. Когда К. Федин изображает мещанина, крестьянина, интеллигента, он изображает их так, как они преломляются в сознании и представлении мелкой буржуазии; когда он изображает коммуниста, рабочего, он делает то же самое. Короче говоря, всюду, во всех образах он дает отношение мелкой буржуазии к действительности, раскрывая его все шире, по мере того как увеличиваются об'екты изображения.

Самой существенной стороной отношения, наиболее ярко вскрывающей классовую сущность творчества К. Федина, является вопрос об отношении к русской революции. Здесь происходит сначала расщепление, а затем противоречие и борьба внутри этого отношения. Чтобы уяснить себе это, начнем с образа Анны Тимофеевны из повести того же названия. Образ Анны Тимофеевны и все окружающие его показывают нам городское мещанство в его монолитности, в единстве его отношения к жизни. Жизнь течет в вековых берегах, и надо ей подчиниться, надо вынести все, что падает на долю. Тут нет еще и намека на какой-нибудь протест, тут есть звериная жажда жизни, величайшая живучесть и приспособляемость. Есть цепкость жизни. Образ мещанства выступает здесь как нечто целое, монолитное. Основным моментом, определяющим его характер, является именно эта цепкая покорность и живучесть, выраженная притчею Анны Тимофеевны: «Надо обозу подняться в город — надо прожить жизнь. Груженые кладью воза — годы. Не поднять такого воза — нельзя: бьет и гонит дубьем, поленьями, кнутовищем нужда. И не отличить одного года от другого: в натуге и в обиде каждый» («Пустырь», стр. 38). Эта величайшая приспособляемость, цепкость за жизнь особенно

ярко раскрыты в рассказе «Конец мира». Здесь мещанские добродетели возводятся в принцип жизни, составляющий основную «пружину» образа Порфирия Максимовича. Все это один и тот же образ городского мещанства, который в творчестве К. Федина развернут довольно широко в целом ряде произведений. Если уже в образе Порфирия Максимовича мы видим изощрение приспособляемости в связи с отношением к такому факту, как война, если на этом раскрывается, так сказать, внутренняя сущность городского мещанства, происходит ее углубление, то революция заставила обнаружить самые глубокие тайники классовой сущности. Она обнаружила все до сих пор скрытое и неясное, развернув психику и идеологию мелкой буржуазии до конца. В этом именно смысле говорилось выше, что отношение к революции есть самый основной момент для уяснения классовой сущности творчества. Если бы К. Федин прошел мимо этого момента, если бы он занялся изображением мещанства, мелкой буржуазии, не касаясь вопроса об его отношении к революции, он, конечно, не смог бы скрыть своей классовой сущности, но он смог бы затруднить ее понимание. Некоторые критики так и не рассмотрели в глубокой мучительной драме женщины классовой сущности творчества К. Федина (Анна Тимофеевна). Обнажая свою классовую сущность в вопросе о революции, К. Федин дает более отчетливо понять и те его произведения, которые не касаются этого вопроса.

В образе Порфирия Максимовича мы уже можем заметить, как возможно разделение на два лица; «Города и годы» показывают уже противоположность, через которую выражается классовая сущность мещанства; «Братья» раскрывают противерочие и борьбу и намечают путь к снятию этого противоречия и возвращению снова к цельному образу мещанства. Как конкретно раскрыт переход к противоречию в сущности мещанства, становящейся в творчестве К. Федина? Противоположность дана в образах городов и годов в произведении «Города и годы».

Города

Город имеет не только здания, мостовые, фабрики, заводы, трамваи, автомобили, он имеет не только внешнюю форму, вид, но также и свою собственную душу, свой пульс, свою жизнь, свою психологию и идеологию. Буржуазная сущность дана здесь через противоположность двух образов одного и того же города. В самом деле, посмотрите на Петербург:

> «Дома вымерли, дома провалились, домов не было. Пересекались, тянулись во тьме безглазые, мокрые бока туннелей. По мокрым, безглазым бокам туннелей и по каменным днищам их с визгом и звоном неслась железная шелуха. Косыми плечами мял ветер каменный город, сдирал ошметками сношенную кожу, швырял его в промозглую тьму» (13 стр.).

Петербург Сергеев Львовичей Щеповых, Петербург трудовой повинности. Петербург, покрытый грязью, обшарканный и замызганный, Петербург, измоdo ренный и измученный голодом, Петербург евангельских христиан и Петербург окопных профессоров, чующих новую жизнь, чующих близость к чему-то такому, от чего они всю жизнь были оторваны; Петербург героического подвига, пролетариата, готовящий встречу «высокому гостю» — два противоположных образа.

> «Чтобы из каждого окна — флаги! С каждой крыши — фейерверк! Из-за каждого угла — цветы!.. Ах, из колючей проволоки режется прекрасный серпантин! А из упругих лент навязываются легчайшие банты в петличках режиссеров. И разве точеные снаряды, заряженные шрапнелью, не разлетятся пестрым и веселым конфетти? А толстые, набитые мокрым песком мешки — неужели не

для сооружения киосков? Когда-то хлопали в таких киосках пробки выдержаного секта, но чем же хуже пробок — воющий треск хорошо смазанного пулемета?

И дальше:

«Но высокий гость не вошел в столицу... А как досадно! Какую жаркую встречу приготовил ему Петербург!» («Города и годы», 43 стр.).

Вот стилевой прием, сущность которого заключается в том, что традиционное берется для выявления смысла противоположной картины. Встреча высокого гостя имеет свои узаконенные приемы: устройство арок, флагов, фейерверков, штандартов, знамен и т. д. Но стоило под понятие гостя и его встречи подставить иной смысл, как вся картина превратилась в злую иронию.

Эта противоположность в образах Петербурга имеет свою историю и в романе «Братья:

«Странные, мятежные и смятенные годы беззубой гребенкой счесали с Петербурга завитушки, пуговицы, папильотки, бантики, и город протянулся, как большой голый покойник, упершись чумазыми пятками в Маркизову лужу... Люди верили, что покойник воскреснет, и — каждому по вере его — покойник воскрес... отовсюду полез, повыполз, просочился старомодный, недавно упраздненный Петербург» («Братья», стр. 11).

Другого образа, противоречащего воскресшему покойнику, отрицающего упраздненный Петербург, Федин не дал, не нарисовал. Он не довел противоположность до противоречия и борьбы и не снял этого противоречия новым образом; он сделал проще — развернул заново образ упраздненного Петербурга и таким путем предал забвению образ Петербурга революционного. С об'ективной точки зрения это и знаменует возвращение буржуазной сущности к своему отправному моменту.

Таков Петербург, но вот Москва.

Москва, с ушедшими в землю крепостными стенами, со ржавыми замками на дверях складов, с дворами, на которых — лебеда, крапива, лопухи, железные обручи, щебень; Москва, заваленная трупами лошадей, заросшая лебедой и крапивой, голодная и дикая — один образ. А Москва, которая с негодными инструментами, с наганами в руках, закусив губы, строит обрушившуюся радиостанцию, Москва, строящая станцию, волны которой опояшут весь земной шар — «Москва — подает, Москва — принимает вокруг света» — другой, прямо противоположный образ.

Но не только Петербург и Москва, а даже образы таких маленьких городов, как Семидол, Эрланген, Бишофсберг и других имеют ту же противоположность. Перед нами размеренный, аккуратный, вложенный в рамки Бишофсберг, город портных, полицейских, книготорговцев, патеров, булочников, зубных врачей, профессоров и вагоновожатых. Бишофсберг, где проповедуется война, как самоцель, где прячут изувеченных людей от их родных, где обыватель вешает записку: «здесь запрещается делать революцию», и Бишофсберг, где обезумевшие женщины устраивают демонстрацию, неся вместо знамен калек, Бишофсберг, где темные лица солдат ждут повода, чтобы не исполнить приказ о посадке в вагоны, Бишофсберг, где организуется совет рабочих и солдатских депутатов. Два образа, противоположных в своей психологической сущности. Противоположность русских городов ярче, полней, более оформлена, чем противоположность городов германских. Это и понятно, потому что русская революция развернула всю до дна городскую жизнь, в то время как в Германии это было еще началом, революция еще только начинала свою творчески-разрушительную работу. Наметившиеся в творчестве К. Федина психологические волны городской жизни пробегали из года в год, изменяясь в своем содержании. Можно сказать, что **противоположность образов городов заложена в противоположности ими пережитых годов.**

Годы

Четырнадцатый—двадцать второй. Между этими датами лежат два великих события, резко, до неузнаваемости изменивших психологию людей: война и революция. В грозные боевые дни испытываются люди: вылезают, наружу мелкие страсти, подхалимство, безличие, нахальство, наглость, и рядом с этим вскрываются глубокие страсти: мужество, самопожертвование, стирается мелочное, личное в великом порыве преобразования. Сейчас я и попытаюсь раскрыть в творчестве К. Федина эти общие психологические черты, которые характерны для этих лет, с тем, чтобы при анализе образов связать их с конкретными людьми.

Перед нами психологическая волна довольства окружающим — «мы довольствуемся пустяками, потому что это н а ш и пустяки». Она захватывает всех, начиная от рядовых немецких (да и русских) обывателей до обывателей из социал-демократии. Эта широкая волна самодовольства прикрашена национализмом, который так был нужен, так выгоден буржуазии. Вспомните то покойное, миротворящее чувство родного, наполнявшее не одного Курт Вана, но всех участников праздника. Недаром же глава, в которой передана эта психология, называется так: «Когда собственно началась мировая война».

Сотни, тысячи Эрлангенов внедряли в общественную психологию национальное самодовольство путем соединения полезного с возвышенным, путем оттачивания морального чувства, укрепления, самосознания в буржуазном направлении, что и составляло психологические волны предвоенных годов в Германии. Да и не только в Германии. Если роман «Города и годы» рисует их в Германии, то «Конец мира» — в России. И цель была достигнута:

> «...Вам не приходил на ум Рим, когда вы впервые увидели Германию? Вы понимаете? Такой расцвет, такая пышность, такой достаток, такое довольство. Нестерпимо. Я чувствую, что под почвой всей страны, под сознанием всего народа лежат целые пласты напряженного нетерпения. Все кругом так насыщено, налито, наполнено, что нужна, необходима, неизбежна разрядка. Во всем кругом себя я слышу дыхание какой-то страшной потенции. И я вижу, как эта потенция растет, как она непрестанно питается извне, словно аккумулятор, заряжаемый электричеством. Вы заполнили лица спортсменов? Вам стало страшно? А вы подумали, какая сила стоит за этим развлечением? Ее упражняют таким невинным способом, чтобы потом направить куда надо. Вы понимаете, куда она будет направлена? Понимаете? Вы ощущаете, как эта сила колеблет под вами землю? Вы чувствуете, какое это будет извержение» («Города и годы», стр. 76).

Вот вам психология предвоенных годов. Какие образы создавались из нее? Страшные образы мировой войны, жуткие лики диких лет мирового отупения. Разве не дик образ Курт Вана, разрывающего в этом угаре с Андреем. Но разве Курт Ван один? Нет, Курт Ван типичен, он выражает общую психологию. Да и без образа Курт Вана отчетливо нарисованы эти громадные психологические волны, перкатывающиеся по городам и весям при об'явлении войны, в куче телеграмм, в под'еме настроения всего населения до социал-демократа включительно. Высшим, конденсированным выражением этих волн являются извлечения из тетради бельгийского гражданина Перси под таким заглавием: «На память об ангажементе без контракта. Отзывы критики о гала-представлении без моего участия». Здесь приводятся поразительные вырезки, напр.:

> «Воспитание ненависти! Воспитание уважения к ненависти! Воспитание любви к ненависти! Организация ненависти! Долой детскую боязнь, ложный стыд перед зверством и фанатизмом! Да будет и в политике по слову Маринетти: побольше оплеух, поменьше поцелуев! Мы не смеем колебаться об'явить богохульно: наше достояние — вера, надежда и ненависть! Величайшее среди них ненависть» («Города и годы», стр. 141).

Разве это не жуткий образ? Разве не следствием этого на улицах Эрлангена появляются толпы слепых итальянских солдат? Но рядом с этим жутким образом, рожденным войной, вырастает и другой, нарастают другие волны. Прежде это боязливый всплеск в момент величайшего напряжения в виде неповиновения солдат при посадке, затем прибой в виде манифестации женщин и, наконец, шквал в виде революции, сметающей все на своем пути.

Но в России эти настроения и события даны в более уверенных, более четких штрихах. Здесь перед нами встают образы суровых, огневых лет. «А дни тащились табуном изнуренных кобыл по выжженой степи. И была в них звериная радость — от золотника хлебной трухи и от червивой камбалы. И было страшно смотреть, как золотники звериной радости заслоняли необ'ятное человеческое счастье». И дальше: «может быть, лучшее, что принесли нам эти дни, — был горький, молчаливый пафос голода?»..

Возьмите в этом свете образы годов, данные в творчестве К. Федина, и вы увидите, насколько там все на месте. Перед вами встанут напряженные от голода и непосильного строительного труда и борьбы за революцию образы годов. Они насыщены до краев молчаливым пафосом голода, строительством нового мира и ожесточенной борьбой за него. Семнадцатый — двадцать второй. Какой постепенный рост определенности, ясности, уверенности образов этих лет.

Если семнадцатый еще полон хаоса, когда развязаны все стихийные силы, когда отдельные люди часто не понимают, не чувствуют, что «будто не живешь, а обретаешься в книге, в замечательной какой-то книге, день за днем, страница за страницей — от чуда к чуду», то последующие годы уже иные. Они нарисованы Фединым слабо, но создать их образ можно.

На смену мрачному пафосу голода пришли годы, когда обыватель снова зажил под музыку своего желудка, оброс «сверточками с сыром и колбасой, горшочками со сметаной и простоквашей, кастрюльками, масленками, густо-зеленым луком и ядрено-малиновой редиской». Но тут же начинается строительство: «— Культур!.. Сваакер будет делать электричество в каждый деревня... Весь уезд — Сваакер!» «Трансвааль» 143 стр.).

А вслед за Сваакером придет время Никиты Карева, который вовсе уйдет в свой музыкальный мир, заползет в свою маленькую щелочку, чтобы все стало попрежнему: на смену годам величайшего под'ема и революционных потрясений приходят годы мирного мещанского бытия.

Другого образа, прямо противоречащего этому, непосредственно продолжающего и развившегося из образа героических лет, Федин не видит и не дает. Таков закон обусловленности творчества художника социальной средой.

Вот в самых общих чертах эволюция творчества К. Федина, представляющая собою процесс становления мелкобуржуазной сущности в литературе, той сущности, которая является единым социологическим основанием для всех образов К. Федина.

Куда идет К. Федин?

Куда ведет эта эволюция, какова она с об'ективной точки зрения? Несомненным является тот факт, что это путь вправо. Путь вправо резко обозначился в последнем романе «Братья», где основной вопрос об отношении к революции решен в смысле ухода от нее или в музыкальный мир Никиты Карева или в наслаждение жизнью Вареньки. Еще раньше намечался путь Вильяма Сваакера. Но Никита Карев опередил Вильяма Сваакера и стоит гораздо правее его. Если в романе «Города и годы» гибнет Андрей и торжествует мещанство, если в «Трансваале» Сваакер за-

нимается приобретательством, то в «Братьях» — Никита весь мир замыкает в себе, в своей личности. Все в нем и все через него. Ни один из этих путей не является приемлемым для строящего социализм пролетариата, преобразующего мир по образу своему. И чем дальше развертывается процесс становления мелкобуржуазной сущности в творчестве К. Федина, тем больше уходит он от правильного пути, так как не его власть тут, а власть и логика становящейся мелкобуржуазной сущности.

Буржуазия же по мере того, как идет углубление революции и наступление на нее, ожесточается и переходит в борьбу. Переход в борьбу знаменует собою новый этап, знаменует обострение против революции, противопоставление ей своей сущности как законной, ценной и единственно правильной и жизненной. Только с этой точки зрения понятен образ Никиты, как результат активного отношения мелкой буржуазии к современности, только с этой точки зрения раскрывается социальный смысл отношения Матвея к умирающему Шерингу, и только отсюда понятно высокомерное отношение Вареньки к Родиону. Вспомните отношение Никиты к матросам на концерте, и вы сразу почувствуете, что между ним и его пониманием значения и смысла музыки и матросами и их пониманием — неизмеримая разница. Сколько бы оправдательных штрихов и черт к образу Никиты Карева ни прибавлял автор, он не в силах изменить его основного отношения к революции, стало быть, основной черты, выдающей классовую природу этого образа. Разрешая противоречие в движении буржуазной сущности через образы в образе Никиты, автор противопоставляет его нашей современности, делает против нее выпад. Как бы суб'ективно ни понимал сам автор смысл и значение этого образа, об'ективно это так.

Появление таких произведений как «Братья» сигнализирует рост буржуазных отношений, их достаточную силу и крепость, их способность к борьбе развернутым фронтом. И хотя «Братья» Федина не являются случайным в его творчестве, но, как мы видели, логически неизбежным этапом в процессе становления мелкобуржуазной сущности, именно они знаменуют рост мелкобуржуазных тенденций в литературе. Они знаменуют, что мелкая буржуазия, пройдя сквозь огонь пролетарской революции, вновь пытается утвердить свою сущность и противопоставить себя пролетариату. Таков об'ективный смысл эволюции творчества К. Федина.

Эволюция творчества К. Федина обнаружила мелкобуржуазную классовую сущность, как единую основу всех созданных им образов. На этой основе и следует произвести их классификацию, отыскав один общий принцип, об'единяющий их как исторически данное явление. То общее, что мы находим во всех образах К. Федина, и что является следствием единства их социального основания, есть противоречие их психологии с окружающей их действительностью; противоречие их бытия и сознания.

Неприспособленная к общественным отношениям психология вступает с ними в противоречие, что выражается как борьба сознания и бытия. Психология таких людей имеет свои особые черты. Это не психология двойника, который мечется между приливом гордости и веры в себя и чувством унижения и беспомощности. Для героев Федина характерна не внутренняя борьба и личная раздвоенность, а их противопоставление и их борьба с окружающим их миром.

Образы героев Федина — цельные, они взяты не в их внутреннем противоречии, а во внешнем, они цельны до самой своей гибели, которая приходит потому, что их сознание, психика приспособлены не к этой, а к ранее существовавшей среде. За гранями этой психики что-то изменилось, а они

не понимают и вступают в борьбу с жизнью. Поэтому мучительного процесса двойников Достоевского мы здесь не встречаем, и даже Андрей Старцов, при ближайшем рассмотрении, оказывается цельной фигурой, гибнущей и страдающей, главным образом, не в силу своей раздвоенности, а в силу непонимания и неумения привести свою психику в гармонию с окружающей жизнью, с новыми общественными отношениями. Двойничество — процесс раздвоения психологии в ней самой, в ее пределах; противоречие психологии и бытия есть процесс, лежащий за этой психологией, вне ее пределов. Это противоречие вырастает на почве неясного, запутанного отношения к новым условиям жизни, вырастает тогда, когда промежуточная группа — мелкая буржуазия — должна определить свое отношение к новой жизни. Четкие классовые группировки, сознание которых также четко, как и их бытие, не знают колебаний. Какой-нибудь Шульгин совершенно ясно чувствует и понимает, что для толпы, залившей в февральские дни Таврический дворец, нужны пулеметы. Для рабочего тоже совершенно ясно, что нужно было делать, а вот для мелкой буржуазии это неясно. На этой почве и вырастает противоречие, неслаженность психологии и общественных отношений, бытия и сознания. Отсюда вырастает никчемность, ненужность для новой строящейся жизни людей, живущих на тарые проценты.

Федин берет различные социальные группы для своего изображения.

Мы рассмотрим три группы: интеллигенцию, крестьян и городское мещанство.

Интеллигенция у К. Федина

Если взять интеллигенцию, как социальную группу, нашедшую своего выразителя в лице Федина, то у ней окажутся и черты мелкой буржуазии и, кроме того, свои групповые черты, выделяющие ее из числа других мелкобуржуазных социальных групп, например, мещанства, крестьянства. Возьмем ли мы Андрея Старцова, Курт Вана, Мари Урбах, Щеповых, Бурмакиных, владелицу Рагозного, Александра Антоновича, — для всех их, как социальной группы, найдем общие черты. Прежде всего, это отношение к революции. Только эта социальная группа выдвигала пресловутый вопрос «о принятии» или «непринятии». Сама эта постановка была не чем иным, как попыткой осознать то положение, в которое она попала.

Революция прошла помимо нее и через нее, а отсюда естественно возникал вопрос: «как быть?». Этот вопрос тем больше имел значения в сознании интеллигенции, чем больше она считала себя центром и основной силой. Вот тут-то и начинаются бесконечные прения, будет ли это в Москве или в каком-нибудь Семидоле — смысл их один. Вот семидольская картина.

> «Ерунда! — гаркнул он, топнув ногой. — Вот такие как ты, да вот как Старцов, это вы разводите принципиальную болтовню, потому что вы рохли, тюфяки. Для нас все ясно, мы знаем, что хотим, и в любом болоте найдем, что делать...
>
> Это вы — Щеповы, Старцовы — крутитесь вечно в принципиальной бестолочи, все хотите примирить идеальное с действительным. Мы знаем, что примирить нельзя, можно подчинить. И мы находим в себе силы подчинять. Мы не оглядываемся, не боимся, что вы про нас скажете, и нам все равно, какими мы представляемся воображению Щеповых. Восьмидесятники? — Наплевать! Мы не боимся есть маринады и ездить на дачу. А вы лизнули вареньице и сейчас же задумались: а имеет ли революционер право лизать варенье в то время, когда... и поехало! Вот откуда у вас чувство превосходства!» («Города и годы», стр. 306).

Это одно из наиболее ярких мест, где высказано отношение к интеллигенции и вскрыто ее отношение к революции. Эти психологические черты

самые важные для характеристики интеллигенции, они дают нам ее определенный образ, тот самый, котрый стоял в голове Андрея: «Мне вспомнилось, как я зимой натолкнулся на собаченку, которая царапала передними лапами запертую дверь. Хозяин собаченки спал что-ли, а может не захотел отворять двери: была вьюга. Я подошел к двери и увидел на притоптанном снегу красные следы собачьих лапок. Собаченка, царапая дверь, раскровянила себе лапы. Она не могла понять, что вовсе не нужна на этом свете» («Города и годы», стр. 8). Сущность этого образа и есть сущность образа интеллигенции. Ведь хорошо, если хозяин спит, а если его «ушли», если его больше нет? Тогда нужно понять, что она вовсе не нужна на этом свете, и умереть или итти к новому хозяину. Так и делают разные части интеллигенции. Одни просто погибают, другие приходят к новому классу-хозяину, а третьи—мятущиеся — все равно погибают. Самая трагичная судьба третьих, тех, которые не могут бросить «царапать» и постепенно истекают кровью, тех, которые стремятся стать в центр круга и не могут понять, почему их отмывает, относит в сторону. Психология этой группы воплощена в образе Андрея Старцова. Андрей, довольно сильный и смелый, умный и чувствующий человек, несет на себе все грехи интеллигенции. Его слабоволие, его боязнь перешагнуть через крыс есть боязнь не личная, не индивидуальная, а социальная, групповая. Вот почему и болезнь Андрея и гибель его есть болезнь и гибель целой социальной группы. В этом смысл образа Андрея, и отсюда же вытекает его социальная функция.

Это есть самосознание интеллигенции, вернее одной из ее групп, размолотой в водовороте революции, но не осознавшей при таких условиях неизбежность своей гибели, а потому гибнущей трагически. Из всех мелкобуржуазных групп интелллигенция является основной стихией в творчестве К. Федина, хотя его интеллигенты по своей классовой сущности недалеко уходят от мелкой буржуазии, городского мещанства, даже тогда, когда они становятся профессорами. Это мы видим в образах Матвея и Никиты из романа «Братья». Но прежде чем перейти к ним, остановим свое внимание на других образах интеллигенции из романа «Города и годы». Это, прежде всего, Курт Ван и Мари Урбах, — явление тоже не индивидуальное, а групповое.

Революционная интеллигенция

Эти образы вырисовываются в процессе развертывания действия, как образы революционной психологии. Симпатичными чертами вскрыта эта психология в образе Мари Урбах. У Мари жизнь едина и гармонична несмотря на бушующие кругом противоречия. И любовь к Андрею и революция — все берется как благо, как радость бытия. Мари принимает участие в разгроме тюрьмы, Мари сочувственно относится к русским пленным, навлекая на себя всяческие подозрения, Мари организует совет солдатских депутатов г. Бишофсберга. Весь строй психики Мари определяется отношением ее к войне и революции. Особенно ярко вырисовывалась психология этих людей при свете революции в России, где во что бы то ни стало нужно было установить свое отношение к революции и приспособить к ней свой строй психики. Это не так легко, как кажется. Мари Урбах — в Германии, Курт Ван — в России. Курт Ван в 1914 и Курт Ван в 1919 — разные люди. Но процесса роста, как мы уже отмечали, процесса мучительной борьбы, перехода в романе нет. И это не случайно. Правда, не совсем без борьбы, но все же известная группа интеллигенции сделала скачок, а не эволюцию от мелкой буржуазии в лагерь революции. Те группы интеллигенции, которые не делали скачка, а проделывали эволюцию, не сразу начали работать с властью рабочего

класса. Их психология, отмеченная зигзагообразным путем эволюции и приспособленчества к новым условиям, имела свои характерные черты. Законченным в этом отношении образом является Никита Карев. Курт Ван есть образ, выявляющий психологию той части интеллигенции, которая сделала скачок. Эта часть интеллигенции была доступна изображению К. Федина, поскольку она отрывалась от основной стихии и сразу становилась малопонятной, а в произведениях — слишком общей как только окончательно укреплялась в новом лагере, в лагере революции.

Курт Ван, как и Мари Урбах, идут к новому хозяину. И если Курт Ван раньше рисовал картины для фон-Шенау, то теперь он рисует картины для русской революции. И он — националист-немец — пошел к новому хозяину. Пошел, потому что «за всем этим он видел большой смысл. Очень большой, здоровый смысл». Он сделал скачок и опять-таки это был не индивидуальный, а социальный, групповой скачок.

Но заметьте, что, перебросив Курт Вана в лагерь другой социальной группы, Федин сразу стал бессилен, чтобы дать его характер заново. Курт Ван до революции — полная сочная фигура, после — слишком общая, именно такая, как видно со стороны, как коммунист кажется мелкому буржуа.

В той самой мере, в какой мелкая буржуазия в период революционной ситуации подымалась до героической борьбы за пролетарскую революцию, частично целиком растворяла свою психологию в коммунизме, в той самой мере К. Федин мог говорить и давал образы революционной и коммунистической психологии. Курт Ван и Мари Урбах еще только революционеры периода революционной ситуации и только это противопоставляет их Андрею, но Ростислав уже коммунист, он как представитель группы должен был сгореть в огне революции и вступить в борьбу. Это он и делает. *Но в той самой мере, в какой Федин доводит противоположность до противоречия и борьбы, он лишается способности нарисовать новый образ изнутри, а не извне.* Говорить об отношении коммуниста Ростислава к Никите и к отцу он может, но дать Ростислава как подлинного представителя пролетариата он не может. Самая же возможность отрыва части мелкобуржуазных образов интеллигенции и скачок их в лагерь революционеров и даже коммунистов заложена в действительности в общественных отношениях и положении этой социальной группы в обществе.

Не скачок, а эволюция

Были, конечно, и эволюционисты. Эволюционировали такие люди, как Щеповы — отец и сын, исконный профессор, даже может быть Александр Антонович и Таиса Родионовна из рассказа «Тишина». Эти делали эволюции, поэтому-то у них так остро стоял вопрос о принятии и непринятии, поэтому-то и строй психики у них был иной. Реальная социальная группа дала свою психику этим образам. Куда только привела эта эволюция?

Она же привела их к борьбе со сторонниками революции. В этом отношении самым важным и является образ Никиты Карева. Это Андрей Старцов, но на иной, повышенной основе. Это Андрей, нашедший, наконец, выход из заколдованного круга, нашедший, наконец, самого себя в изменившемся после революции мире, Андрей, снова утверждающий полноценность своей социальной сущности. Мы уже выше приводили разговор Никиты с Ростиславом, так отчетливо выявляющим мелкобуржуазную сущность первого. Теперь мы можем дополнить его образ более определенными штрихами.

«Милый Ростислав, напрасно ты... ну, как сказать... Право, нам не следует ничего решать. Давай, пойдем каждый своей дорогой? Уверяю тебя, я ничего не хочу и не могу делать, кроме своего дела. Я не могу отказаться от него. Иначе вся моя прошлая жизнь станет бессмысленной дурью. А мне сейчас кажется, что она наполнена таким значением».

И после добавил:

«...Я ничем не буду полезен ни белым, ни вам» («Братья», стр. 171).

Вряд ли к этой характеристике что нужно добавлять. Стоит только взвесить аргументы Никиты, чтобы понять, насколько они убедительны. Для него, видите ли, прошлое самое важное, оно станет бессмысленной дурью. Да оно с точки зрения Ростислава и было такой дурью, что же о нем жалеть. Перед нами раскрыта самая основа мелкобуржуазной сущности. И если Андрей боялся перешагнуть через крыс, то Никита жалел сусликов, и после того, как Евграф бил суслика дубиной по башке, он кричал: «ай!». И мы знали бы, куда приведет «своя» дорога Никиту, если бы роман на этом оборвался и образ Никиты не был бы развернут еще шире. Никита оказался в одном лагере с отцом против брата, так как «никто не сомневался, что он поедет вместе с семьей». («Братья», стр. 193). Семья действительно не сомневалась, а вот сам Никита усумнился в своем пути. Почему? Надолго ли? Усумнился потому, что потерял отца, а так как он занял позицию ни нашим, ни вашим, то, потерявши костыль, данный ему в руки со стороны, усумнился в том, туда ли он идет? Ведь он не должен был итти никуда. И вот «однообразный скрип снега воплощал собою пустоту безразличия, наполнявшего Никиту» («Братья», стр. 203). Разве это безразличие не характерно, безразличие, когда идет борьба за новый мир? Однако напрасно было бы думать, что это безразличие к общественной борьбе, к гражданской войне и революции было пустым, ничем незаполненным отупевшим состоянием психики,— конечно, нет. Да ведь это же подчеркнуто в словах Никиты о своем деле, о своем особом пути. Никита чувствовал свою вину перед Ростиславом, и победа красных на Чагане как будто сняла ее. Почему? Это остается непонятным. Но это дало Никите право «вернуться в свой мир, в свою пылинку» («Братья», стр. 233). В социальном, а не личном плане Никита никогда своего мира не покидал и не мог бы покинуть. «То, что он не мог ни за что взяться, что его дело казалось ему ненужным и скучным, он сам себе — бездарным и тупым,— все это почти не беспокоило Никиту. Опыт успел научить его, что подлинная вера, как самка плодовитого животного, так же легко пожирает сомнения и безверие, как легко их плодит. И если бы, в припадке отчаяния, Никита не нашел в себе даже остатков веры, то и тогда он не мог бы бросить своего рукомесла иль своего искусства — не безразлично ли, как будет названа болезнь, которой он страдал?» («Братья», стр. 295). Как видите, в этом плане путь Никиты был прочен, и в этом смысле мир принимал Никиту Карева. Отвергал же его по другой линии — личного счастья. А это был не пустой вопрос для Никиты даже в самый разгар революционной борьбы. Другая судьба Никиты, его личная жизнь отмечена присутствием Анны, Ирины и Варвары Михайловны. Но и тут в своем отношении к женщине Никита остается все тем же. Это хорошо раскрыла Варвара Михайловна в своем чуть ли не последнем разговоре с Никитой. «Самый близкий тебе человек — только твое подспорье, твое житейское удобство, не больше, что он естественно обязан служить тебе, правда?» («Братья», стр. 315).

Мы не останавливаемся на других образах по недостатку места, но скажем, что образ Никиты схватывает все основное, он центральный в том смысле, что тут через него пролегает столбовая дорога становления бур-

жуазной сущности в творчестве К. Федина. Этот образ снимает противоречие, возникшее в процессе ее развития, и знаменует ее самоутверждение и самоопределение после революционной бури.

Образы крестьян

Вторая группа образов, наиболее ярко очерченных Фединым — крестьяне. Образы крестьян имеют нечто общее с образами интеллигенции. Есть одна об'единяющая их черта — противоречие психики и бытия, вытекающее из их мелкобуржуазной сущности. Посмотрим.

Вот крестьянская масса, одетая в серые шинели, нащупывающая дорогу в Россию, вот образ Федора Лепендина («Города и годы»), Силантия — сторожа («Сад»), старшего комендора Потапа («Старший комендор»), пастуха Прокопа-Ремонта («Мужики»), наконец, образы мужиков из рассказа «Трансвааль». Все они крепкие, кряжистые, упористые. Что-то треснуло за ними, но что — они понимают плохо и продолжают гнуть свою линию по-старому, думать как и раньше. А мир уже не тот, общественные отношения иные, и старая психология вступает с ними в борьбу. На этом стержне построены образы крестьян. В анализе образов крестьян можно итти от более ранних к более поздним, но я предпочту обратный путь. Наиболее ярким является Федор Лепендин. В нем чувствуется сила, в нем звучат подлинные голоса жизни. Однако, кроме тяги к земле, от которой он сам наливается силой, кроме власти этой земли, почти никаких других черт у Лепендина вы рассмотреть не в состоянии. Зато тяга к земле, любовь к ней выражены замечательно ярко. Он — человеческий обрубок,— находит, что без земли жить нельзя. Но тем ярче чувствуется Лепендин на общем фоне семидольских крестьян. Крестьян отдельных нет. И когда Лепендин умирал, то не увидел ни одного крестьянского лица. «Его вытаращенные глаза испуганно перескочили с солдат на толпу. Мужики не глядели на него, и лица их были одинаковы, как струганные доски» («Города и годы», 325). В этом был весь ужас Лепендина. Автор прекрасно понимает это и использует этот прием для получения художественного эффекта. «Самое страшное — остановиться на каком-нибудь лице, увидеть чужие глаза. Самое страшное — вдруг почувствовать, что толпа состоит из множества непохожих друг на друга людей, и что каждый человек — непримиримый враг чужой мысли и ненавистник чужого слова. Тогда — позор!» («Города и годы», стр. 327). Как эстетический прием в творчестве К. Федина, он встречается не только в романе «Города и годы», но и в других произведениях.

Образ крестьянства в творчестве К. Федина не исчерпывается Лепендиным — таким ярким воплощением тяги и любви к земле. Отдельные черты были раскрыты раньше — в образах сторожа Силантия и старшего камендора Потапа.

Ведь Лепендин погиб в силу того противоречия, в которое попала деревня после революции со своей старой психологией. Это становится ясным, если мы рассмотрим образы Силантия и Потапа, которые являются прообразом для Лепендина. Силантий врос в сад, как медведь, жизнь сада — его жизнь. И когда там за садом что-то подломилось, треснуло — Силантий со своей «садовой» психологией не мог понять в чем дело. Но власть сада над ним сильна, и он готов продолжать работу как и раньше, он готов продолжать жизнь в старых рамках. А жизнь уже иная, и из непонимания ее вырастает конфликт старой психологии и новых общественных отношений. В подобных случаях примитивное сознание всю силу своей мести обрушивает на окружающую материальную обстановку. И вот: «подобно черным кружевам колыхнулась резьба украшений, розовый огонь полез сквозь бесчисленные

щели. Густой как сажа дым винтом поднялся до самого неба, потом вдруг, точно собравшись с силой, сбросил с себя дымную шапку, красный могучий костер. Дом горел, как свеча» («Пустырь», стр. 106). Так мстил сторож Силантий новому миру, новым общественным отношениям, понять которые он был не в состоянии, а подчиниться и признать их разумность не мог в силу старого психологического уклада.

Образ Силантия не раздвоен, он цельный, психологически он монолитен, но стоит в противоречии с жизнью.

Почему бы, казалось, Силантию не приветствовать новый мир, а вот не приветствует, а мстит. В этом противоречии сущность образа Силантия, получившего в образе старшего комендора Потапа неожиданную развязку. Потап — хозяйственный мужик, и хозяйство Потапа — первое хозяйство на селе, разве поповскому уступит. Этот кряжистый крестьянин, кулак, которому на селе первый почет, застает на своем корабле новую жизнь или, вернее, ее начало. С кем он? «Я так думаю,— проговорил Потап,— шантрапе бунт — малина. Сволочь, мастеровщина — ей что? Иль на деревне тоже, которые безлошадники. Нам с ними детей не крестить. Вот» («Пустырь», стр. 177). Потап не чета Силантию, он — мощный крестьянин, его психология, заключенная в приведенных словах, кулацкая.

Лепендин, Силантий, Потап, Прокоп — один образ крестьянства, бьющегося в противоречиях, вытекающих из сущности его социального бытия. Образ живой, хотя и недостаточно полно очерченный, именно как образ крестьянский, но зато отчетливо выявляющий сущность мелкобуржуазной стихии, породившей его. В этом сказалась детерминированность К. Федина, невозможность его дать крестьянский образ не со стороны, а извнутри, раскрыть его глубинную психологическую сущность, не ограничиваясь самыми общими чертами, в роде тяги к земле, которые настолько общи, что теряют всякую определенность для социальной группы, как таковой.

Следующая группа — мещанская, городская.

Разновидность этого рода образов представляет Вильям Иванович Сваакер из «Трансвааля». Образ Вильяма Сваакера соткан из противоположных психологических элементов. Правда, Сваакер не двоится, но читатель видит и чувствует противоречие, заложенное в нем противоположными психологическими моментами.

Сваакер, пострадавший от немцев и англичан, привезший революцию из города, Сваакер — председатель сельсовета — это одно, а Сваакер, помогающий помещику Бурмакину (потому что, видите ли, он как власть должен бороться с нуждой), приходящий в неистовую радость в тот момент, когда узнал, что он собственник — это другое; они разные люди. Здесь чувствуется двойственность, несмотря на то, что Вильям остается прежним. Энергия Вильяма не пропадает даром, он растрачивает себя не попустому. В этом динамическом образе чувствуется сила под'ема новой, молодой буржуазии, получившей эту возможность с нэпом.

В нем воплощается психология той новой буржуазии, которая после 1921 года с новым под'емом начала создавать разрушенные очаги собственности.

Следующей разновидностью этого типа образов представляются персонажи «Наровчатской хроники». Здесь мещанская психология вскрывается в ее отношениях к революции. Образ Роктова, земельного комиссара, который обижается на то, что его активность осталась незамеченной — не единичен.

«В прежнее время, когда я в управе городским садоводом состоял, вот были люди! Как сейчас помню, вростил я в полбутылочку огурец, а как по-

ложен — неизвестно, вынуть его ни-ни. Чудо! Преподнес его офицерскому собранию. Мне за это благодарность приказом об'явили. А нынче что? Ну, обсадил я резедою могилу нашей жертвы на бульваре, вензелями пустил, с серпом, молотом, с лозунгами. И хоть бы кто мкнул! Ни мур-мур! Руки опускаются!» Эта огуречная, чечевичная психология типична для всех образов из «Наровчатской хроники». Монахи, попы, диаконы, обыватели — вся эта галлерея лиц есть проявление совершенно разложившейся мещанской городской психологии, обнажившейся при свете революции.

Анна Тимофеевна, Порфирий Максимович, персонажи «Наровчатской хроники» замыкают целую подгруппу мелкой буржуазии. На грани между ней и крестьянской подгруппой стоит образ Вильяма Сваакера, связывающий их. Детерминированность автора сказалась именно в том, что он не смог развернуть психику крестьян и отчасти Сваакера изнутри, не смог дать их мелкобуржуазную сущность.

Итак, мы выявили три основных группы образов в творчестве К. Федина, из которых каждая в свою очередь имеет разветвления. На образах рабочих мы не остановились потому, что те мелкие штрихи, которые у Федина есть, дают нам таких рабочих, которые больше походят на мелких буржуа, чем на рабочих. Представители рабочей идеологии в роде Голоса, Покесена и др. (в романе «Города и годы») слишком бледны, в этом опять-таки сказывается невозможность автора выпрыгнуть из рамок, поставленных ему бытием социальной группы, породившей его творчество.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Виктор Кин. По ту сторону. Роман. Изд-во «Молодая гвардия». М.-Л. 1929 г., стр. 252, ц. 50 к. (тоже в изд. «Роман-газета).

Герои Кина — два комсомольца. Революция взяла их еще несложившимися и скрепила их в одно целое, они без всяких сложных самоанализов приняли ее, боролись за нее и жили в ней. Цельность характера—основная черта Матвеева и Безайса, в них нечему и не с чем бороться, действительность для них проста и определенна. «Каждый день Безайс уходил к окну, ковырял замазку и ругал железную дорогу. Он называл ее последними словами и хотел куда-то жаловаться. Это облегчало его немного от дурного настроения.—Иначе оно останется во мне,—говорил он, и я заболею». Матвеев устал от всего этого. У него не хватило духа сердиться несколько дней под ряд. Поэтому он предпочитал молча сидеть и сосредоточенно мечтать о том, как было бы хорошо, если бы вдруг наступила весна и ему не надо было бы ходить за дровами на остановках». Эти два отрывка характерны для героев романа — мир не может быть сложным, когда нужно лишь хорошо поругаться, чтобы сбросить дурное настроение, и когда невозможно сердиться в продолжения двух дней. И Безайс и Матвеев не несут в себе ни «глубоких страстей», ни тайн надрывов душевных—их сознание цельное, без переломов. Бытие для них не мысль, не внутреннее,—а внешняя действительность, раскрываются они без противоречий, лишь в событиях, в действительности: «так прошли первые дни, а потом наступила дикая скучища, которая сводила челюсти зевотой и разламывала плечи. Делать было совершенно нечего... День проходил в одуряющем безделье и бессмысленно кончался в густых сумерках». Они подлинные люди революции, их психологическая несложность отнюдь не обозначает их поверхности,—нет, эта несложность есть результат безоговорочного принятия революции со всем хорошим и плохим, что в ней напластовалось, со всеми ее противоречиями. Не только их «я» вмещает революцию, но и революция вмещает в себя их «я», как неразрывное целое и цельное. А революция—это наиболее действенный и богатый событиями период в общественном развитии. От этого и Матвеев и Безайс до предела заражены активностью, в самые опасные моменты (а они в романе есть) они быстро находят единственно правильное решение и решительно его осуществляют. Будь Кин заурядным художником, он создал бы пеструю ленту событий, где его герои совершили бы великое множество подвигов, совершили бы нераздумчиво и быстро, да так бы и ушли со страниц романа неясными психологическими образами, события поглотили бы их. Виктор Кин повернул течение в другую сторону, он взял своих героев с их необычной стороны, он обратился к тому в них, что наиболее значимо, художественно и своеобразно (а следовательно трудно). Своих героев «действенников» Кин дал в условиях их вынужденного бездействия. И это дало ему возможность изобразить—и хорошо изобразить—психологию своих «непсихологичных» персонажей, именно введение бездейственности вскрыло их противоречия. Безсобытийность,безактивность,неподвижность,—вот что в конце концов сламывает человека революционной эпохи Матвеева, тогда как густо насыщенная работой жизнь дает Безайсу возможность быть попрежнему цельным и непротиворечивым. Идеологическай вывих Матвеева—его самовольный уход на работу и смерть на ней — вполне закономерен и оправдан

ибо он, только в революцию выросший, потому и не сложен, что еще не сложился, не встал во весь рост — и видит один путь там, где их несколько. Кин, взяв определенных людей и определенные события, обратился к наиболее трудному и художественно оригинальному, показав тем самым, что избитые дороги не для него.

Художественная оригинальность соединяется у него и с психологическим мастерством, а это как раз и определяет его дальнейший рост, ибо его жанр — это психологический роман. В передаче психологии Кин сдержан, немногословен, он сжимает большое в немногие слова, часто делает вещь концентратом человеческой психики, через нее передает последнюю, чем делает мысли и чувства более конкретными и насыщенными. Приведу один из примеров: «Он глубоко вобрал воздух в легкие. Так бросаются в воду с большой высоты. Жизнь стала перед ним — Жизнь с большой буквы—и он собрал все силы, чтобы прямо взглянуть в ее пустые глаза. Двадцать лет он ходил здоровый и никому не уступал дороги. А теперь ему оттяпало ногу и надо потесниться. Ну, что-ж.

— Я не маленький,—сказал он, слегка охрипшим голосом,—и знаю, почему мальчики любят девочек.

Она взяла его руку и прижала к щеке.

— Постарайся понять меня, милый. Мне так больно и так жаль тебя.

У него было одно желание — выдержать до конца, не сдать, не распуститься. Это было маленькое, совсем крошечное утешение, но кроме него ничего другого не было. Что-то в роде папиросы, которую люди курят перед тем, как упасть в яму. Он тоже падал, но изо всех сил старался удержаться. Это был его последний ход, и он хотел сделать его как следует.

— Ты слишком много придаешь этому значения,— сказал он «почти спокойно»

«По ту сторону»--первый роман Виктора Кина. Немногие из писателей начинали так удачно.

Ник. Сергеев

С. Елпатьевский. Крутые горы (рассказы о прошлом). «Зиф», М. — Л., стр. 289, ц. 2 р. 30 к., тир. 4 000 экз.

С. Елпатьевский. Воспоминания. «Прибой», М. — Л., стр. 39, ц. 3 р. 50 к., тир. 4 000 экз.

Семейный роман-хроника «Крутые горы» в своей композиционной структуре расщепляется на ряд художественно обособленных портретов-характеров и пейзажей.

Каждый портрет-характер сделан мастерски, почти с той необыкновенной полнотой и художественной законченностью, какая отличает классиков реализма.

Автор прекрасно знает изображаемую им среду, это — родное, кровное, и потому он обвеял свои образы глубокой любовью и проникновенной чуткостью. Почти ни одна мелочь быта не ускользнула от его творческого внимания.

Близость автора к классикам реализма — той его ветви, носителями которой была демократическая интеллигенция — об'ясняется тем, что писатель является выразителем бытия одного из общественных слоев мелкой буржуазии.

В романе дана генеалогия семьи автора, показывающая, что глубинные корни родословного дерева Елпатьевских в течение ряда десятилетий питались соками мелкособственнической почвы, хотя, по сословному признаку, Елпатьевские относились к господствующим группам крепостнического государства.

Принадлежность к духовному сословию в крепостническом феодальном хозяйстве была связана с экономической зависимостью от поместного дворянства. Эта зависимость ставила духовенство в положение высоких слуг при дворянском доме, которые должны были защищать экономические интересы своих господ с точки зрения принципов христианства.

С другой стороны, большая часть духовенства питалась настолько незначительно подачками от помещиков, что была вынуждена главным образом опираться на личное трудовое хозяйствование на земле.

Отсюда особый характер мелкособственнической психологии духовенства.

На протяжении всего произведения с особой резкостью показана упорная борьба семьи дьякона Елпатьевского за крепкое, устойчивое хозяйство. Эта борьба создала патриархальную семью, построенную на принципах ничем не ограничиваемой авторитарности. В сущности в семье нет личности, а есть только скованная железной необходимостью хозяйственная ячейка.

Страх перед возможным оскудением, неожиданным крахом хозяйства мрачным кошмаром тяготеет над всеми. Отсюда — суеверная боязнь перед естественными силами природы, трусливая покорность перед богом и чортом.

Кошмары ежедневно подстерегающего экономического краха и животный страх перед богом и чортом порождают античеловеческие правила морали, полные самых вопиющих противоречий. Из страха перед богом свекровь заставляет свою сноху отказывать детям в материнской груди по средам и пятницам — и они умирают от истощения, — в то же время отец в смертельном страхе за детей, за их счастье каждый вечер перед сном «простирается ниц перед спасителем и говорит, что его душа не знает покоя... и плечи сгибаются под тяжким бременем жизни, и все шепчет: Помози!... Помози!»...

В условиях душного круга патриархальности протесты разрешаются почти мгновенно и всегда с безжалостной жестокостью. Здесь нет места для сложных ситуаций, для развертывания захватывающей борьбы между различными действующими лицами. Здесь возможны только автоматически действующие силы принуждения и авторитета.

И роман поэтому представляет собой в сущности ряд замечательно написанных портретов, композиционно соединенных в одно целое только потому, что все это члены одной семьи, и сам автор как действующее лицо соединяет их своей органической связанностью с их судьбой.

Выход из этого мира страхов и суеверий возможен лишь в двух направлениях: уход «от мирской суеты», аскетизм (о. Кирилл) или же анархическое бунтарство против общественных нравов в форме дебошей, бесчинств и скандалов (дьячок Вавила).

Есть, правда, и еще один выход — продвинуться в аристократические и чиновные (правящие) круги духовенства. Но этот путь доступен только «счастливчикам», не гнушающимся никакой подлостью.

На втором плане, как отблеск первого, показана жизнь крестьянства.

Гришка-подпасок становится жертвой слепой и жадной любви к собственности.

«Ему бы передохнуть, сердешному, — говорили крестьяне. — Дело наживное, работник-то какой — золото! А тут подкатило под сердце».

Если Григорий кончает самоубийством физическим, не выдержав страшной борьбы за хозяйство, то Ларивон кончает самоубийством общественным и духовным, уйдя к отшельникам, подобно отцу Кириллу.

Отмена крепостного права и развитие денежного хозяйства поставили духовенство в новые экономические отношения к другим общественным классам.

Разночинная интеллигенция в значительной степени вербуется из духовного сословия, из его наиболее демократической части.

Выходцам из патриархальных трудовых семей духовенства задачи пореформенной эпохи рисуются в форме служения мужику. Это были вместе с тем и задачи самоосвобождения.

Варя Елпатьевская «идет в народ» Она «непоколебимо» уверена в будущем всеобщем счастьи людей — с той праведной «красотой, которая смотрела из ее прекрасных глаз».

Автор глубоко любит Варю, преклоняется перед ее высоким героизмом. Через трудные пути морального очищения и аскетических подвигов автор открывает крестный путь служения мужику.

«Человек один был, в переднем ряду шел, — говорит Варя матери. — Взял в охапку копья-то вражские (копья рыцарей, державших в гнете народ—**Ф.**) и воткнул себе в грудь и открыл проход, — и бросились мужики, стащили рыцарей с коней, и побили мужики и прогнали рыцарей».

Если «Крутые горы» рисуют художественные образы дореволюционной мелкой буржуазии, то другая книга автора изображает ту же социальную среду главным образом в плане ее идеологических воззрений.

Автор так определяет содержание своих очерков: «Воспоминания об этом старом, отмиравшем, и о новом, входившем в жизнь, встречи с людьми старого уклада, цепко державшимися за давнее, с людьми, входившими в жизнь с дерзновенными планами перестройки жизни — таково содержание предлагаемых воспоминаний».

Но напрасно станет искать читатель ответа на вопрос о «новых людях с дерзновенными планами перестройки жизни».

«Воспоминания» не знают таких людей.

Перед взорами читателя проносятся блеклые тени народнической интеллигенции с ее высокими истинами правды и справедливости, либеральные и либеральствующие промышленники и жандармы, серая масса крестьянства с ее смутными революционно - бунтарскими порывами, едва приметные силуэты городского мещанства, — но нет «дерзновенных».

Автор связан всем своим существом с мелкой буржуазией, с той ее группой, которая конституировалась в так называемую народническую интеллигенцию.

Правда, он дает понять читателю, что в 80—90-х годах он уже был близок к социал-демократии, что уже изучал Маркса, но на протяжении всех долгих воспоминаний (за 50 лет) писатель знает только по наслышке о том, что существует рабочий класс и что он — движущая сила революций.

Автор прожил огромный исторический период, полный значительных общественно-экономических сдвигов, но он попрежнему остался во власти идеалов 70-х годов, с которых он и начинает свои «Воспоминания».

Близость автора к мелкой буржуазии подтверждается всей историей его жизни, зафиксированной в интересно и художественно написанных «Воспоминаниях».

Автор связан тесными узами дружбы только с представителями мелкобуржуазных слоев населения, он «творит» революционное дело, так сказать, на виду у мирволящего начальства, он устраивает благотворительные организации, он — культурник, не чуждый увлечения гуманными идеалами социализма.

И когда писатель подает краткие реплики о своем историческом предвидении мировой войны или оценки «марксизма» по другому поводу, мы не можем не сказать, что это — случайное, не свое.

«Воспоминания» подтверждают высказанную ранее мысль о том, что Елпатьевский—выразитель общественного бытия одного из слоев мелкой буржуазии дореволюционного периода.

Г. Федосеев

Артур Голичер. Ж и з н ь с о в р е м е н н и к а. Перевод с немецкого К. Вейдемюллера и В. Мининой, под редакцией, со вступительной статьей и примечаниями К. Вейдемюллера. Гиз, 1929 г., стр. 574, цена 2 р. 50 к.

Книга Голичера, являющаяся его исчерпывающей автобиографией, выходит на русском языке ко времени: в августе этого года Голичеру исполнилось 60 лет. Таким образом издание на русском языке крупнейшей его работы становится юбилейным. Автобиографию свою Голичер написал в два приема — первый том ее появился еще в 1922 году («История жизни одного мятежника»), второй — в прошлом году. Постоянно, особенно во втором томе своей работы, Голичер подчеркивает ее итоговый характер. Перед нами произведение, в котором жизненный и творческий опыт одного из крупнейших европейцев нашего времени находит свое завершение. В этом смысле «Жизнь Современника» представляет исключительный интерес.

Остановимся на основных чертах биографии Голичера, как она нашла свое отображение в книге. Артур Голичер вышел из буржуазной семьи, имевшей устойчивые традиции. По происхождению Голичер — крупный буржуа. Но жизненный путь этого человека отклоняется от традиционной колеи. Человек

«свихнулся». Очень рано ему стала ясна лживость традиционного мещанского уклада, очень рано он ощутил потребность каких-то исканий. Карьеру примерного буржуазного дельца он меняет на писательское призвание.

Уже с самого начала Голичер развивается под знаком глубокого кризиса, он чувствует себя отщепенцем, оторвавшимся от родной почвы. Свое прошлое он хотел бы зачеркнуть, но это совсем не просто, и Голичеру на каждом шагу приходится с этим прошлым считаться. И не только потому, что оно пред'являет на Голичера какие-то внешние права, нет, дело глубже — в своем восстании против прошлого человек оказывается связанным этим властвующим прошлым, его бунт оказывается очень замкнутым и ограниченным именно в силу этих причин. Вот основной узел той трагедии (а Голичер постоянно подчеркивает трагический характер своего жизнеописания), которая возникает перед нами на страницах замечательной «Жизни современника».

Она тем напряженнее, что сам автор не понимает ее в полном об'еме. До известной степени он остается недоуменным свидетелем своей жизни, не разбираясь в ней до конца.

Что происходит? Голичер с огромной ненавистью относится к традиционному буржуазному укладу. Он поднялся до его решительного отрицания. Он очень полно рассмотрел его уродливость, лживость, его ханжеский облик. Здесь Голичер чрезвычайно последователен, беспощаден.

Встречи Голичера с буржуазной действительностью постоянно его ранили. От одного разочарования к другому, от одного болезненного удара к новой боли двигался человек. Обо всем этом рассказано в «Жизни современника» чрезвычайно просто, волнующе, без всякой позы, с огромной искренностью.

Так складывается один план его книги; буржуазный мир получает здесь беспощадную и разящую характеристику. Поскольку книга обращена к нам этой негативной, отрицающей стороной, она имеет значение очень содержательного социального документа. На протяжении целых десятилетий, следил за протекающей перед его глазами жизнью Голичер, для того чтобы убедиться в неприглядности, пустоте бытового, морального, духовного облика современной европейской цивилизации.

Это первый план книги. Как видим, сын буржуазной цивилизации поднялся здесь до ее осуждения. С горечью, возмущенно говорит он о том, что цивилизация эта в существе своем есть гнилая, мертвая цивилизация. Но сам Голичер тесно связан с той цивилизацией, которую он отрицает. Это делает его критический напор достаточно ограниченным.

Несмотря на всю свою искренность, при всей глубине своего разочарования Голичер не приходит к революционным выводам. Как противостоит он этой буржуазной действительности, столь решительно им разоблаченной? На что он хочет опереться, отказавшись от традиционной правды? С кем он?

Здесь мы подходим ко второму, интереснейшему плану «Жизни современника». Сам Голичер в своих чувствованиях, в своих стремлениях и надеждах, в своих разочарованиях и победах встает перед нами. И мы видим, как в этом человеке двойственность его положения (от традиционной правды он отказался, а новой правды еще не нашел) приводит к тому, что перед нами возникает образ человека нерешительного, постоянно колеблющегося, мятущегося, легко уязвимого. Он охвачен большими и искреннейшими стремлениями. В нем есть большая воля к преодолению, но вся она тратится как-то впустую, распыленно, не приводит к цели, да и сама эта цель для Голичера представляется чем-то очень расплывчатым.

Книга предстает перед нами, как чрезвычайно пессимистическая система. Можно сказать, что она совершенно безнадежна. Страницы глубочайшей разочарованности заключают каждый эпизод этого произведения. В книге Голичера разочарованный непротивленец, мягкотелый примиренец, прекраснодушный буржуа, разочаровавшийся в своем прошлом, но не нашедший новой правды, раскрывается в очень убедительных, живых очертаниях. Этот образ дан с огромной искренностью: можно сказать, что во всей литературе,

связанной с кризисом деградирующих групп буржуазного класса, мы не найдем более выпуклой, живой, по-настоящему трагической фигуры, как главное действующее лицо автобиографии Голичера.

Перед нами вечный и неутомимый искатель, которому не дается в руки его синяя птица. Он очень благороден в своих порывах, его жизненный путь отмечен чистейшим альтруизмом, он очень полно понял, насколько уродлив тот социальный порядок, в рамках которого он существует. Он поднял руку против этого порядка, но он не оказался достаточно сильным, чтобы вступить на революционный путь. Это заставило его погрузиться в глубочайший пессимизм, в безнадежное нытье, в разочарование.

Каждый раз мы встречаемся с тем, что человек большой, даже смелый в своих стремлениях, оказывается робким, до чрезвычайности мягким там, где нужно достигать. Он постоянно двоится. От пафоса он постоянно обращается к разочарованию. Герой автобиографии Голичера является вполне типичной фигурой.

В очень последовательном, искреннем, глубоком выражении мы имеем здесь то, что обычно характеризует идеологов деградирующей мелкой буржуазии. Поскольку им не удается вступить на революционный путь,они обречены на половинчатость, вечную колеблемость, на бесплодие. Герой «Жизни современника» великолепен в своих порывах, в искренности своих разочарований, в горькой безнадежности своего пессимизма, но это только рядовое, типическое явление, только один из многих. Этот герой есть только последовательное выражение мещанской беспочвенности, смятения в период кризиса.

Голичер пережил события немецкой революции, он близко видел и Советскую республику. Он искреннейший друг немецкой революции, немецкой коммунистической партии, друг Советской России. Казалось бы, что для Голичера была возможность слиться с революционным мировосприятием, передать своим антибуржуазным стремлениям отчетливый революционный характер. У Голичера была возможность стать на сторону пролетарской революции. Но он ограничился тем, что с нею солидаризировался, ее принял. Очень близко подойдя к революции Голичер все же оставил какое-то расстояние между нею и собой.

Здесь говорило классовое прошлое. В сущности всегда Голичер был анархиствующим и всегда боялся за свободу своей индивидуальности, которую он по-буржуазному фетишизировал. В годы революционного перелома эта индивидуалистическая щепетильность Голичера особенно проявилась. Он так и не вышел за пределы доброжелательства, хотя бы и искреннейшего. Это отношение Голичера к революции дает последнюю, чрезвычайно характерную черту образа, так полно раскрывшегося в «Жизни современника».

Мятущийся мещанский искатель,искреннейший, но половинчатый, непоколебимый, но ограниченный, искатель, не приходящий к цели, отголосок того болезненного кризиса, который переживают группы буржуазного класса, вытесняемые монополистской эпохой, искатель отказавшийся от правды буржуазной, но не осмеливающийся принять правду пролетариата, — вот какой образ возникает на страницах автобиографии Голичера. Перед нами книга огромной силы, искренности — она входит очень значительным звеном в искусство современного мещанства, теснимого капиталистической действительностью.

Основной интерес автобиографии Голичера сводится к тому, что характерный образ мещанского искателя раскрыт здесь во всей своей трагической полноте.

Но есть и еще много интереснейших моментов в этой монументальной книге. Прежде всего — это эпизоды литературного быта: Голичер был тесно связан с работой журнала «Симплицисимус» в первые годы его существования, он близко знал Ведекинда, Томаса Мана, Гамсуна, Рейнгарда, — страницы, описывающие все это, дают чрезвычайно ценный материал. Как документ литературного быта автобиография Голичера имеет большое значение. Особенно интересны эпизоды, относящиеся к Франку Ведекинду; здесь мы находим сообщения исключительного интереса.

Голичер дает в своей автобиографии много великолепных характеристик евро-

пейских городов, в особенности Парижа. Ему свойственно особое искусство улавливать своеобразие городского облика, он им пользуется широко в своем последующем творчестве: в автобиографии он дает ряд чудесных шедевров «городоописания».

Очень интересны главы автобиографии, посвященные событиям немецкой революции в ее начале. Голичер дает здесь характеристику, которая и теперь, когда множество документов о немецкой рево- революции уже опубликовано, сохраняет свою свежесть и остроту.

Голичера у нас знают по таким книгам, как «Бедекер на изнанку» и «Волнующаяся Азия». Это «книги путешествий»— жанр, к которому особенно тяготеет Голичер, но это далеко не все созданное автором «Жизни современника». У нас не только не знают его драм, в роде «Голема», но и его романов — «Белая любовь», «Отравленный колодец» Надо надеяться, что хотя бы новым произведениям Голичера, трилогии городов — «Париж», «Берлин», «Москва», у нас будет оказано внимание. Автор «Жизни современника» этого вполне достоин.

И. Марцинский

Сергей Радлов. Десять лет в театре. Изд. «Прибой», Ленинград, ц. 2 р. 20 к., стр. 328.

В предисловии к этой книжке есть два указния, весьма важные для раскрытия внутренней сущности ее. Указание первое — «Радлов наиболее яркий представитель специфически ленинградского направления в области нашей режиссуры». Второе — близость Радлова к Ленинградскому институту истории искусств. То «специфически ленинградское», что роднит оба момента,— уклон в формализм, т. е. идеалистическая концепция искусства, как приема, как формы. Эта печать и лежит действительно на всем томе собранных воедино газетных и журнальных статей Радлова. «Наше дело совсем не похоже на классовую борьбу», — уже с первых страниц книги со всей искренностью заявляет Радлов. Рядом с этим, правда, об'яснение в любви к революции, но и ее автор принимает «вообще», внеклассово, архилиберально.

Что такое, — спрашивает сам себя Радлов, — пролетарское искусство? И тут же отвечает: «Пролетарское искусство есть прежде всего прогрессивное искусство». Ну, а что такое «прогрессивное»? Это, например, для драматурга — уменье «делать убедительными и врагов». «Драматург, — говорит Радлов, — должен в каком-то смысле полюбить всех (подчеркнуто у Радлова) своих героев». Гуманизм, как видите, высокой марки, — самая что ни на есть христианнейшая точка зрения. Знакомая «вегатарианская» (т. е., конечно, только якобы вегетарианская) теория внутреннего оправдания образа без политически-классового отношения к нему («наше дело совсем не похоже на классовую борьбу»).

В статье «Какое искусство показывать рабочим» Радлов последовательно стоит на той же «либерально-прогрессивной» позиции — «давайте развивать его». Ну, а как? Понятно — чтоб он не думал, что искусство это классовая борьба, чтобы учился у драматурга любить «человека», т. е. и врагов и т. д. и т. д. Пусть «жизнь противоречива», зато «искусство едино», едино потому, что «торжествует постоянную победу человеческой воли над роком». Только «рок» и «человеческая воля» — таково «прогрессивное» искусство.

О, это конечно не значит, что Радлов не признает классовой борьбы и всего прочего. Он весьма «современен» и орудует наиновейшим словарем, но... «искусство само по себе исключение и творцы его исключение». Классовая борьба одно — а искусство совсем другое. И всякие расчеты в искусстве — «суть расчеты на гениев, а не на рядовых работников». Эту метафизику, эту аполитичность, этот аристократизм издательство «Прибой» в 1929 г. считает необходимым преподнести советскому читателю. Уже отдельные «специфические» выступления Радлова в театральных журналах в свое время встречали возражения. Но одно дело статья в журнале, статья в определенном антураже других статей или в схватке ди-

скуссии по тому или иному вопросу, и совсем другое — букет этих статей, дающих определенную установку и связываемых (хотя бы тем же самым предисловием) с научным учреждением,— Институтом истории искусства. Это же обязывает.

Метафизик-эстет в основе, Радлов одной рукой чинит якобы страшно левый «бунт», а другой утверждает, что сколько-нибудь значительная полноценная работа может быть проведена только в стенах академических театров. И в этом нет противоречия, ибо весь бунт Радлова, какие бы страшные заклинания он ни произносил, не идет дальше границ старой академической романтики. Переход за ее границы означал бы совсем иную систему мышления — теорию классовой борьбы, а «дело» Радлова «совсем на нее не похоже». Несомненно вне ее — и проповедуемая Радловым «чистая стихия актерского мастерства», и «театр единой воли», и определение искусства актера как искусства только «воспроизводящего».

Радлов принимает даже эпигонствующую формулу итальянского футуризма — тактилизм Маринетти. Тактилизм есть общественно-реакционное учение выродившегося футуризма, проповедующее спасение благородного человеческого меньшинства, к которому тактилисты обращаются против грубого большинства,— через культуру утонченнейшего осязания. Тактилизм отворачивается от «грубого и сырого большинства» и предлагает меньшинству, т. е. буржуазии) в тактилическом рукопожатии или поцелуе обрести утонченнейшую «передачу мысли». Радлов на стр. 107 принимает целиком психонаркоз тактилизма и рассуждает по этому поводу так: «строго говоря, эмоциональные проявления психо-физичекой сущности человека могут быть полно восприняты лишь вновь изобретенным искусством футуриста Маринетти — тактилизмом, т. е. организацией ряда ощущений, воспринимаемых нами при помощи осязания. Не скрою, что это был бы довольно хлопотливый способ общения с актером, если бы зритель ощупывал его руками. Не даром у Маринетти материалом этого искусства являются лишь поверхности неодушевленных тел. Однако всякий актер знает, что настоящее творческое напряжение его передается зрителю не ровно в меру звука его голоса и движения его тела. Есть какое-то неразложимое волнение, прямо переливающееся к зрителю от актера».

Это «волнение» и приводит Радлова на стр. 119 к совсем метафизико-астрологической классификации эмоций: «конкретнейшие эмоции, экстаз страдания, ненависти, страха, ликования, страсти политические, нравственные и религиозные пронзают именно «человечное» искусство палящим дыханием Диониса; иному же отвлеченно познавательному свойственно, наоборот, ледяное постижение кристаллически чистых форм, бесстрашно сверкающих гранями геометрической правильности и астрономической точности (!). Кипящая лава до рождения человеческой жизни, остывшая кора после его смерти. И до и после слышится некая музыка сфер в четких, как минерал, зрительных и слуховых формах космического искусства». А потому и высшим пределом мастерства, актера является, по Радлову, «беспредметное творчество». Это и есть «чистая стихия актерского мастерства», когда «душа нового актера не менее натренирована, чем мускулы ног или грудная клетка, когда эмоция бессюжетной подготовки предстает перед зрителем в чистейшем (!) беспримесном (!!) виде».

Думается, всего приведенного довольно, чтобы получить достаточно полное представление о книжке Радлова и о степени ее полезности. Темперамент автора, его местами полемический задор, фельетонная бойкость пера, отдельные удачные страницы не спасают ее в целом от упадочнических настроений и несомненных влияний западно-европейского экспрессионизма с его заостренно-неврастеническими гримасами. И это тем более жаль, что режиссеров, владеющих пером, у нас не так много. А за десять лет можно было многое о театре рассказать и многое подытожить.

Эм. Бескин

Список книг, полученных редакцией для отзыва

«ГОСИЗДАТ»

Бальзак О. Смехотворные рассказы. Стр. 170, ц. 1 р. 15 к., перепл. 25 к.
Толстой Алексей. Собр. соч., т. I, Четыре века. Рассказы, сказки, стихи, стр. 407, ц. 3 р. 50 к., перепл. 50 к.
Сейфуллина Л. Правонарушители, Перегной. Стр. 128, ц. 20 к.
Гюго Виктор. Девяносто третий. Роман, перевод с французского Шишмаревой М. А., редакция и примечания Виноградова А. К., стр. 387, ц. 60 к.
Шолохов М. Тихий Дон. Роман, книга I, стр. 382, ц. 60 к.
Серафимович А. С. Полное собр. соч., Скитания. Рассказы, т. VI, стр. 269, ц. 1 р. 25 к.
Голичер А. Жизнь современника. Перевод с немецкого Вейдемюллера К. и Мининой В., стр. 575, ц. 2 р. 50 к.
Мархлевский Ю. Литературные наброски, Письма из Японии. Перевод с польского Тропова Евг., стр. 111, ц. 60 к.

«ПРИБОЙ»

Шагинян Мариэтта. Кик. Роман-комплекс, стр. 214, ц. 1 р. 60 к.
Бядуля З. Соловей. Роман, перевод с белорусского Пушкаревича К. А., стр. 181, ц. 1 р.
Щеголев П. Редакция и вступительная статья. Провокатор, воспоминания и документы о разоблачении Азефа. Стр. 372, ц. 2 р. 50 к., перепл. 25 к.
Тынянов Ю. Н. Предисловие. Дневник В. К. Кюхельбекера, материалы к истории русской литературной и общественной жизни 10—40 гг. XIX века. Стр. 372, ц. 2 р. 50 к.
Честерстон Г. Диккенс. Перевод Зельдович А. П., стр. 274, ц. 1 р. 50 к., перепл. 25 к.
Лайцен Линард. Избран. произв. Эмигранты. Т. I, роман, перевод с лалатышского Сильмана Э. Я., стр. 294, ц. 1 р. 75 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ»

Петровский Дмитрий. Рассказ, стр. 154 ц. 1 р. 65 к.
Рудин Илья. Содружество. Роман, стр. 303, ц. 2 р. 60 к., перепл. 30 к.
Зелинский Корнелий. Поэзия как смысл книга о конструктивизме, стр. 315, ц. 3 р. 45 к., пер. 30 к.
Акульшин Родион. Следы. Рассказы, стр. 189, ц. 1 р. 40 к., перепл. 20 к.
Адалис А. Песчаный поход. Очерки, стр. 133, ц. 1 р. 10 к.
Унамуно Мигуэль. Три повести о любви с прологом. Стр. 172, ц. 1 р.
Новиков Андрей. Причины происхождения туманностей. Стр. 229, ц. 1 р. 50 к.
Езерский Милий. Чудь белоглазая. Роман, стр. 316, ц. 2 р. 50 к., перепл. 30 к.
Незнамов П. Хорошо на улице. Ранние стихи, стр. 95, ц. 1 р. 45 к.
Шкляр Николай. Свет. Стр. 192, ц. 1 р. 50 к.

«ЗИФ»

Лайонс Юджин. Жизнь и смерть Сакко и Ванцетти. Перевод с английского. Заккау, стр. 228, ц. 1 р. 25 к.
Писатели государственному издательству. Сборник. 1919—1929 г., стр. 95, бесплатно.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Кин Виктор. По ту сторону Роман, иллюстрации художника Молашевского В. А., стр. 251, ц. 50 к.
Маяковский Владимир. Слоны в комсомоле. Стр. 94, ц. 1 р. 20 к.

«ПОЛИТКАТОРЖАН»

Лившиц С., Михаил Заводский (Никифор Вилонов). Предисловие Невского В., стр. 130, ц. 1 р. 25 к.
Адамович М. (К. Арл). Черноморская регистрация. Стр. 111, ц. 1 р.

Кропоткин П. Записки революционера. Т. II, перевод с английского Дионео, предисловие Брандеса Георга, редакция Лебедева Н., стр. 303, ц. 2 р. 75 к.

АРП

Юрков Игорь. Стихотворения. Стр. 46, ц. 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Иванчин-Писарев А. И. Хождение в народ. Стр. 451, ц. 2 р. 25 к.
Семенов Сергей. Наталья Тарокова. Роман, стр. 354, ц. 2 р. 50 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Копта И. Сторож. № 47, перевод с чешского И. К., стр. 198, ц. 1 р. 50 к.
Смирнов Н. Г. Дневник шпиона. Роман, стр. 335, ц. 1 р. 75 к.
Замойский П. Лапти. Роман, стр. 300, ц. 2 р.
Том А. Под красной звездой на «Красине». Пред. Чухновского, стр. 207, ц. 1 р. 25 к.
Донской Г. Мексика, Куба, Аргентина. Стр. 140, ц. 75 к.
Беркова К. Чудо. Стр. 175, ц. 1 р. 25 к.
Фурманов Дмитрий. Дневник. 1914-15-16 г. Предисловие Г. Зиновьева, стр. 315, ц. 2 р. 25 к.
Японские пролетарские писатели. Сборник рассказов. Ад. Перевод с японского Терновской Елены, стр. 187, ц. 1 р.
Нотович Ф. Разоружение империалистов, Лига наций и СССР. Стр. 190, ц. 1 р. 50 к.
Бабушкин В. В царских погонах. Рассказ, стр. 123, ц. 60 к.
Красный песенник. Сборник первый, стр. 77, ц. 25 к.
Коган П. С. Жизнь замечательных людей. А. П. Чехов, стр. 109, ц. 45 к.

Редакц. коллегия: Вл. Васильевский. Б. Волин. Вс. Иванов. С. Канатчиков. Ф. Раскольников.
Ответственный редактор: Ф. Раскольников.
Издатель: Государственное издательство.
Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4, тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ